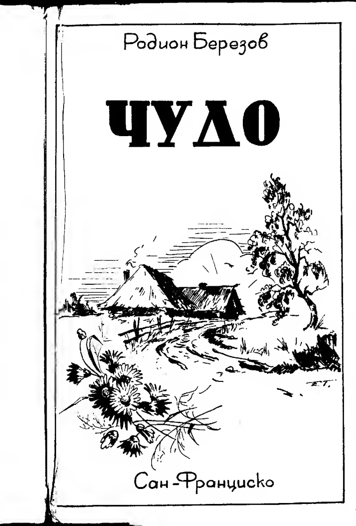


Родион Березов
Чудо


Родион Березов
ЧУДО
Сан-Франциско

MIRACLE

(*Chudo*)

by

RODION BERESOV

Обложка Евгения Гарина

Христианское издательство
Christlicher Verlag GmbH
Pfarrer-Henning-Str. 2-4
8751 Großwallstadt

Посвящаю эту книгу
другу
Николаю Водневскому.

ВСТУПЛЕНИЕ

Уже давно жизнь кажется мне чем-то удивительным, непостижимым, сказочным, чудесным.

— Не сон ли это? — часто спрашиваю я самого себя. — Неужели это я, тот самый, который когда-то жил в большой, бедной крестьянской семье, спал на печке под тараканий шорох в зимнее время и на душистом сене в летнюю пору, бегал босиком по росистым лугам, собирал грибы, ягоды, слушал пение скворцов, жаворонков, соловьев, кукование кукушки и звон иволги, разжигал костры на поляне, возле уснувшей реки?

Оглядываясь на прошлое, перебирая день за днем с того момента, как начал помнить себя, я повторяю постоянно один и тот же вопрос:

— Неужели это мне были посланы Богом многие испытания, несчастья, бедствия, болезни, душевные и телесные муки, невероятные приключения, опасные положения, когда жизнь держалась на волоске, готовом оборваться в любое мгновение?

Сотни моих сверстников, друзей и хороших знакомых уже давно покинули землю — на войне, в тюрьмах, в ссылках, в автомобильных катастрофах, сраженные то пулей, то страшным случаем, то неизлечимой болезнью, а я живу, дышу, путешествую, любуюсь Божьей красотой, пишу стихи и рассказы, встречаюсь со многими людьми, читаю книги, отвечаю на письма, выступаю на литературных вечерах... Разве это не удивительно? Разве это не чудо?

Даже тогда, когда мне бывает больно от незаслуженной обиды, когда люди за добро платят мне злом, я спрашиваю:

— А может быть это лишь сновидение?

Сколько дней мне отсчитано Богом? Доживу ли я, как отец, до 70 лет, или, как мать, до 80? А может быть моя жизнь прервется совсем неожиданно? Кто знает об этом? Планов у меня много, хотелось бы осуществить их — не ради богатства, славы, известности, почета и уважения, а для того, чтобы порадовать как можно больше друзей, знакомых, незнакомых и даже врагов.

— Врагов? — удивятся читатели. — Разве они есть у вас?

— А у кого их нет? Они были даже у Христа, а что же говорить о таких, как я, слабых, грешных, несовершенных? Удивительнее всего то, что я никогда не ссорился со своими врагами, никогда не оскорблял их каким-либо грубым словом, письмом, взглядом, жестом, намеком. Я не знаю их в лицо. Почти все мои враги — заочные. Но я знаю, что они есть, от друзей, которые часто слышат враждебные отзывы обо мне.

— О, если бы вы знали, что говорят о вас люди! — с сокрушенным сердцем сообщают мне доброжелатели.

— Что же они говорят обо мне?

— Они считают вас ужасным человеком: карьеристом, беспринципным, бессовестным, обманщиком, лодырем, паразитом, предателем, исчадием ада. Только черной краской они рисуют ваш портрет.

— Вероятно, это доставляет им удовольствие? Пусть тешатся. Бог знает их и меня и каждому воздаст по нашим делам.

Не могу сказать, что я равнодушен к злым отзывам о себе. Когда я слышу о том, как поносят меня враги, мне делается грустно. Откуда эта духовная слепота? — спрашиваю я. — Что породило эту

ненависть? Как сделать эти ожесточенные души мягкими, добрыми, зрячими? У меня нет никаких средств для этого, кроме молитвы. И я всегда прошу Бога о прозрении всех своих ненавистников. Когда их души исцелятся от слепоты, они узнают истину и взамен проклятий станут благословлять меня.

Нет выше счастья для человека, когда его многолетний враг становится другом. Я испытал это блаженство. Представьте: кто-то распространяет о вас небылицы, кто-то клевещет на вас, а вы молитесь об этом человеке недели, месяцы, годы. Видя ваше постоянство и беззлобие, Бог смиряет вашего врага и тот приходит к вам или пишет письмо, чтобы вы его приняли. При встрече вы бросаетесь друг другу в объятия. Никакие слова в такие моменты не нужны. Слезы, как первый весенний дождь, смывают все, что накопилось за долгие зимние месяцы вашей вражды. Не надо никаких объяснений, оглядок на прошлое. Вы живете настоящим днем, настоящей минутой, освобожденные от гнета обид, мстительности, подозрений, ущемлений, тоски. В такие моменты люди подобны ангелам. Разве это не чудо? По чьей милости оно послано вам? Только по любви, милосердию и долготерпению Божию.

Обогащенный опытом 65-летия, я хочу поделиться с друзьями-читателями воспоминаниями о прошлом. Зачем?

Читая эти страницы, вы вспомните многие чудеса вашей жизни, а, вспомнив об этом, смиренно склоните голову и возблагодарите Творца за то, что вы живы, не одиноки, сыты, обуты, одеты, радостны. Оглядываясь на свое прошлое, вы даже многие потери, которые когда-то причиняли вам страдания, причислите к находкам. Вы придете к выводу, что многие печали, болезни и огорчения — обогатили вас духовно, смирили вас, освободив от излишней требовательности, капризов и притязаний. Когда-то вы были заносчивыми, а теперь стали доступными; высо-

комерие было стилем вашей жизни, теперь вы — скромны и нетребовательны. Когда-то вы бурлили мстительностью, теперь смотрите на многое с доброй улыбкой понимания и всепрощения. От вашей гордости не осталось и следа: вы прячетесь в тень, вы садитесь в последнем ряду, чтобы никто не обратил на вас внимания. Жизнь многому научила вас, так как вы были внимательными, вдумчивыми, прилежными ее учениками. Обогащенные опытом, вы стали профессорами духа, но нигде и ни перед кем не выставляете себя знатоками, наставниками и мудрецами.

Что чувствую я, вспоминая свое прошлое? Мне чужды — заносчивость, самохвальство и высокомерие. Удивление и благодарность — вот спутники моей жизни.

Достоин ли я тех милостей, которые посланы мне Богом? Нет, недостоин. Я ничем не заслужил даров свыше. Только Божьей любви и долготерпению обязан я своей жизнью.

Эти строки я пишу при ярком солнце в чудесном Сан Францисском парке. Справа и слева от меня — цветущие кусты. Над ними трепещут самые маленькие птицы, колибри, похожие на стрекоз. Они питаются соком цветов. Свой длинный, тонкий клюв птичка запускает в сердцевину цветка, где хранится нектар. Этим она питает своих крошек птенцов. Как она доносит в своем клюве сладкие капли до гнезда? — с удивлением спрашиваю я. Какие заслуги у этой птички перед Богом? Никаких. Но Творец не оставляет ее своими милостями. Оставит ли Он вас и меня? Не оставит! Будем помнить о Нем каждое мгновение жизни. Помнить и благодарить! Особенно в те минуты, когда мы рассказываем или пишем о чудесах, сотворенных Им ради нас.

Лето 1960 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧУДЕСА

ГРОБ ДЛЯ ЖИВОГО

Я — тринадцатый — больной, слабый, нежеланный ребенок. В большой семье все молят мне смерти. В груди матери нет молока. С первых дней жизни меня кормят жевкой. Ржаной хлеб, обильно смоченный чужой слюною, выплевывается в реденькую тряпочку и перевязывается ниткой. Сочащаяся, клейкая, пахнущая кислятиной, жевка еле умещается в детском ротике.

Колибри питаются соком ароматных цветов. Я питался невкусным соком ржаного хлеба. Младенческий желудок не хотел с этим мириться: болезнь моя не прекращалась. Постоянным криком я не давал никому покоя в семье.

— Да уйми ты своего выродка! — сердился дед.

— Ты был тоньше паутинки, — вспоминали старшие братья, когда я подрос, — и такой же слабый, как осенняя паутина, которую ветер несет по воздуху.

Это была самая трудная полоса жизни моих родителей. Бедность, теснота в избе, а во дворе — падеж скота: пала корова, околели почти все овцы. Слезы, стоны, жалобы, нужда. А тут еще — я, всегда плачущий и голодный. Сжалилась крестная мать Ольга:

— Буду каждый день давать бутылку молока.

За молоком бегала сестра Танька. В метель, в дождь, в слякоть, плохо одетая, зябнущая «жалельщица» спешила на другой конец села за живительной белой жидкостью для всеми нелюбимого братца.

Так прошло три года. Настала весна. Начались посевы. А я догорал, как двухкопеечная церковная свечка: еще немного и слабый огонек погаснет навсегда.

— Ждать, когда помрет, иль ехать в поле, не дожидаясь? — в раздумье спросил отец.

— Ожиданьем ты ему не поможешь, а золотое время для сева упустишь. Коль сомневаешься, что гроб некому будет делать, сделай за́годя.

Так было решено на семейном совете.

— Надо смерить длину, — сказал отец и протянул нитку от моего лба до кончика большого пальца на посиневшей ноге.

— Меньше аршина, но гроб сделаю побольше, чтоб уместилась соломенная подушка для покойника. Пусть хоть в гробу понежится.

С легким сердцем уезжали в поле отец и братья на целую неделю. Были уверены: к субботе, когда вернутся домой, я буду похоронен.

Но у Бога были свои планы насчет моей дальнейшей жизни: я не умер, хоть все очень желали этого. Вернувшиеся посевщики были удивлены и раздосадованы, что из-за меня испорчен мучной ларь, разломанный для гроба. Чтоб не пропадало «добро», его вынесли в огород и, наполнив землей, использовали для капустной рассады. Так как доски были очень прочные, то гроб дожил до моего семилетия. Как редкость и курьез, его показывали соседям. Рассада в нем была самой ядреной и «приимчивой»: то-есть, посаженная в постоянный грунт, сразу принималась, начинала лопушиться и раньше других завиваться в вилки́. Соседки, у которых нехватало своей рассады, приходя к нам, просили у матери хоть два-три стебля из «Родькиного гроба» на счастье. На крышке от гроба кормили раскрошенными яйцами только что вылупившихся цыплят. По наблюдениям матери, все эти цыплята вырастали крепкими, здоровыми, невредимыми. Ни одного не уносил коршун и не загрызал хорек.

Мне делалось грустно, когда из разговоров старших я узнавал, как все ждали моей смерти и жалели, что я не умер. Задним числом я обижался на неприязнь ко мне почти всей семьи. Кто меня жалел? Сестренка Танька, мать и один совсем чужой человек, нищий Митрий. Он собирал милостыню по всей губернии и в наше село приходил ранней весною.

Вот мое первое воспоминание: солнечное апрельское утро. Митрий, держа меня на руках, ходит по двору и поет заунывную песню, от которой хочется плакать. Позже я узнал, что это был духовный стих об Иосифе Прекрасном, проданном братьями:

«Ау, ау, сижу во рву,
Сижу во рву, беседую —
Не с братьями любезными,
Со зверьями, со лютыми.
Да кто бы послал мне голубицу —
Летающую, вещающую?
Написал бы я ей на крылышке,
И послал бы ее к своему отцу.
«Отче, отче, твои сыновья,
Твои сыновья, мои братия,
Продали меня во чужу землю,
Во чужу землю, ко неверному царю,
Ко неверному царю, ко Пентефрию».

В памяти осталось голубое небо, особенно желанное после закопченого потолка нашей тесной, трехоконной избы. Скворцы на сухой ветке скворешника заливались песнями, куры всех расцветок и красный красавец петух мирно разгуливали по двору, как мои доброжелатели. Седая, длинная борода

Митрия касалась моих исхудалых щек, в его добром взгляде, в продолговатом лице было много нежности к чужому, слабому ребенку. Чего мне хотелось в те счастливые минуты, через несколько дней после несостоявшегося погребения? Чтобы Митрий держал меня на руках как можно дольше и пел бы свою грустную песню в лад веселым скворцам и петушиному кукуреканью.

Как забыть об этом чуде — победы жизни над смертью, света над тьмою, любви над неприязнью?

1960 г.

СНЕГ, ПРОЩАЙ!

По окончании сельской школы я сказал родителям, что хочу «учиться дальше».

— Об этом надо потолковать со всей семьей, — ответили отец и мать.

На семейный совет была приглашена учительница. Дед, бабка и снохи были против моих планов, братья и отец охотно поддерживали меня, мать колебалась. После шумных разговоров с упреками, предостережениями и сомнениями было решено:

— Коль охота, пусть учится!

В большом торговом селе, в 15 верстах от нашего, было министерское 2-классное училище. После его окончания можно было поступить в фельдшерскую школу или в учительскую семинарию. При отличных отметках поступающему давали стипендию.

На экзамены меня повезла мать. Испытания сошли благополучно. Экзаменующая учительница была высокого роста, с пронзительным голосом, с большим черным бантом на редких, седеющих волосах. К кофточке в мелкую полоску были приколоты английской булавкой с левой стороны золотые часики. Пальцы правой руки были желто-коричневые, как у курящих.

Длинная и широкая черная юбка издавала свистящий шелест, когда учительница двигалась по классу.

— Какая она большая и строгая, — со страхом думал я. Заглянув в мою тетрадь во время диктовки, она сказала:

— У тебя красивый почерк.

Экзаменующиеся с завистью посмотрели на меня.

Через две недели должны были начаться занятия. Меня привезли за день до этого. Квартира была снята раньше в небольшом доме неподалеку от школы. Хозяйская семья состояла из четырех человек: вдовы, торговавшей горшками, ее старенькой матери, дочери-невесты и сына подростка. Моих родителей предупредили, что кроме меня в этом доме будут квартировать еще четыре мальчика и одна девочка.

— Ну, что ж, веселей будет, — засмеялся отец, — думаю, что делить им нечего, наш парнишка не скандальный.

При разлуке с отцом и матерью к горлу подкатилось что-то вроде клубка. Хотелось заплакать, но я удержал себя, боясь, что мне скажут: «Если скучно оставаться в чужом селе, поедем домой, будешь крестьянствовать»...

— Приеду домой, когда подряд будет два или три праздника.

Я попал в класс той самой учительницы, которая экзаменовала мальчиков две недели тому назад. Место занял на первой парте. Ученье мне нравилось. Я любил писать изложения, с «выражением» читал стихи и басни. Домой писал, что каждый день узнаю много нового. Своими знаниями хотелось похвалиться перед сверстниками, которые не захотели учиться дальше.

Приближалась осенняя «Казанская» — престольный праздник в том селе, где была министерская школа. Перед «Казанской» было воскресенье. На пятницу приходился «царский день». Так что если пропу-

стить субботу, можно поехать домой на четыре дня. В четверг после уроков подошел к учительнице — попросить отпуск на субботу.

— Нельзя!

Через несколько минут постучался в ее квартиру при школе.

— Евдокия Антоновна, отпустите. Я все выучу вперед.

— Не надоедай своими приставаниями!

Что делать? Неужели смириться с запретом? Желание побывать в родном селе после двухмесячного отсутствия разгоралось все сильнее. Решил пойти в третий раз.

— Да ты, наконец, оставишь меня в покое или нет? Скройся с моих глаз!.. Разрешение надо просить у заведующего.

Заведующий, учитель 5-го класса, Иван Петрович Лебедев, небольшого роста, полный, с круглым лицом. От него пахнет табаком, он всегда улыбается, говорит на О.

— Иван Петрович, отпустите домой.

— Чудак-человек, ты же не мой ученик, проси разрешения у Евдокии Антоновны.

— Она сказала: «Скройся с моих глаз»...

— Ну, вот и скройся, если она этого хочет.

Заведующий смеется, окает. Он как будто не против моего отпуска. Будь что будет: поеду!

Дома было много радости: веселые лица семьи, вкусная стряпня, катанье на коньках по только что застывшему озеру, показ учебников деревенским мальчишкам и девченкам, рассказы о школе, о новых науках, мечты об отдаленном будущем.

— Ты, кажется, подрос за эти два месяца, — говорили братья, и это было приятно для меня.

В понедельник, на «Казанскую», сердце защемило, я осознал, что слова: «скройся с моих глаз» не означали разрешения на отпуск. Что теперь мне будет за самовольство? Во вторник, когда нужно было идти в школу, охватил страх. Тяжелое предчувствие давило камнем на сердце и сковывало ноги.

— Приехал Родион! — донеслись до меня голоса из коридора: это ученики докладывали обо мне учительнице, желая подольститься.

После звонка все заняли свои места. Вошла она, сердитая, как грозовая туча. Раздала тетради по изложению — с бранью, укорами, называя многих грязнулями, лодырями, олухами, неряхами. Оставила одну тетрадь: мою. Обратилась ко мне, как к взрослому:

— А вы, милостивый государь, немедленно освободите нас от своего присутствия! Школа не для вас! Можете ехать домой и всю жизнь кормить свиней!

Я вздрогнул. Брызнули слезы.

—Евдокия Антоновна, простите: я не понял вас...

— Всё вы прекрасно поняли, но из упрямства решили настоять на своем. Министерская школа не для таких своевольных «министров», как вы.

Всех учеников она звала на «ты», но сейчас обращалась ко мне подчеркнуто-издевательски на «вы».

— Не отнимайте времени у класса! Слышите? Приказываю вам — сию же минуту удалиться!

У нее тряслись толстые, шероховатые губы, тряслись золотые часики на кофточке, но больше всего трясся черный, из муаровой широкой ленты, бант с острыми вырезами.

— Шерстобитов, возьми у него казенные учебники!

Рыжему, веснушчатому мальчику было жалко меня, но как ослушаться? С тяжелым вздохом он запустил руку за моими книгами... достал, положил перед учительницей.

— Долго я буду цацкаться с тобою, паршивая дрянь? — закричала она исступленно и схватила меня за волосы в самом больном месте: сзади, у шеи. Изо всей силы она потянула их вверх. Я вскрикнул

от нестерпимой боли: — Ой!.. Простите! Не выгоняйте ради Бога!.. Мне нельзя ехать домой...

В классе начались всхлипывания.

— Евдокия Антоновна, простите его!

— Замолчать! — топнула ногою рассвирепевшая учительница, брызжущая слюною.

Она дернула меня за шиворот, подвела к двери и, открыв ее, с силой толкнула в спину. Я упал. Ко мне подбежал бородатый смущенный сторож. До этого он считал меня примерным мальчиком.

— Что случилось, Родион?

Я ничего не мог ему сказать, потому что из груди вылетали только стоны и хрипы. Позабыв взять пальто и шапку в раздевалке, я спустился по широкой лестнице на первый этаж. Открыв дверь, увидел первый снег этой осени — пушистый, тихий, не холодный. Он запорошил всё пространство между небом и землею, одел землю, кровли зданий, ветви деревьев... Мне показалось, что в мире нет ничего лучше этого снега — чистого, доброго, успокаивающего всех людей, кроме меня... Прощай, снег! Родной, милый, любимый, святой! Последние минуты я смотрю на тебя, потому что скоро меня не будет на этом свете!.. Как я заявлюсь домой? Что я скажу отцу, матери, братьям, сестре?.. Что будут говорить обо мне соседи, моя учительница земской школы? Изгнан! Бóльшего позора я не могу представить! Предо мною нет иного выхода, кроме смерти!

Дорога от школы вела на станцию. Слышно было, как вздыхал паровоз. Я решил: отойти подальше от станции, положить голову на полотно, чтобы шея пришлась как раз над рельсом и ждать... Меня засыплет снегом и машинист не догадается, что на линии лежит живой человек. А когда поезд зарежет меня, кто нибудь подберет голову... Воображение ярко рисовало эту страшную картину. Слезы мешали мне видеть. Я спотыкался, падал, вновь поднимался... Снег

становился всё гуще, всё пушистее. Село осталось позади, слышнее паровозное шипенье... скоро... скоро... Я знал, что дома моя смерть вызовет переполох, все будут убиты горем, но что же делать? Иного выхода из этого позора нет!.. Прощай, снег! Прощай, жизнь! Прощайте, родные, холмы, деревья, я не увижу вас... Воздух! Я не буду дышать тобою...

Кто-то крикнул:

— Ро-ди-он! Остановись! Постой! Вернись!..

Кто-то схватил меня за руку. Я поднял глаза. Передо мною стоял одноклассник Ивушкин, большого роста ученик, сидящий на задней парте.

— Зачем идешь на станцию?

— Умереть...

— Это еще что за новость?.. А учиться?

— Школа не для меня.

— Ошибаешься: и для тебя, и для меня, и для всех... За тобой послала Евдокия Антоновна. Когда она тебя выгнала, мы подняли рев. Она кричит, чтоб мы замолчали, а мы не унимаемся... Тогда она подошла к окну — посмотреть, как ты спотыкаешься... «Опять ткнулся в снег носом, паршивец»...

«— Простите его, Евдокия Антоновна... В классе будет скучно без него»...

«— Целый час пропал даром из-за этого обманщика»...

«— Мы согласны остаться на час после уроков».

«— Ивушкин, верни его!..»

— Бегу я за тобой, а сердце радуется: опять ты с нами!

Мы вошли в класс — самый большой и самый маленький, — оба занесенные снегом.

— Не догадались отряхнуться, — сделала замечание учительница, но уже подобревшим голосом.

— От радости, Евдокия Антоновна, — оправдывался добрый, наивный Ивушкин.

Учительница молча положила передо мною книги.

Отдала тетрадь. За изложение красными чернилами поставлено 5.

Долго не мог прийти в себя. Радовался больше не тому, что буду снова учиться, а тому, что не расстался навеки со снегом, с людьми, с жизнью. Бог сотворил чудо: слезами и воплями моих сверстников-одноклассников смягчил жестокое сердце учительницы.

1960 г.

ДОМОРОЩЕННЫЙ

Жара. От солнца и воды полиняли детские головёнки: почти сплошь стали белыми. Травы погорели. Ступишь на лебеду — хрустит. Отощали обе речки — Самарка и Гранка. Впереди — страшное. А сейчас — тишина и зной. Порой закружится спираль тонкого смерчика, суетливо-самоуверенно пробежит по дороге, свернет в сторону, растеребит соломенную крышу и опять тишь и огонь с неба.

В голубой горнице можно дышать: окна коленкоровыми шторками завешены, гладкий крашеный пол холодит босые ноги. Шагаю из угла в угол и твержу: «Скажи мне, ветка Палестины».

В переднем углу «Спаситель» и «Божья Матерь» — большие, простые, дешевые — на базаре куплены. Над ними полотенце — длинное, концы крестом вышиты: узор елочками и петухами.

На столе перед зеркалом книжки и тетрадки. Скоро решится моя судьба: коль сдам экзамен на пятерки, буду учиться, а нет — придется, как старшим братьям, стать крестьянином, маляром, кровельщиком.

На простенке отрывной календарь с цветной картинкой царской семьи. Все красивые: и царь, и царица, и четыре дочери в розовых платьях и наследник в белой матроске. День клонится к вечеру, можно сорвать сегодняшнее число. На другой стороне стихотворение: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат»... Никогда не читал. Одна строка лучше другой. В груди жарко от радости и удивления. Хочется перед кем-то излиться. На улице играют малыши, поднимая ногами тучи пыли. ЭТО не для них. Вспомнил о матери. Бегу на огород:

— Мама! Послушай-ка...

Она только что принесла с соседнего огорода два ведра холодной колодезной воды. Дождя нет с самой весны, поливки много, вода в колодцах убывает. Бадья задевает дно, глина мутит воду. И та, что в голубых ведрах, мутная, с мусором.

От сарая на огород падает длинная тень. От этой тени и от воды огуречные плети, вялые днем, теперь приободрились, стали жесткими, звенящими.

— Мама, какой стишок!..

Она в подоткнутом кубовом сарафане с мелкими розовыми цветочками, в бордовом платке — маленькая, кроткая, с ласковыми, не знающими злобы, глазами. Приготовилась к слушанью, как к молитве, одернула сарафан, поправила платок. Вижу, что можно начинать. Читаю с выражением, как будто на экзамене:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!
Кто-б ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь,
Верь: настанет пора, и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь.

«Ваал»... Четырнадцатилетний деревенский ум представляет что-то страшное, рогатое, сине-багровое, с оттопыренным животом, с крокодильей пастью, живьем людей глотает, а запивает расплавленным золотом. Хвост в иголках, с каждой сочится яд. Ударит

липким хвостом кого задумал проглотить, и не отлепишься, никуда не убежишь.

Страшно жить в мире, когда любовь скрылась из царства «Ваала». Но она вернется не в «терновом венце, не под гнетом цепей», а в силе и славе, «с ярким светочем счастья в руках»... Вижу ее красивой, высокой, в белом платье со шлейфом, как у царицы, в руках большая свеча, как у дьякона на Пасху, идет медленно, величественно и кротко смотрит направо и налево, а люди падают перед нею на колени и плачут от радости. Как всё изменится после ее прихода! Не будет нищеты, горя, «ни цепей, ни позорных столбов»...

Как будто не я читаю, а сердце поет и плачет. Голос то срывается в слезной дрожи, то звенит надеждой.

«Ночь вокруг чересчур уж темна»... Но и после темной ночи наступает рассвет. «Мир устанет от мук, захлебнется в крови»...

Мать льет слезы и крестится в сторону красной каменной церкви, хорошо видной с огорода. Для нее эти стихи — молитва и заклинание. Она может быть не всё понимает, но чувства наши едины.

Кончил. Молчу. И мать молчит. Не можем ничего сказать от волнения.

— Господи! — наконец произносит со вздохом моя слушательница, — люди-то какие живут на белом свете... не простые, а Богом посланные... Простой разве так скажет?.. Каменное сердце и то размякнет... Пришел бы такой человек к нам, посмотрел бы, как люди бедствуют, и тоже складное составил бы... Прогневался Господь на нас грешных, отступился... молиться надо, слезы лить в три ручья.

— Мама, я сейчас... Ты поливай... Никуда не уходи... Подожди меня тут...

Что с моим сердцем? Оно может выскочить из груди. Голова в тумане. Слава Богу, что в горнице по-

прежнему ни души. Сажусь за стол перед зеркалом. В зеркале кудрявый черноволосый отрок с пылающим лицом. Перо бегает по тетрадке. Строчки ложатся одна за другой. Самому не верится, что получается стихотворение — свое, а не списанное. На глазах слезы от какой-то новой, небывалой радости.

Лечу на огород.

— Мама! Написал собственный стишок!..

— Да ну? — радостно удивляется она.

— Вот... Видишь?.. Хочешь послушать?..

— И спрашивать не надо...

Поспешно ставит лейку. Опять прихорашивается. Лицо молодеет.

— Называется, мама, печально: «Голод»...

...Это было летним вечером, 1911-го неурожайного года, на огороде, меж огуречных грядок:

Посмотри, как страдает весь русский народ,
Солнце выжгло поля и луга,
Пересохли ручьи, гибнут люди и скот,
И горячая душит пурга.
Каждый житель в нужде, с исхудалым лицом,
Нет на счастье надежд впереди,
И в могильные ямы кладут мертвецов,
И тоска-лиходейка в груди.
С запыленных небес нет дождинки одной.
Только слезы струятся ручьем,
И над всею великою, русской землей,
Смерть проносится ночью и днем.
Я жалею тебя, мой несчастный народ,
Я готов за тебя умереть.
День счастливый придет, и душа запоет,
Будем вдаль веселее глядеть!
Будем верить, молиться с надеждой Творцу,
Будем слезно Владыку просить,
Чтобы Он не привел Мать-Россию к концу,
Чтоб помог нам несчастья изжить.

Читаю, а с нее не спускаю глаз. Плачет. Плечи вздрагивают.

Я кончил. Мать падает мне на грудь, обнимает. Я и обрадован и встревожен:

— Мама, ты что?..

— Прости меня, сыночек, дуру неразумную!

— Ну, мама...

— Никогда мне не замолить греха перед тобою...

— Ну, чего ты?.. Какого греха?..

— Помнишь экзамен в министерской школе, куда ездила вместе с тобою? Тебя и товарищей спрашивают в классе, а отцы и матери в колидоре толпятся. Каждый молится, чтоб сынок экзамен на пятерки сдал. Только я одна другого у Богородицы просила: «Пресвятая Владычица, сделай так, чтоб не приняли моего Родюшку» ... Как я рассуждала? Будешь ученым, откажешься от отца и матери. А останешься крестьянином, и мы всегда возле тебя, будешь старость нашу покоить, а мы будем деток твоих нянчить. А Царица Небесная не по-моему, а по-Своему сделала, потому что понимала: «Темный разум у бабы деревенской, чего с нее спрашивать?»... Вижу теперь, какая польза от ученья. Стишок твой больно хороший, и сказать нельзя, как за сердце хватает... Народу прочитать, все обкричатся.

— Это ты меня надоумила... Теперь каждый день буду сочинять.

— Сочиняй, сынок, всему народу на пользу.

— Мама, давай я дополиваю, ты наверно устала.

— Ни капельки, да и полить-то осталось одну грядку... Погоди-ка...

Она отходит от меня, наклоняется, раздвигает шуршащие мокрые листья и срывает огурец — зеленый, с пупырышками, с беловатым кончиком, на котором еще держится засохший цветочек.

— Это тебе за стишок.

— Спасибо, мама. Стишок первый и огурец первый.

— Дай Бог тебе насочинить столько стишков, сколько будет огурцов за все лето на всех грядках.

— Ой, как много!

Бегу в дом: хочется сочинить еще что-нибудь.

Пришла из гостей сноха Паша. Вернулся из лесу отец. Прочесть им или нет? Подожду. Паша еще смеяться будет, «стихоплетом» прозовет. Под окно подбегает солдатка Катерина. Паша шушукается с ней. Обе хохочут. Это мешает. Лучше уйти. Выхожу во двор. Там мать и четыре бабы из нашего курмыша. Рассказывают друг другу печальные, деревенские новости.

Открываю калитку, сажусь на крылечко. В руках бумага и карандаш. Солнце спускается за избы противоположного порядка, но остывать не хочет. Тени покрыли всю улицу. На нашей стороне только кое-где солнечные треугольники.

— Родивон стишок составил всем на удивление, — доносится голос матери со двора.

— Надо сказать всему народу, пускай вечером соберутся у крыльца, а Родивон почитает, — говорит тетка Татьяна.

— И правда, — поддерживают ее остальные бабы.

Когда они выходят на улицу, тетка Татьяна спрашивает:

— Родюшка, кума Аграфена говорит: ты больно хороший стишок составил?

— Не знаю... Ей понравился...

— Коль ей понравился, и всему народу по сердцу придется.

За ужином мать спрашивает:

— Ничего не знаете?.. Наш Родивон сочинителем стал...

— Да ну? — удивляется отец.

— Пушкиным будет, — смеется Паша.

Чувствую, как горит от смущения лицо. Если б дома был брат Тимофей, он бы тут же сказал: «Читай». Но отец, Паша и маленькая сестренка Мотря не просят. «Значит, им не интересно»... Еда нейдет на ум. Неужели когда-нибудь мои стихи будут напечатаны? С семи до десяти лет я ходил по свадьбам и забавлял народ пляской и прибаутками. За каждую пляску мне платили две-три копейки. О моих чудачествах знали во многих селах. Тогда я не стремился к славе. Хотелось только порадовать людей. Выплясанные деньги отдавал матери на лампадное масло, на соль, спички, керосин, соленую рыбу, которую ели с квасом в пост. Думаю ли я о славе теперь? Нет. Хочется только, чтоб стишок понравился народу. Если скажут «хорошо», буду писать еще. Для чего? Для того, чтобы люди, слушая мои стихи, становились лучше, добрее.

— Почему это народ у крыльца собирается? — спрашивает отец, глянув в окно.

— Наверное граммофон хотят послушать, — говорит Паша.

— И вовсе никакой не граммофон, а стишок Родивонов, подумаешь, диво какое — граммофон, он уж надоел всем, — объясняет мать.

В окно стучит прутиком сосед Савватей — начитанный, веселый мужик:

— Эй, ты, поэт! Выходи скорее! Весь народ заждался!..

— Вот, сынок, чего ты удостоился, — говорит мать, — народ, как на свадьбу валом валит. Глянь-ка, из церковного курмыша идут, монашка Марья вышагивает.

— Я боюсь ее.

Когда умер дед, монашек — Марью и Федосью — позвали читать псалтирь. Сестренка похвалилась: «Наш Родька умеет плясать по всякому». Марья перестала читать, поманила к себе, зажала промежь колен и стала пугать адскими мученьями: «Набьют дьяволы мелких гвоздиков в пятки и заставять плясать на огненном полу: «Людей на земле потешал, теперь нас потешь»... Вечером повела в курную темную баню. Рассказы об аде в темноте потрясли душу. С тех пор дал зарок: никогда не плясать. Не нарушил обещания, данного пять лет тому назад строгой, грозной чернице. И вот она пришла — высокая, костистая, во всем черном. Вижу из окна: мужики, бабы, парни, девки, старики и старухи толпятся у крыльца. Мальчишек и девченок — видимо-невидимо. Делается страшно. Скоро буду сдавать экзамены в учительской семинарии, а сейчас должен сдать экзамен своему селу. Неужели провалюсь?

— Ну, скоро ты там? — нетерпеливо стучит в окно Савватей.

— Иди, чего ж ты? — понукает отец.

— Боюсь.

— Помолись, сынок, — советует мать.

Крещусь перед иконами в горнице. А всё-таки страшно.

На крыльце спрашиваю:

— Что это народу-то как много собралось?

— Тебя, Родюшка, послушать, — говорит худенький, тщедушный, с реденькой бороденкой «Семен Преподобный». С тех пор, как у него дурочка-Машка родилась, ни одной церковной службы не пропускает. На левом клиросе поет и читает. На всех молебствиях рядом со священником.

Достаю из кармана листок. Солнце село, но еще совсем светло. Высоко под небом снуют ласточки. Народ глядит на них с тоскою и думает: «Опять дождя не жди, видишь, где касатки летают.

Откашливаюсь.

— Шапки долой, — приказывает Савватей, — это вам не граммофонные труляляшки, а сочиненная поэзия нашего доморощенного Родивона!

Все покорно обнажают головы.

«Посмотри, как страдает весь русский народ»...

Голос дрожит. Смотрю на людей. Первая строка выдавливает слезы из многих женских глаз. Каждая следующая убыстряет слезные потоки. Там и сям слышатся всхлипывания. Мать не ошиблась, предсказав: «Народу прочитать — все обкричатся». Я сам не выдерживаю. Спазмы перехватывают горло, когда произношу:

«Я жалею тебя, мой несчастный народ,
Я готов за тебя умереть»...

Кончил. Какая тишина на улице. Только слышно, как попискивают ласточки, да кто-то далеко в лугах поет грустную песню. Люди утирают слезы — кто кулаком, кто фартуком, кто кончиком головного платка. Чувствую: «экзамен» сдан. На крыльцо входит Савватей. Он высокий, круглолицый, румяный, с маленькой, рыжей бородкой, с русыми кудрями. Бабы называют его приглядчивым. С его мнением считается старый и малый. На сходах он первый говорун.

— Ну, как, почтенные, стоющий стишок сочинил наш поэт?

— И спрашивать нечего!

— Не видно что-ль, в какой задумчивости народ?

— Молодец, Родивон!

— Не даром учился два года в министерской.

— И дальше иди по ученой дороге!

— Описывай нашу жизнь горемычную!

— А теперь я хочу сказать, — говорит Савватей, — сочиняй каждый день, Родивон, и с Некрасовым сравняешься!

Он берет меня за плечи, дружески трясет, пристально смотрит в глаза, улыбается:

— Недаром тебя с трех лет «головастым» прозвали. Была бы головенка с кулачок, такого не выдумал бы... А раз выдумал, значит в душе и в мозгах — талан. Только смотри не задавайся, когда в люди выйдешь. Не отрекайся от серой деревни. Помни: и

ты был среди этих серяков, им прочитал свой первый стишок и все они горькими слезами на правильный путь тебя поставили... А ну-ка скажи: не откажешься?

— Не откажусь!

Голос прерывается, дрожит, в горле от волнения как-будто застрял большой комок.

— Ну, а теперь по домам, — заключает свое слово Савватей, — не будем донимать нашего доморощенного поэта-сочинителя, налегать на него все сразу, как на тонкую веточку березовую, чтоб не сломился до срока, до времени.

Народ расходится нехотя — кто направо, кто налево. Заря меркнет. Ласточки угомонились.

Счастливые отец и мать глядят на меня влюбленными глазами.

1951 г.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

После уроков мы спешили на берег Волги.

Это была властительница наших дум, наша гордость, наше счастье и мы жалели всех, кто живет вдали от нее, кто не имеет возможности путешествовать на пароходе, кататься на лодке, купаться в освежающей волжской воде, стоять на ее берегу, любуясь окружающей панорамой, есть волжскую стерлядь, купленную у рыбаков-волгарей и сваренную тут же, на уютном костре, потрескивающем сухим валежником.

Четыре года мы жили в общежитии, как воспитанники-стипендиаты. Классные наставники, строгие в первые годы, в последний разговаривали с нами, как с равными: ведь мы уже давали пробные уроки в образцовой школе при семинарии, у многих из нас пробивались усики, в нашей осанке появилась внушающая уважение солидность, наши голоса из детских превратились в мужские. Многие называли нас уже

по имени и отчеству. Мы, правда, еще не привыкли к этому и всегда при таком обращении к нам слегка краснели.

Всё в этом мире имеет начало и конец. Приблизился и к нам срок расставания с серым двухъэтажным зданием семинарии, с длинным коридором, где мы прогуливались в перемены, с неуютными классами, двухместными изрезанными партами, с широким семинарским двором, с пирамидальными тополями в ограде семинарии, со всеми преподавателями, которым мы не по злобе, а просто по юношеской склонности к остроумию, давали клички и прозвища.

Закончен последний экзамен. Все двадцать пять человек получили звание народных учителей. Директор и классные наставники поздравили нас крепкими рукопожатиями. Завтра состоится торжественный прощальный обед и в тот же день можно будет ехать домой.

Длинен весенний день. До вечера еще целая вечность. После обеда мы гурьбою поспешили на берег Волги. У лодочной пристани колыхалась на легких волнах наша классная, бело-голубая «Чайка».

— Ребята, поедем на острова за ландышами! — предложил добродушный астраханский казак Федор Чередников.

— Прекрасная мысль, — подхватили остальные, — пусть завтра, в день прощания, нашу столовую затопит аромат самых благородных цветов!..

В прежнее время на такую прогулку мы должны были бы попросить разрешения у классного наставника, но теперь мы — самостоятельные люди и не нуждаемся ни в каких позволениях. По извилистой тропинке крутого берега мы один за другим побежали к лодочной пристани. Из-под наших ног катились камешки и с бульканьем падали в воду.

— Милая и дорогая «Чайка», — начал с пафосом Степан Муравьев, — четыре года ты переносила

нас с берега на берег, четыре года ты была нашим неизменным другом... Доставь же нам радость в последний раз... С осени ты будешь достоянием новых людей, наша легкая, наша верная, бело-голубая подруга...

— Довольно, Степа, а то еще расплачемся, — с улыбкою сказал Иван Каратеев.

Сидений в лодке было много — и поперечных и вдоль бортов. За рулем уселся коренастый уральский казак Ефрем Жукалин, за веслами — Илья Топилин, Тимофей Пожарский, Василий Баданов и я.

Противуположный берег был очень далеко, верстах в двадцати. Зеленые деревья, селения разбросанные по крутым склонам, белые колокольни, квадраты и полосы полей — всё было подернуто голубовато-золотистой дымкой, которая, как тонкая кисея, смягчала резкость линий и делала ландшафт — мягким, приятным, ласкающим взоры.

Все четыре весла поднимались и опускались одновременно.

Степан Муравьев, прославившийся за семинарские годы как солист-певец, затянул чистым звонким тенором:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Остальные подхватили:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

Там и сям на речном просторе мелькало много лодок разных расцветок — зеленых, розовых, сиреневых, красных, голубых, оранжевых. Наше сильное стройное пение подзадоривало многих катающихся.

На передней Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной...

Два небольших облачка на западе, соединившись, потемнели и стали увеличиваться.

— Будет дождь! — предсказал Николай Кукин.

— А ну-ка, гребцы, поднатужьтесь!..

— Может-быть сменить вас?

— Вытерпим! — ответили мы.

Ветер, легкий вначале, теперь усиливался. На волнах стали завиваться белые кудри. Но это не только никого не пугало, а еще больше переполняло каждое сердце удалью, неуемной радостью юности, бесшабашной уверенностью, что мы не поддадимся стихии и сумеем преодолеть всё, что она преподнесет нам в эту последнюю, прощальную прогулку.

Цель наших устремлений приближалась, уже повеяло ароматом цветущих деревьев, залитых водою, до нас уже доносилось наводящее грусть и сладкую истому кукованье.

Два облака на западе превратились в тучу, надвигавшуюся на нас. Разорванные, всё время меняющие форму, края тучи вытягивались вперед серовато-синими щупальцами, стараясь захватить всё небо. Первая — тонкая, изломанная молния пронзила сверху до низу темную завесу. Певуче раскатился гром. Мы достигли залитых половодьем деревьев и теперь пробирались между стволами, отталкиваясь от них веслами. Завиднелась густая трава берега. Выйдя из лодки, мы, как выпущенные на перемену школьники, принялись бегать, разминая ноги и оглашая воздух радостными восклицаниями.

В лощинах круглой поляны цвели темные колокольчики и голубые незабудки. Их было так много, что издали казалось, будто по траве густо разлиты краски — голубая и бордовая. На вершинах деревьев было много грачиных, вороньих и сорочьих гнезд. Птицы в ожидании грозы притихли. Вот упали первые крупные капли — вестницы ливня. Мы укрылись под густой ветлою. Налетел смерч. Зашумели деревья.

Ветер так их гнул и раскачивал, что ветви касались земли. Гром не прекращался, сильные раскаты сменялись приглушенными, как бы доносившимися издалека.

Сквозь деревья мы видели, что творилось на Волге: она стонала и бурлила грозными седыми волнами.

— Не утихнет до утра, — думали мы. Открыто никто не высказывал тревоги, но она чувствовалась сквозь напускную бодрость и уверенность. Дерево не спасло от ливня. Надежда была на солнце, которое высушит нас, как только туча свалится к востоку. Многие из нас разулись и подвернули до колен штаны. Мы знали, что ландышей много по ту сторону поляны, в лесной впадине. Это место было нам знакомо давно: каждую весну мы устраивали здесь пикники.

Туча, обессилев, как-бы полиняла, посветлела. Над поляной засверкало солнце. Радостно застрекотали сороки. Звучнее стало кукованье.

Ландышей было много. После дождя они стали еще свежее и душистее. Этот дар весны мы воспринимали, как символ молодости — такой же чистой, ароматной и радующей. Вытягивая цветы из стеблей с двумя зелеными листьями, я прислушивался к шуму, доносившемуся с Волги. Ярко голубело небо, солнце сушило траву, но волнение на широком водном просторе не только не утихало, но с каждой минутой становилось всё грознее.

Проголодавшись, мы пожалели, что не захватили с собой ничего съестного. Хорошо, что на поляне росло много кислых столбунцов. Ими мы утоляли свой голод.

Вечерело. Как быть — возвращаться, или подождать, когда Волга утихнет? — Конечно возвращаться!

Решение было единогласным. За весла усадили самых сильных: Георгия Рыбина, Ефрема Жукалина, Ефима Михеева и Александра Еремеева. Править

лодкой согласился Чередников. Усаживаясь, каждый сказал: «Господи, благослови». На Волге творилось что-то страшное: это было огромное разъяренное чудовище. Когда выезжали из прибрежной полосы с затопленными деревьями, веткой задело новую фуражку Кукина. Упав в воду, она быстро поплыла по течению. Владелец фуражки, метнувшись, так накренил лодку, что все мы чуть не попадали в воду.

— Только вчера купил, — горевал пострадавший.

— Не плачь: сложимся все вместе и возместим твою потерю, — утешали мы товарища.

Водяные валы катились вниз по течению. Наше благополучие зависело от рулевого: не дай Бог, если он поставит лодку вдоль вала. Нас обдавало брызгами. В лодке скапливалась вода. Приходилось всё время выплескивать ее за борт.

Я молился безмолвной молитвой о себе и о товарищах. «Господи, Ты хранил нас все четыре года. Ты помог нам получить звание учителей. Завтра мы должны разъехаться по родным местам, чтоб осенью приступить к работе. Сохрани нас в эти страшные минуты, предотврати скорбь наших родных и друзей, которые с нетерпением ожидают нашего приезда домой, дай мудрость рулевому, дай силу нашим гребцам, не омрачай завтрашнего торжества по случаю окончания семинарии. Все мы с любовью и самоотверженностью понесем знания народу, мы будем добрыми воспитателями, в каждое мгновение жизни мы будем помнить о Тебе, как о нашем Водителе, Наставнике и любящем нас Небесном Отце... Прости нам, легкомыслие молодости, пронеси нас над этой пучиной во славу Твою»...

Когда мы были уже на середине Волги, гребцы застонали:

— Нет больше сил... Смените!..

— Потерпите! Меняться сейчас нельзя: мы в самом страшном месте... Чуть покачнем лодку — и готово: все будем за бортом...

Сверху шел самолетский розовый пароход, снизу белый теплоход общества: «Кавказ и Меркурий». Они сближались. Мы очутились между ними. Пароход назывался «Лермонтов», а теплоход — «Бородино».

— Автор встречается со своим произведением, — пошутил Степан Муравьев.

Видя наше бедственное положение оба капитана распорядились о замедлении хода. Нас спрашивали сигналами: «Нужна ли помощь?» В ответ мы запели:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

С парохода и теплохода сотни пассажиров приветствовали нас маханием рук и платочков. Мы в знак приветствия поднимали букеты ландышей.

— Да здравствует наша могучая Матушка-Волга! — крикнул донской казак Илья Топилин.

— Ура! — дружно подхватили мы.

— Ура! — послышалось с обоих пароходов.

Эта встреча ободрила нас. Гребцы повеселели. О том, чтобы вернуться к лодочной пристани, нечего было и думать. Ветер и течение гнали лодку вниз. Но желанный берег всё же приближался. Закат был багрово мутным, а это означало, что буря стихнет нескоро. Самое страшное осталось позади. Хотелось поскорее ступить на землю — такую крепкую и надежную.

Лодка причалила к плоскому песчаному берегу. Нужно было решить, что с нею делать? Оставлять здесь рискованно: кто-нибудь может украсть. Ефрем Жукалин предложил: «Пусть 20 человек идут домой берегом, а пять человек доставят лодку на место. У берега течение и ветер не такие сильные. Впятером гнать лодку будет нетрудно».

Совет был принят всеми. Пешком предстояло пройти верст десять, но нам казалось, что мы могли бы сейчас пробежать и двадцать и тридцать верст: силу нам давала радость спасения.

Смеркалось. Мы шли тесной толпою. Запели песню:

Волна шумит, волна бушует,
Волна волну о берег бьет.
На берегу сидит, тоскует
Младой рыбак и слезы льет.

Грозой челнок его разбило,
Напрасны были все труды.
Погиб! Но белое ветрило
Еще мелькает из воды.

То погрузится, то всплывает,
Как бы прощаясь с рыбаком.
Так пламень жизни догорает
Весной в страдальце молодом.

Грустный напев песни хватал за сердце, но всё же в глубине каждой души бурлила радость: мы живы, молоды, здоровы, у нас всё впереди!

Навстречу шло несколько человек. Слышались удивленные голоса. Мы приостановились, перестали петь, прислушались.

— Семинарские преподаватели и директор!.. Сейчас нам влетит!..

Мы ускорили шаги, почти побежали. Да, да, это были наши наставники-воспитатели! О, чтобы нам было, если бы мы еще считались семинаристами! Но мы — вольные птицы. И учителя вышли нам навстречу не для того, чтобы побранить и пригрозить наказанием, а чтобы только дружески пожурить нас и порадоваться вместе с нами. Они обнимали нас, как на Пасху, а мы преподносили им ландыши. Когда бородатый пожилой директор, Федор Степанович, обвил мою шею, я почувствовал влагу на своем лице. Старик плакал слезами счастья, что из нас никто не погиб.

— А поете вы хорошо, — похвалил он нас.

— Мы пели и на середине Волги! — похвастался Топилин.

Начались сбивчивые рассказы о неожиданной грозе, об утонувшей фуражке, о двух встречных пароходах и здравице в честь Матушки-Волги перед лицом нескольких сот пассажиров.

Когда мы вошли в поселок и поровнялись с лодочной пристанью, с реки донеслось пение наших пяти гребцов и рулевого:

Волна шумит, волна бушует,
И с пеною о берег бьет...
На берегу сидит, тоскует,
Младой рыбак и слезы льет...

— Приплыли! — закричали мы и остановились на берегу, чтобы подождать товарищей. Все преподаватели и директор приветствовали их еще более радостно, чем нас: ведь они сохранили не только себя, но и красавицу лодку.

1955 г.

ЭКЗАМЕН С КРОВЬЮ

Весной 1921 года, когда в Поволжье начался голод, я работал воспитателем в одном из детских домов Самары. На летние месяцы детей вывезли на дачу. Несчастье, охватившее большую часть России, коснулось и нас: нам часто не доставляли хлеба и самых необходимых продуктов. Истощенная детвора разбредалась по лесу в поисках каких-нибудь съедобных

кореньев и трав, но в том году совсем не было грибов и ягод.

Воспитатели (тоже голодные) с горечью наблюдали за тем, как расшатывалась дисциплина в детском доме. Участились кражи. Мальчики на наших глазах из послушных детей превращались в озлобленных зверят. Шумные требования хлеба сменялись безудержными истериками или тихими слезами. Вместо того, чтобы чем-то покормить голодных, мы им предлагали полежать и подремать, но когда все помыслы о еде, людям плохо спится.

Страдания детей расшатали мое здоровье. Я сознавал свою беспомощность, жалко было просящих «черствую корочку», которую негде было взять. Часто мне хотелось умереть, чтоб не быть свидетелем печальных картин голода.

Доктор, навещавший нас, посоветовал мне поехать на курорт в Севастополь, пообещав достать бесплатную путевку.

Я выехал из Самары в августе. В пути узнал о смерти поэта Александра Блока. До Севастополя наш состав из товарных вагонов добирался ровно месяц — это был год всеобщей разрухи в стране. Заведующая домом дала мне кое-что из белья, которое я менял в пути на продукты.

Многие, ехавшие на курорт, просили милостыню в привокзальных поселках. В Мелитополе я променял детскую рубашку на большой каравай мягкого, белоснежного, душистого хлеба.

В Севастополе многих из нас поместили в бывшей гостинице Киста, где когда-то останавливался Лев Толстой, неподалеку от Графской пристани. На лечебные процедуры мы ходили в Институт физических методов лечения имени профессора Сеченова. Кормили больных сытно, только вместо сливочного масла по утрам давали смалец. Аппетит у всех был волчий. Без всякого стеснения мы просили «добав-

ков» супа и второго блюда. Позже я узнал, что в голодные годы у людей появляется ненасытность даже в том случае, если они не терпят никаких лишений. Разговаривали мы только о еде, завтраков, обедов и ужинов ждали с нетерпением, ели торопливо, чтобы захватить «добавку», когда еще что-то имеется в кухне.

Перед процедурами и после них, отдыхая на мягком диване в круглом небольшом зале, залитом солнцем, я смотрел на лазурное море, на белых чаек, на парусные лодки и катера, но мысли улетали на родину, где остались отец, мать, сестры, многосемейный брат, племянники. Как они переживут голодную зиму? Что мне делать, когда окончится срок полуторамесячной путевки? Куда ехать? В голодную Самару? На сытый Кавказ? В Москву или в Петроград?

Старик петроградец Липатов, лечившийся вместе со мною, уговаривал поехать вместе с ним.

— Ты молодой, сильный, — говорил он мне. — Не устроишься на чистую канцелярскую работу, пойдешь в порт и сделаешься грузчиком. В наше время главное: уцелеть! Не вечно же будет так плохо. В крайнем случае, поступишь в какую нибудь труппу: ты же ведь очень способный.

В молитвах я просил Бога — открыть мне в сновидении дальнейший путь жизни. За время пребывания в Севастополе я посетил французское, английское и русское кладбища, где похоронены жертвы Крымской войны 1854-55 годов и несколько раз знаменитую панораму Севастопольской Обороны. Думая о трудностях, лишениях и бедствиях, пережитых Россией в прошлом, я делал печальный вывод, что все эти исторические события всегда уносят из жизни тысячи людей — молодых и старых, богатых и бедных, рядовых и выделяющихся своими способностями. Кто остается в такие моменты? Счастливцы, покровительствуемые Богом, энергичные, изворотливые, приспо-

собляющиеся, сообразительные. Могу ли я назвать себя одним из таких типов? Я никогда не считал себя способным на какое-то большое дело. Единственной моей профессией до сих пор была учительская. Но мне казалось, что в Москве и в Петрограде повышенные требования к учителям и меня, как провинциала, могут там забраковать. В жизни мне всегда мешала чрезмерная застенчивость. Я боялся говорить с начальством и, прежде чем переступить порог какого-либо учреждения, стоя перед дверью, несколько минут молился.

— «Вы недооцениваете себя». Эти три слова мне в продолжение моей жизни повторяли очень многие. А что же во мне особенно ценного? — думал я. Не находя в себе ничего хорошего, я все свои надежды возлагал на Бога и часто удивлялся, что Он жалеет меня и охотно откликается на мои просьбы.

Доводы старика Липатова убедили меня — поехать из Севастополя в Петроград.

— В первое время остановишься у меня. Сделаю всё, что от меня зависит, чтоб ты поступил на хорошее место.

Поезд для возвращающихся курортников состоял из классных и товарных вагонов. Мне и Липатову повезло: мы захватили места в вагоне 3-го класса, уже заполненном до отказа. Когда поезд тронулся, раздался общий вздох. облегчения:

— Ну, слава Богу, поехали!

В разных местах вагона послышались предположения, сколько дней мы будем ехать до Москвы.

— Раньше десяти дней не дотащимся.

— А может быть доедем в пять дней? Ведь в нормальное время поезд от Севастополя до Москвы шел только полтора суток.

— В нормальное время всё было нормальным, а какое время теперь, сами знаете.

В нашем купе из восьми человек по-детски бес-

помощной была аккуратная интеллигентная старушка с молодыми темными глазами. Мне понравилась ее речь — правильная, мягкая. Я сразу почувствовал, что она из благородной семьи, но с благородством у нее соединялись простота и юмор.

На первой остановке я собирался пойти за кипятком. Спросил у старушки:

— Не принести ли вам чего-нибудь?

— Вы очень любезны, молодой человек, — ответила она с доброй улыбкой. — Сейчас мне пока ничего не нужно, но дорога дальняя и мне еще не раз придется просить вас о какой-нибудь услуге.

— С радостью готов помочь вам.

Этот разговор сразу сблизил нас: старушка привязалась ко мне, как к родному сыну, а я почувствовал в ней любящую ласковую мать.

— Вы такой же нежный, каким был мой безвременно погибший сын Шурик.

На ее глазах навернулись слезы. Я постеснялся расспрашивать о гибели сына, чтоб не бередить материнских ран. Но ей хетелось поделиться горем и она подробно рассказала о себе и сыне, начав издалека. Я удивился, когда она сказала, что ее муж был известный на всю Россию артист-комик Николай Игнатьевич Музиль, что старший ее сын и дочь Варвара Николаевна Рыжова — артисты Малого Театра, а другая дочь, Музиль-Бороздина, играет в государственном театре в Петрограде. С младшим сыном, страдавшим астмой, она в 1917 году уехала в Крым и там застряла на четыре года. Сын был мобилизован в белую армию, за границу бежать не хотел, по приказу Бела Куна явился на регистрацию бывших офицеров и вместе со всеми был расстрелян. Долгое время она ничего не знала о том, как поступила власть с ее домом на Садово-Каретной улице, как живут ее дети, что делается в Москве. Когда связь с Москвой восстановилась, мать решила вернуться домой, где

для нее была с большими трудностями «забронирована» небольшая комнатка в нижнем этаже вместительного двухъэтажного дома.

— Всё это сделала для меня Варя. Я думаю, что она что-нибудь сделает и для вас, поэтому вам лучше остановиться на жительство в Москве.

— В Петрограде у вас другая дочь, — вмешался в разговор Липатов, — вероятно ее авторитет не меньше, чем у Варвары Николаевны?

— В Москве больше возможностей, чем в Петрограде, ведь столица перенесена от вас к нам, — возразила госпожа Музиль.

Я с детства мечтал об артистической карьере и возможность — познакомиться с этой средой сейчас целиком захватила меня. Петроград в моем представлении как-то сразу поблек, как город туманов, сырости и всяких трудностей с устройством на работу.

— Буду вам очень благодарен, если вы приютите меня на несколько дней в своем доме, — сказал я с сердечным трепетом. Липатов укоризненно покачал головой:

— Изменник!.. Впрочем, я рад за вас.

— В «своем доме»? —с горечью сказала Музиль, — о «своем доме» забудьте, слава Богу, если будет «своя комната»... В доме вероятно всё забито жильцами, но я думаю, что в коридоре или на каком-нибудь сундуке, в кухне или в подвальном помещении найдется угол, чтобы переспать несколько ночей... Днем вы можете находиться в моей комнате.

После этого Музиль и я стали испытывать друг к другу еще более родственное чувство: я с радостью делал всё, о чем просила меня беспомощная старушка: приносил ей кипятку, стелил постель, убирал мусор после еды.

Поезд наш стоял подолгу на каждой станции и никто не мог сказать, когда он прибудет в Москву. Это очень огорчало Варвару Петровну Музиль.

— Я не могу телеграфировать о дне и часе прибытия поезда и никто из детей не сможет встретить меня.

— Я найму извозчика и довезу вас до дома.

— Бог послал мне вас.

— А мне — вас.

* * *

Поезд пришел в Москву на восьмой день, в начале ноября, и остановился на товарной станции, километрах в пятнадцати от центра города. Шел снег. Дул резкий ветер. Багажа у Музиль оказалось много. К счастью, возле станции стояли, ожидая седоков с грузом, ломовые извозчики. Я успел захватить самого молодого, у которого была надежная лошадь: большая, сытая, спокойная, светло-рыжей масти. Насчет цены не торговался.

Подвода, подпрыгивая, загремела колесами по булыжникам, во впадинах занесенных снегом. Я поддерживал свою спутницу, которая часто вскрикивала от толчков по такой дороге и в таком экипаже. Она смотрела по сторонам с грустью и радостью. С грустью потому, что Москва была совсем не такой, какой она оставила ее четыре года назад; с радостью потому, что всё же это Москва, ее родина, город, где преуспевал муж, где родились все дети, где круг знакомых и друзей был весьма обширен.

Обнаженные сиротливые кусты и деревья возле многих домов казались беззащитными.

— Поломаны все заборы... вероятно на топливо, — сокрушалась Музиль.

Широкая Садовая улица с высокими домами была не такой, как в знакомых мне городах: в Самаре, Бузулуке, Севастополе. Сразу чувствовалось, что это столичный город, несмотря на облезлые стены зданий, уничтоженные заборы и разбитые окна. Вероятно из-

за непогоды людей на улице было немного, а те, которые встречались, куда-то спешили, ежась от холода.

— Что меня здесь ожидает, не сновидение ли всё то, что происходит со мною? — с тревогой думал я.

Вот и двухъэтажный дом с еще сохранившимся металлическим квадратом, на котором выгравировано имя бывшего владельца: Николая Игнатьевича Музиль. Обнаженные тополи, кусты сирени. Ограда уцелела. Никто не выбежал из дома встретить бывшую хозяйку. Я помог сойти ей с подводы, снял вещи и поднес их к калитке. Варвара Петровна с черного хода вошла в дом. Через несколько минут во двор вышел худощавый подросток лет тринадцати. Я думал, что он хочет помочь мне, но он куда-то быстро побежал. Перетащив вещи во двор, я постучался в дверь. Не дождавшись отклика, вошел в холодную, неприбранную кухню, с открытой дверью в узкий коридор, заставленный сундуками, корзинами, шкафами.

— Варвара Петровна!

На мой зов открылась дверь в конце коридора.

— Зайдите сюда, посмотрите, где я буду жить. Когда-то это была комната для прислуги...

Два окна во двор были закрыты шторами. В комнате было всё, что нужно для живого человека: круглый стол, кровать, диван, кресла, комод, гардероб, картины на темном фоне обоев, красивые безделушки на тумбочке. Чувствовалось, что заботливые руки следили за порядком в комнате, каждый день ожидая ее будущую жилицу.

— Сейчас придут дети — Лена и Варя... За Леной побежал мальчик. Она даст знать Варе. Лена живет в четырех кварталах отсюда, на прежнем месте.

В комнате было прохладно. Варвара Петровна сняла шубу и набросила на себя шерстяную вязаную пелерину. Я оставался в той одежде, в какой выехал из Севастополя: в короткой ватной куртке. Похвалив комнату, я стал втаскивать вещи. Прибежала взволнованная, исхудалая, плохо одетая женщина, с судками для пищи. С нею было двое детей: мальчик и девочка.

Я был свидетелем объятий, слез, восклицаний. Мать познакомила меня с дочерью Еленой Николаевной и внучатами, сказала о моей доброте, попросила найти для меня работу. Дочь крепко пожала мне руку, пообещав сделать всё, что только возможно. Посыпались с обеих сторон вопросы. Ответы часто сопровождались слезами.

— Вот печурка для дневного обогревания, вот и наколотые поленца. Вечерами на несколько часов включается электричество, тогда можно кое-что согреть на плитке, хотя это строго запрещено.

Мальчик растопил печурку, труба которой выходила через стену в кухню. Запахло дымом.

— Вот видишь, мамочка, какой стала Москва... У Вари сейчас репетиция. Она придет часа через два.

Когда стали накрывать стол для обеда, я вышел из комнаты. Минут через двадцать покормили и меня. Смущение, смешанное с тревогой за будущее и тоска, вызванная голодом в Поволжье, не давали мне забвения ни на минуту. Нужно спасти от смерти отца, мать, сестер, брата, многочисленных племянников. Удастся ли?..

Пришла дочь, артистка Рыжова — нарядная, надушенная, уже не молодая, в шляпе с вуалью. Снова объятия, слезы, расспросы. Мать попросила достать для меня пропуск на спектакль Малого Театра и устроить меня на работу.

Вечером вернулись со службы две сестры, жившие в соседней комнате. Они поздравили с приездом бывшую хозяйку, познакомились со мной, позвали к себе. Мальчик, бегавший за дочерью хозяйки, был их братом. Они назвали себя племянницами генерала Брусилова. Старшая сестра, Варя, работала официанткой в общественной столовой. Она принесла в

судке пшенного супа, фасоли, из сумочки достала коробочку с сахариновыми таблетками.

Комната их, выходившая окнами на улицу, была заставлена кроватями, шкафами, корзинами. Для стола оставалась маленькая площадка. Сели ужинать, пригласили меня, шутили, смеялись. После ужина Варя подсчитала чаевые. Я рассказал о Самаре, Севастополе, о знакомстве с Музиль.

— Не пропадете! — утешали меня сестры.

Когда настало время готовиться ко сну, сестры задумались: куда девать меня? Варя предложила единственную возможность: в узком холодном коридоре закатать меня в толстый ковер. Будет неудобно, но тепло. Другого выхода нет. В коридоре не было освещения. Зажгли свечку. Огромный скатанный ковер сняли с двух соседних шкафов, развязав, немного раскатали с одной стороны. Вместо подушки положили на пол узел с тряпьем.

— Раздеваться на ночь не советую: простудитесь. Ложитесь в дневной одежде. Всё же это лучше, чем мерзнуть на вокзалах или слоняться по улицам.

Я был благодарен Варе за жизнерадостную изобретательность. Перед сном молился про себя. Знал: не люди, а Бог через знакомых может найти мне службу и устроить мою жизнь в это страшное время.

* * *

Денег у меня было в обрез. Первые два дня я принимал остатки от завтрака Варвары Петровны без особого смущения. На третий день уже испытывал неловкость. Двадцатипятилетний я объедал семидесятипятилетнюю. Нужно было скорее находить работу и квартиру, чтоб жить по-человечески, а не закатываться ночью в жесткий ковер в тесном, темном и холодном коридоре, Вечером меня кормили Брусиловы, а весь день я был занят поисками работы. В середине дня я шел на толкучий рынок и покупал несколько

пирожков с морковью или с тыквой. Иногда я соблазнялся белым хлебом, выставленным в витринах булочных и покупал полкило обрезков. При этом я всегда вспоминал раннее детство, когда белый базарный хлеб был моей постоянной мечтою.

Я ходил по адресам, которые мне давали дочери Музиль и сестры Брусиловы, я прочитывал многочисленные объявления на заборах, обошел все районные отделы народного образования, — места для меня не было нигде. Настал пятнадцатый день моих поисков. Уже больше недели я отказывался под разными предлогами ст завтраков Варвары Петровны и даже не ужинал у милых сестер Брусиловых. Когда материальное положение становится катастрофическим, увеличивается человеческая застенчивость. В годы молодости я как раз принадлежал к такой категории людей. Мне было не по себе сидеть за столом у тех, которые проявляли ко мне милость, как к несчастному. Мне казалось, что молодой и сильный человек не имеет права нищенствовать. А чем отличались от нищенства мои завтраки у бывшей хозяйки и ужины у ее квартиранток? И хоть голова кружилась и ноги слабели, я старался ничем не выдавать своего отчаяния. Я рассказывал что-то смешное, хотя на сердце скребли кошки. Иногда во время рассказывания у меня темнело в глазах и если я стоял, то нужно было сразу присесть, чтобы не упасть.

В пятнадцатый день поисков работы я сначала зашел на рынок и купил на последние деньги два пирожка с морковью. Они были слишком тонки, чтобы в какой-то мере утолить голод. Туже затянул пояс. Не переставал молиться про себя. С Богом разговаривал, как с родным отцом: «Господи, Ты всё видишь и знаешь. У меня не осталось ни копейки. На родине моим родителям грозит голодная смерть. Я ищу работу, а работы нет. Пошли мне ее сегодня, помоги мне, поддержи меня в этом большом, чужом городе. Укажи

мне нужную дорогу, открой мне двери к влиятельным людям»...

Объявления и афиши на заборах ничем не порадовали. Погода была холодная, с неба сыпалась колючая крупа, ветер усиливал ее игольчатость. Я чувствовал себя, как заблудившийся в дремучем лесу. Каждый дом — гигантское дерево, а спешащие, равнодушные к чужому горю люди — обитатели этого леса. У каждого свои заботы, планы, намерения, дела. Кого можно остановить, расспросить, с кем посоветоваться? Душа ни в чем не находила забвения, хотя продолжала молиться. Какая-то искорка надежды тлела на дне сердца. Что-то должно случиться и как раз сегодня. Бог спасет меня для моих близких, Он смилуется надо мною в последний момент. Я не представлял, в каком виде будет эта милость: найду ли я потерянные кем-то деньги, встречу ли неожиданно кого-нибудь из прежних друзей, поступлю ли на хорошее место?..

Уже во второй половине дня, испугавшись внезапного, сильного головокружения, я присел на ступеньке большого каменного дома на Петровке. Подпирая голову руками, я повторял два слова: «Господи, сжалься». Клонило в сон. Я мог бы уснуть, чтоб забыться хоть на несколько минут, но время бежит, день на исходе... Я не имею права спать!..

Подняв голову, я увидел на заборе противуположной стороны огромную, необычно-яркую афишу. Сердце затрепетало. Может быть мое спасение в этом большом листе бумаги с разноцветными буквами? Пересек улицу.

«КУРСЫ ИГР И ПРАЗДНИКОВ». Читая с волнением и надеждой объявление, я узнал, что курсы готовят инструкторов для проведения массовых детских праздников. Принимаются на курсы лица обоего пола в возрасте от 18 до 30 лет. Занятия вечерние. А самое главное: курсанты обеспечиваются военным

пайком. Справки в народном комиссариате: Крымский проезд 1, 3-й этаж, комната № 47. Вот оно — долгожданное счастье! Это специально для меня! Мне — 25 лет. Я люблю детей, я педагог по призванию. Сколько сейчас времени? Спросил у нескольких прохожих. Четыре человека ответили, что не имеют часов, пятый сказал: «Без четверти три».

— Скажите пожалуйста, где Крымский проезд?

Побежал. Усталость, как будто этим колючим ветром сдуло. По лицу текли струи пота... Не опоздать бы!.. Военный паек!.. Хватит и для себя и для родных! Хлеба дают два килограмма на день, а кроме хлеба много других продуктов. Вот она милость Божия!

Пробежал мимо храма Христа Спасителя. Какой он огромный, величественный. Помолился вслух: «Господи, устрой»... Надо пробежать еще одну улицу: Остоженку. Какая длинная!.. От меня валил пар. Прохожие смотрели с удивлением: «Куда бежит этот молодой человек? Почему такое нетерпение, соединенное со страхом, на его лице?» Если бы эти люди знали о моих переживаниях, они бы от всего сердца посочувствовали мне.

Вот он этот большой серовато-зеленый дом в несколько этажей. Обрету ли я здесь радость? Осуществится ли в этих стенах мое желание?.. Поднялся на третий этаж, в длинном коридоре нашел дверь с номером 47. Открыл. Огромная комната, заставленная десятками письменных столов. За каждым — два или три человека. Спросил о директоре курсов.

— Вам товарища Марца?

Указали на угол, отгороженный серыми ширмами. Войдя, поздоровался с красивым господином.

— Что вам угодно?

— Хотел бы поступить на курсы игр и праздников.

— К сожалению, не могу исполнить вашей просьбы: вчера приняты последние.

Смертельная стрела пронзила мое сердце: всё кончено! Нет выхода. Что сказать этому милому человеку?..

— Простите за беспокойство... До свидания...

Зачем сказано это последнее слово? Разве когда-нибудь мы увидимся, если меня не будет на курсах?.. Внезапная усталость навалилась тяжелой глыбой на душу и тело. Смогу ли я дойти до двери? Голова кружится. В глазах темно. От сосущего голода тошнит. Расстояние до выхода кажется бесконечным. Еле передвигая ноги, иду с одним желанием: не упасть среди этих чужих людей, чтоб не вызвать тревоги и переполоха. Упасть на улице не страшно, особенно в безлюдном месте... Бог, как видно, решил отказаться от меня и это сознание больнее всего ранит сердце. Задеваю за сидящих людей, позабывая извиниться. На меня смотрят с неприязнью, а мне теперь — всё равно... Вот она медная, холодная ручка двери. Ухватился за нее, как за спасительную опору, уже хотел открыть дверь, но в это мгновение услышал звонкий голос того, кто мне отказал:

— Молодой человек, вернитесь!

Оглянулся. Робко спросил:

— Я?..

— Да! Да!

В тоне, каким было сказано двукратное «да», звучало что-то ласковое, согревающее. Шаг снова окреп. Преодолел кружение головы, тошноту, слабость и робко подошел к столу директора.

— Вам очень бы хотелось поступить на курсы?

— Я мечтал о таких курсах всю жизнь.

— Хорошо, мы примем вас сверхштатным. Но всех, поступающих к нам, мы экзаменуем по общеобразовательным предметам и педагогике.

— Когда будут эти экзамены?

— Да хоть сейчас! Согласны?

Экзаменоваться после всего пережитого, на тощий желудок, с кружащейся головой было рискованно. Мне казалось, что я забыл всё, что когда-то изучал и могу осрамиться, но положившись на милость Божию, я дал согласие. Директор куда-то вышел, сказав:

— Посидите здесь, я сейчас вернусь.

Минуты через три с ним вошли два солидных господина профессорского вида. Все трое уселись против меня. Сначала были вопросы анкетного характера: кто я, откуда, с каким образованием, сколько лет был на педагогической работе? Дальнейший экзамен был похож на беседу, участники которой касались литературы, истории, педагогики, естественных наук.

— А что вы думаете об этом? — спрашивали у меня экзаменаторы.

Мои ответы казались им оригинальными, несколько раз они улыбнулись с чувством удовлетворения. Их порадовало, что я пишу стихи и они попросили меня прочесть несколько строк. Мои педагогические опыты привели их в такой восторг, что директор курсов воскликнул:

— Какого прекрасного курсанта мы чуть не прозевали! Поздравляем вас! Вы приняты!

Все трое крепко пожали мне руку.

— А теперь пойдем вместе со мною, — весело сказал директор. Я подумал, что он ведет меня в буфет. Мы спустились в подвальное помещение со всевозможными приспособлениями для гимнастики. Директор подвел меня к лестнице.

— Постарайтесь подпрыгнуть как можно выше и подтянуться десять раз. Я буду считать. Молодец, очень хорошо! А теперь давайте поиграем. Я буду мышкой, вы — кошкой. Ловите меня!

Он забегал по залу с легкостью двенадцатилетнего мальчика. Я за ним. Он прыгал через столы и стулья. То же делал я, не переставая молиться про себя, чтобы Бог дал мне сил, легкости, ловкости, расторопности и сметливости.

Когда директор нырнул под стол, я схватил его за ногу. Раскрывшаяся английская булавка, которой прикреплялся носок к нижнему белью, вонзилась в мой указательный палец.

— Поздравляю еще раз!

Директор протянул мне руку, я ему — свою. Из раны на пальце текла темная, густая струйка крови. Голова снова закружилась. В глазах потемнело. Я потерял сознание. Падая, ударился головой о стол.

. . . .

Через два дня меня приняли воспитателем в детский дом на Ваганьковской улице. Служба и курсы помогли мне спасти родителей и многих родственников от голодной смерти. В течение зимы я выслал на родину 60 продовольственных посылок.

1960 г.

МЕНИНГИТ

По личным делам, в конце августа 1922 года, я должен был поехать в Симбирскую губернию. На третий день по приезде я тяжело заболел. Знакомые, у которых я остановился, отвезли меня в волостную больницу.

Меня внесли на брезентовых носилках — черноголовый мужик, хозяин подводы, и кто-то в белом. В ожидальной — тьма народу: взрослые, старики, дети.

Кто-то спросил:

— Тиф что ли?

— Бог знает.

Доктор с седоватыми висками, не сердитый, интеллигентный, в пенсне. Обо всем расспросил, выслушал сердце, легкие, поставил градусник.

— Ого!.. Температура всё время на этом уровне?

— Да... сорок один с половиной...

— По всем признакам — менингит.

Отдал распоряжение:

— В одиночную палату номер 9.

Пришла сестра — молоденькая, белокурая, ласковая. Взмолился к ней:

— Сестрица, у меня невыносимые головные боли... дайте Христа ради яду!

Погрозила пальцем:

— Ишь чего захотели?.. А, ну-ка снимайте очки!..

— Сестрица, я плохо вижу без очков.

— А кого вам разглядывать?

— В окно на облака хотелось бы поглядеть.

— Обойдетесь и без облаков.

Догадался, почему отобрала очки: боится, как бы стеклом не вскрыл вены. Ушла. В полдень принесла каши. Отказался.

— Пить!

Дала порошок.

— Сейчас уснете.

Не уснул. Но от слабости глаза закрывались сами. Тогда начинался бред: пальцы ног превращались в маленьких человечков и убегали, как мыши, с суетливым писком. После этого отделялись человекообразные ступни, за ними — ноги до колен, потом выше колен... Вслед за ногами уходило туловище, похожее на толстого карлика. Пыталась убежать и голова. Со стоном хватался за нее, чтобы удержать. Открывал глаза весь в поту, но была радость: все части тела на месте.

В соседней палате мучился старик, повторяя без конца: «Господи, прости меня грешного»... Из других палат доносились вопли, причитания. Это немного отвлекало от болей:

— Им еще хуже.

Ночью мучительной была бесконечность часов и минут. Казалось, что никогда не настанет утро. Молился. Плакал. Переносился мысленно домой. Вспоминал детство, юность, первые годы учительства. Как

было много хорошего в жизни! Всё кончилось! Ни одна радость больше не повторится!.. Боли, боли, жжение в мозгу, острые раскаленные камни распирают череп, а закроешь глаза, — тело убегает по частям... Пение петухов радовало, напоминая о течении времени и о том, что утро так или иначе настанет...

* * *

Дни за днями. Вечность, что пугала в детстве нескончаемыми муками в аду. Вечность без надежд на перемену.

Молоденькая сестра упрашивала съесть хоть ложечку манной каши.

— Не хочется... Пить!..

Градусник издевался однообразием: и утром, и днем, и вечером — 41,5.

— Пожалейте, сестрица, дайте отравы.

Самое желанное — смерть! Никогда здоровым ничего не хотел так жадно, как теперь — конца. Смерть — единственная радость, но люди не хотят моей смерти — жестокие, бесчувственные, равнодушные... Их не трогают слезы и страдания...

Утерян счет дням. За стенами ветер. За окном какой-то шум.

— Сестрица, что это?

— Ненастье, осень пришла.

— Сколько времени я в больнице?

— Зачем вам это?.. Теперь уж недолго...

— До смерти?

— До кризиса.

— А что тогда?

— Выздоровление.

— Почему не стонет старик?

— Умер.

Брызнули слезы.

— Жалко?

— Завидно: другие умирают, а мне век мучиться... А кто это плачет тоненьким голосом?

— Ребенок, только что родился.

— Зачем?

— Жить.

Дождь, дождь. Когда было здоровье, любил засыпать под дождь. Теперь тоска: небо серое, солнца нет. Ночи стали длинные. За шорохом дождя не слышно петухов. Но что это? Кто завел меня в густой лес? Кто это шумит? Ах, да ведь это всё знакомые односельчане — с топорами, косами, вилами.

— Убить, убить ее! Все головы оттяпать!

В лесном озере живет многоглавая страшная змея. Пáсти у нее, как широкие ворота. Языки длинные, липкие. Никому не дает проходу: притянет языком и в пасть. Теперь шипит: «Хочу Родиона! Дайте мне его! Проглочу и больше никого не трону!»...

— Ах, ты гадина! Мало тебе тех, что сгубила в своей ненасытной утробе?

— Родиона захотела? Отсекайте ей топорами длинные языки! Крушите ей головы!

Всё село вступилось за меня, народ не хочет отдавать меня змее. Вот одна голова плещется кровью, вот другая и третья.

— Прикончена лютая гадость! Не бойтесь, люди добрые, ходить в лес за грибами и ягодами!

Открыл глаза. Голова не болит. Потрогал — холодная. Захотелось есть. Захотелось жить. Светает.

— Сестрица! Сестрица!

Вбежала.

— Ну?.. О, да вы улыбаетесь!..

— Сестрица, змею убили! Все головы отчекрыжили!..

— Какую змею?

— Во сне.

Поставила градусник:

— Проверим!

— Хочу есть, сестрица, быка съем!

— Отравы уже не хотите?
— Нет!.. Спасибо, что не сжалились, когда просил.
— Хотите полюбоваться своей температурой?
— Хочу.
Поднесла к глазам.
— Только 36?..
Пришел доктор.
— Поздравляю. Признаюсь откровенно: не надеялся на такой исход. Скажите спасибо своему сердцу: выдержало месячный, не прекращающийся ни на минуту огонь. Такие случаи мы называем чудом. А почему слезы?
— От радости, доктор.
— Теперь бы вам хорошо месяца два отдохнуть, хорошо попитаться.
— Здесь это невозможно. Надо ехать к родителям, которых я спас от голодной смерти прошлой зимою.
— Тогда поторопитесь домой.
После месячной голодовки — диэта: манная кашка, бульон, один сухарик. Уцелел от менингита, но могу умереть от голода. Попробовал выйти, держась за стены, на крылечко. Темные облака бегут в родную сторону. Туда же улетают грачи. Кружатся на ветру листья. Один. Никому здесь не нужный. Из больницы взяли те знакомые, у которых остановился по приезде. Но они сами живут впроголодь: три раза в день едят ржаную кашу. Этим же кормят меня. Набрасываюсь с жадностью, а через несколько минут нестерпимые, режущие боли. Страшно: от такого питания не сегодня-завтра конец. Домой, домой, хотя бы ползком!
Через неделю вышел на рассвете в путь. До разъезда 12 километров.
Через каждые пять шагов отдыхал.
— Господи, дай сил дойти!

К вечеру подул холодный ветер, пронизывая насквозь короткий пиджачок. Но уже слышался шум поездов. Сердце пело: скоро, скоро!

* * *

Ночь. Поезд бежит на родину. Колеса стучат: Жив! жив!
Паровоз кричит:
— Живи!!!
Мост через Волгу. Доносятся пароходные гудки — с юности волнующие, зовущие к действию, к путешествиям, к творчеству. Дремал. Просыпался. Сосало от голода под ложечкой. Кружилась от слабости голова. Но грудь дышала радостью.
Поезд пришел на родную станцию ночью. Темно. Раскачивается под ветром фонарь. Не стал ждать утра. Пошел лесной тропинкой. Под ногами мягко шуршали листья, пахло грибами. В каждом силуэте дерева было что-то родное, милое, дорогое. Домой вели не ноги, а несли какие-то крылья. Утихли боли. Улетучилась слабость.
Спящее село. Притихшие избы. Ни одного огонька. Виднеется родная калитка. Дойду ли? Не подкосятся ли от радости ноги?
Подошел. Тихо стукнул пальцем в стекло. И сразу все проснулись. В один голос закричали:
— Родион!!!
Первой выбежала мать:
— Милый! Желанный! Живой!..
Вошел в избу. Все плачут. Отец зажег лампу. Крестится в передний угол. Стали на колени. Мать молится вслух:
— Господи! Укрепи силы моего последнего сына, пошли ему счастья и удачи. Ты сохранил его в младенческие годы... Сохрани его теперь для пользы всему народу...

1952 г.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Когда разразилась война, мне было 46 лет. Я никогда не держал винтовки в руках, был близоруким. И вот такого — неопытного, неловкого, полуслепого — меня мобилизуют в народное ополчение и гонят на фронт.

От тяжелых переходов на ногах кровавые мозоли. Работать как «подсобную силу» нас заставляют не только днем, но и ночью, кормят впроголодь. На нас кричат, нам грозят арестом и расстрелом за каждую ничтожную провинность.

В ополчении профессора, инженеры, учителя, музыканты, художники, но для безусых лейтенантов, прошедших ускоренные курсы, мы только бездушные механизмы. Чем интеллигентнее человек, тем страшнее издевательства над ним. Мы должны забыть о том, что где-то, когда-то учились, выпускали книги, строили дома, заведывали школами, читали лекции. Здесь мы — безличная серая скотина, а скотина должна быть покорной, или ее секут кнутами, подгоняют бичами, отделяют от стада на убой.

Сколько нужно было терпения и смирения, чтобы переносить бессмыслицу и тупость начальства! Какой физической выносливостью должны мы были запастись, чтобы преодолевать эту чудовищную каторгу изнурения! Минуты нашей жизни казались часами, день превращался в бесконечность, надвигавшаяся ночь не сулила нам отдыха, особенно при лунном свете: мы продолжали рыть окопы, строить блиндажи, валить лес, чтоб загородить дорогу вражеским танкам.

Горе было всем белоручкам, не имевшим навыка к физическому труду — начальство высмеивало их публично за растрепанный вид, за неуменье держать в руках лопату, за бессилье на земляных работах.

Я радовался, что трудная школа детства и отрочества в крестьянской среде научила меня многому и сейчас, в этой массе, я могу сойти не за писателя, а за прирожденного батрака. Руки мои огрубели от мозолей и ссадин, бриться мне было некогда, я стал бородатым, и поэтому многие из молодежи называли меня «отцом». Всё виденное, услышанное и пережитое я заносил в дневник, с которым не расставался. На страницах дневника были убийственные характеристики — политруков, лейтенантов, майоров и генералов. Однажды это чуть не погубило меня. Я хранил дневник в сумке для противогаза. Раздувшийся мешок заметил командир взвода и вызвал меня на расправу в штаб. Вынув толстую тетрадь в переплете, он положил ее на подоконник. Распекая меня, он отчеканивал:

— Забудьте о том, что вы писатель! Здесь вы — только нуль, приставленный к командным единицам. Ваша доблесть — дисциплина! Подтянитесь, если не хотите попасть в штрафную роту!

В этот момент в штаб вошел политрук и взял с подоконника мой дневник. Наугад раскрыв его, он стал читать строки... о себе. А строки эти были о том, как политрук ворует продовольствие из наших вещевых мешков, которые перевозятся на подводах.

В глазах у меня потемнело. — Конец! Расстрел! — подумал я.

Не слушая, что мне бубнит командир взвода, я выхватил тетрадь из рук политрука с замечанием:

— Это не ваше и не для вас!

Тогда на меня набросились двое: и командир и политрук. Я думал, что не выйду живым из штаба. — Господи, спаси, — воззвал я про себя, — вырви из лап этих зверей! Сохрани для будущего!

И произошло чудо: политрук, ничего не сказав, вышел из штаба, а командир, предупредив, чтоб это больше не повторялось, отпустил на свободу.

Пятого октября 1941 года, на рассвете, случилось то, чего мы все боялись: неподготовленных в военном отношении, неопытных, жалких, измученных, малышей и стариков в возрасте от 14 до 70 лет, нас по-

везли на передовую позицию. Дорога к фронту пролегала в смешанном лесу, необыкновенно красивом в эту пору. В одной из моих поэм есть описание этого момента:

Утром нас везут на запад,
Где бурлит все дни сраженье.
Всё слышнее гул тревожный,
Всё короче жизнь земная.

В золотом уборе клены
И березы, и осины.
Ели стройные меж ними,
Как дворцовые колонны.

Может быть сегодня в полдень
Нас не станет в этом мире...
Унести б в иные сферы
О земной отраде память —

Вот об этих ярких листьях,
Что в лицо бросает ветер,
Вот об этом синем небе,
Кротком, как глаза младенцев.

На востоке длинной лентой
Нежно облако алеет.
Заяц выскочил из ямки
И помчался вдоль дороги...

Улетаю мыслью к близким:
Где они? Что стало с ними?
Кто поведает любимым
О моих последних думах?

Вот теперь везут нас к фронту,
Защищать свою отчизну,
Ту отчизну, где мы радость
Потеряли безвозвратно.

И душа сейчас двоится:
Может быть нам будет лучше,
Если враг страну захватит,
Свергнет власть волков двуногих?

Но за это малодушье
Укоряет строго совесть:
«Разве ты ничтожный шкурник?
Себялюбец близорукий?

Власть приходит и уходит,
А народ живет столетья.
Отдавать врагу родное,
Значит, в лучшее не верить.

За поля свои сражайся,
За кудрявые березы,
За былую славу предков,
За грядущую свободу!»

Сражение началось рано утром. Над нами с гудящим свистом пролетают мины. Хотя их не видно, невольно пригибаюсь, чтоб эта летящая смерть не отделила голову от туловища. Поднялся ветер. Охваченные ужасом ракиты склоняются почти до земли. Страшно и в то же время интересно. Стараюсь занести в дневник как можно больше строк о своих необычных переживаниях — впервые за свою жизнь. В разных местах горят деревни. Разносится слух об отступлении. Но отступать под огнем опасно. Вот деревянный сруб без окон и без крыши. Престарелые «воины» жмутся по углам. Вбегает медицинская сестра.

— Трусы! Вы должны сражаться, а не дрожать за свою шкуру!

Наши минометы замолчали. А вражеские всё еще действуют. Отступаем ползком. Вот узкий мостик через канаву. Со мной 14-летний мальчик и 65-летний тщедушный колхозник, страдающий куриной слепотой.

— Сейчас пойду навстречу неприятелю с белой тряпкой, — заявляет он, — пойдемте вместе...

Но совесть предупреждает: «Держись до конца». Шепчу мальчику: «Не уходи с ним»...

— Не хотите жить? Ну, так погибайте! — с укором говорит старик, вылезая из-под мостика. На тонкую палочку он нацепил смятый грязный носовой платок. Ушел. А через минуту мы услышали его предсмертный хрип. Старику хотелось жить, нам он пророчил гибель, а смерть сразу скосила его.

— Что делать? — спрашивает мальчик.

— Отступать.

Выползаем из-под мостика. Там и сям наши ополченцы. Ползут или бегут пригнувшись. Лежат убитые. Передается от одного к другому команда — о сборе на возвышенности к востоку от деревни.

Бежим под гул взрывов: подожжен своими же сарай с запасом снарядов. Какой умопомрачительный фейерверк! Снаряды рвутся тысячами. Шарообразное пламя взмывает к небу. Искры огненной метели заполнили всё пространство на десятки километров вокруг. Такой ужас я представлял в детстве, читая о последних днях Помпеи. Скрыться бы куда-нибудь от этого ужаса, не слышать взрывов, не видеть пожаров! В некоторые мгновения кажется, что это не явь, а сновидение, бред, кошмар. Вся земля — кромешный ад.

Проходим через маленькую деревеньку. Двери домов раскрыты, ворота распахнуты настежь.

Когда душа покидает свое обиталище, оно превращается в труп. Опустевшее селение это — целое кладбище. Свистит ветер в колодезном журавле, раскачивая веревку без бадьи.

За деревней подводы с имуществом, возле них молчаливые, притихшие от ужаса, женщины, старики, дети. Испуг заморозил их: не слышно ни громких разговоров, ни всхлипываний. Даже грудные младенцы на руках сосредоточенно молчаливы. Только визг

поросенка, завязанного в мешке, свидетельствует о том, что эти подводы и люди — не привидения, а действительность.

Остатки нашего полка собираются на холме. Вражеские самолеты обстреливают нас трассирующими пулями. Кажется, будто на нас льется золотой дождь. Как будто потревоженные огненные осы вылетели из своего гнезда, ища кого либо ужалить. Со всех сторон пылающего горизонта слышно зловещее гудение. Гудит воздух, гудят недра земли. В тон этому гудению трепещут наши сердца.

Долго и суматошно нас выстраивают в колонну. Полковник рычит:

— Вы не умеете даже отступать! Как же с таким стадом идти в наступление?

Наконец, трогаемся. Мне и мальчику навязали нести ящик с гранатами. Широкое шоссе поднимается в гору. Слева и справа лес, по запаху слышно: березняк. На небе полная луна. Идем робко, как по краю пропасти. Из леса взвиваются сигнальные ракеты: желтые, синие, красные. Застрочил пулемет. Каждому хочется идти в середине. Предчувствие подсказывает: впереди нас ждет что-то еще более страшное, чем то, что было до сих пор. Лес остается позади. Бредем медленно, как слепые. Луна освещает окрестности — мелкий кустарник слева, поле с правой стороны, силуэт деревни в отдалении.

Золотая ракета со свистом взвивается к небу, другая стелется над землею. Они долго не гаснут. Свет от них такой яркий, что видно каждую травинку. Мы обнаружены неприятелем. Нас нужно уничтожить. Если днем был ливень огня, то теперь забушевал всесокрушающий шторм. Минометы, пулеметы, автоматы, шрапнель — обрушились на нас — почти безоружных, измученных, опустошенных, голодных, жаждущих. Мы попадали на землю. Ротный, не поднимаясь, закричал:

— За мною, ура!

Но никто не двигается.

— В атаку, гады! Ура!

Встают трое. Я — один из них. Бегу, кричу «ура», не потому, что я — смельчак, патриот и герой, а только потому, что чувство неловкости и долг воина оказались в эту минуту сильнее животного страха. Усилившийся огонь заставляет нас отступить и теснее прижаться к земле. Хочется найти хоть маленькую ямку для головы. Застонали в разных местах раненые. Ползем назад, ищем канаву или овражек. Вот траншея, но, к сожалению, очень мелкая. В ней можно укрыться только лежа. Сюда ползут другие, давят друг друга. Командир батальона взывает к нашей сознательности, говорит, что нас в бой послала Родина. Командир полка кричит: «Не позорьте моих седин!» Народ не двигается. Лишь слышны вопли умирающих. Я рою шанцевой лопаткой углубление в траншее в те моменты, когда стрельба на минуту затихает. При возобновлении огня прикрываю лопаткой лоб. Пули, звякая о сталь, не пробивают ее. Когда они отскакивают на землю, на мои колени сыплется песок. Рассудок не покидает, знаю, что каждую минуту нас могут взять в плен, сделают обыск, найдут дневник, а в нем — проклятия немцам. Могут тут же расстрелять. Поэтому надо уничтожить всё то, что записывалось с таким старанием несколько месяцев. Левой рукой держу спасительницу лопатку, а правой рву страницы толстой тетради. Душа горит от страха и неописуемо-жгучего желания — жить! Думаю: неужели через мгновение меня не окажется среди живых? Вспоминаю стихи Пушкина:

«И где мне смерть пошлет судьбина:
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?»

Однажды в Москве я стоял много часов в очереди за билетом в Художественный театр. О, как мне хотелось тогда попасть на представление! Но когда я подошел к окошечку кассы, оттуда послышался равнодушный голос: «Все билеты проданы». С грустным чувством я возвратился домой. Досадно было, что потерял без толку много драгоценного времени и не увижу спектакля, о котором восторженно говорит вся Москва.

Сейчас мне хочется получить билет от Творца, дающий право жить и созерцать не игру актеров, а величие и великолепие Божьего мира! Есть ли что на свете дороже и прекраснее жизни? Я согласен нищенски одеваться, питаться водой и черствым хлебом, но только жить, путешествовать, радовать людей, творить и благодарить Творца! Неужели в эти страшные минуты Господь скажет, как равнодушная кассирша: «Билетов на жизнь больше нет?!»

Молюсь: «Господи, Ты можешь всё! Спаси меня от вражеского огня! Всю жизнь я буду служить Тебе — сердцем, умом, волей, своими способностями!»

Мои соседи справа и слева убиты. Один навалился на меня. Чувствую, как с него на мою шею течет кровь. Но вот наступает тишина: огонь прекращен. Испуганный голос спрашивает: «Кто остался?» Немногие. Я среди них. Чудо! От Бога получено право — на жизнь и радость!

1958 г.

ХЛЕБ, ВОДА, ВОЗДУХ

«Хлеб наш насущный дай нам на этот день», — такими словами повелел Христос молиться о дневном пропитании. Мы любим повторять эти слова. Хлеб — — основа нашей жизни, благоденствия и благополучия. Как все люди, я всегда думал, что без хлеба наше бытие лишено главной радости. Но однажды я понял, что для всех нас прежде всего нужен... воздух!

Это было во время последней войны. В октябрь-

ский холодный день я шел в колонне военнопленных. Нас вели по русским дорогам — проселочным, извилистым, узким. В каждой шеренге было по четыре человека. Все были в шинелях. Но я не успел получить шинель перед боем и попал в плен в стеганой телогрейке. Непрекращавшийся дождь стегал меня по коленям. Промокла тонкая летняя пилотка. Дождь затекал за шею. За плечами висел походный мешок. Это было мое спасение: в мешке я нес полученные из Москвы накануне боя сухари. Изредка на ходу я снимал мешок, чтоб взять четыре сухаря — для всех по одному в моей шеренге. Нам ничего не давали уже три дня. Многие качались от слабости. Но отставать было нельзя: всех таких немедленно пристреливали. В пути мы видели много убитых. Они лежали слева и справа от дороги в различных позах.

Чтобы не упасть, мы держали друг друга под руки. Вышли на широкий большак. Здесь трупы попадались чаще. Многие лежали вверх лицом. У некоторых были открыты глаза. Дождь обмывал лица убитых. Струйки воды текли по щекам. Казалось, что убитые плачут.

Смертельно хотелось пить. Мы были мокры от дождя и от пота. Позади остались десятки километров, а мы шли и шли, качаясь от усталости и тоски. Конвоиры менялись. Командование считало, что сытый солдат может утомиться, а голодный, не евший три дня, промокший до нитки военнопленный должен забыть об усталости, если не хочет лежать возле дороги и плакать дождевыми слезами.

В каждой деревеньке, возле калиток и окон, на нас смотрели молчаливые грустные женщины. Они ничем не могли нам помочь. — «Страдальцы», — слышали мы тихий шёпот. Всё, чем они могли порадовать нас, была вода. Они выносили ее ведрами. Но пить нужно было на ходу, не отставая от колонны. Человек, шагая, тянул драгоценную жидкость из кружки, а женщина, тревожно оглядываясь по сторонам, шла за ним, чтобы взять кружку и напоить другого.

В одном месте мы увидели колодец. Колонна рассыпалась. Все ринулись к колодезному срубу. Кто-то схватил бадью, прикрепленную к деревянному гладкому шесту. Колодезный журавль уже наклонился над срубом, но в это время раздалась стрельба конвоиров. Воды не успели зачерпнуть. Пустая железная бадья, стремительно вылетая из сруба, стукнула по подбородку того, кто мечтал напиться первым и раздробила ему челюсть. Он упал со стоном возле сруба. Подбежавший конвоир пристрелил его, как главного виновника беспорядка.

После заката солнца мы пересекли железнодорожную линию. Завиднелся поселок. Запахло мирным дымком. На отшибе виднелся деревянный дом с вывеской: «Школа». При школе был двор, обнесенный высоким забором. Нас загнали сюда. Кто-то пустил слух, что сейчас будут раздавать еду. Давя друг друга, мы протискивались поближе к начальству. Но раздался выкрик переводчика, что кормить нас будут «завтра». Все пали духом, но протестовать боялись. Протестуют люди, а мы были серой, жалкой, грязной, беспомощной и бесправной массой.

На ночлег нам было приказано разместиться в школе. Она была без перегородок. Вероятно их сняли уже во время войны для каких-то надобностей.

Когда всё помещение было забито людьми, донесся приказ начальства — потесниться, так как многие еще толпились во дворе. Уплотняться нужно было в темноте. Слышались проклятия, стоны, визг, ругань.

Так как я протиснулся в помещение одним из первых, мне посчастливилось занять место у окна, закрытого снаружи ставней.

Когда все люди были загнаны внутрь, поступило распоряжение: поставить у дверей высокую кадку «для всяких надобностей».

У многих еще оставалась махорка. Кое у кого

были спички. В помещении уже с первой минуты нечем было дышать. Табачный дым и смрад из кадки отравляли воздух. Задыхаясь, я повернулся вниз лицом — в надежде найти в деревянном полу какую-нибудь щель, чрез которую будет проникать воздух, но такой щели не оказалось. Голод был забыт. Даже о воде не думалось в эти мгновения. Хотелось только вздохнуть полной грудью. Пусть смерть, но на чистом воздухе! Пока еще не угасло сознание, я изо всей силы ударил в ручку окна. Оно распахнулось, раздвигая двухстворчатую ставню. Поток свежего осеннего воздуха с первыми ранними снежинками хлынул в наше логово, но в ту же минуту возле окна застрочил пулемет немецкого часового. Я порывисто захлопнул окно. От сильного движения нижнее звено выпало из рамы. Раздался звон разбиваемого стекла. Это послужило сигналом для других пленных, лежавших возле окон. Они не открывали их и не закрывали, а просто разбивали стекла кулаком.

Засыпая, загадал: пусть сновидение подскажет, останусь ли живым. Приснился пробегающий московский трамвай, переполненный пассажирами. Трамвай летит, не делая остановок, чтобы никого больше не брать. Я цепляюсь на ходу. Сначала вишу, как и многие, на подножке, потом пробираюсь внутрь. Проснувшись утром, с радостью думаю: «Значит, всё-таки зацеплюсь, не соскочу, не буду пристрелян, уцелею в плену»...

На рассвете нас подняли и куда-то повели, сказав, что покормят «там». Кто-то объяснил, что это в лагере военнопленных.

И снова мы шли. Дул ветер со снегом. Было холодно и голодно, но теперь я был сыт воздухом — чистым русским воздухом Смоленщины. От слабости кружилась голова, но я верил, что под этим ветерком со снежинками я осилю трудную дорогу: меня будет подкреплять свежий воздух!..

Я шел и думал: «Незримый, живительный, спасительный воздух! Ты олицетворяешь Самого Бога! Как и Он, ты вездесущ и невидим! Я познаю Творца через Его творения. О тебе, мой бесценный воздух, я знаю потому, что дышу полной грудью, потому, что вижу, как шевелятся ветви на деревьях, а по небесному простору плывут облака... В годы юности я вдыхал тебя вместе с ароматом сжатого хлеба, отдыхая в окружении теплых тяжелых снопов под неумолчное стрекотание кузнечиков и под успокаивающее мерцание далеких звезд. Ты манил меня на горные вершины, в березовые рощи, в тенистые дубравы и в зеленые луга. Ты пропитывал вынесенное на мороз белье каким-то особенным запахом и когда его приносили в комнату, твоя свежесть была так чарующа, что все по-детски переглядывались от удивления и радости».

В память моего спасения в ужасную ночь немецкого пленения я в своих молитвах не забываю поблагодарить Бога за воздух, без которого не мог бы прожить и нескольких минут.

А разве без Бога я прожил бы на свете до этой поры? Без Него я давно бы задохнулся в смраде неверия, кощунства, самонадеянного эгоизма и преступной беспечности.

О Господи! Ты — Воздух моей души! Что воздам Тебе за все Твои благодеяния ко мне?

1958 г.

БУРЯ

И. А. Карпенко

Вчера затишье, ныне снова буря.
Скрипит сосна, и ствол и ветви хмуря.
Шуршит камыш, поет надрывно клен.
Разорван в клочья пестрый небосклон.
Взывая о смягчении угрозы,
Качаются беспомощно березы.
К земле в испуге ластится трава,
Она от этой бури чуть жива.
Попрятались гагары, гуси, утки,
Под крылья жмутся их птенцы-малютки.
Все терпеливо, напряженно ждут,
Когда свистеть устанет бури кнут.

* * *

Ждет и душа гонимого поэта:
«Когда утихнет завыванье это?
Когда читатель скажет: «Я с тобой
Готов идти за справедливость в бой,
Я не гнушаюсь строчками печали,
Что из глубин душевных прозвучали,
Я признаю тебя, мой друг поэт,
В твоих строках любовь, а злобы нет».

* * *

Всё ждет душа. Ужели не дождется?
Ее вода светлей воды колодца.
Читатель, смело подходи и пей.
Предубежденье, гибельней цепей.
Плохого мы не сделали друг другу,
Безвременья мы пережили вьюгу.
Зачем, нам счет взаимно предъявлять,
И помня зло, из-за угла стрелять?
Вчера, Сегодня, Завтра — этим трем
Поверим и вовеки не умрем.

1961 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО...

(Повесть)

Из пяти сыновей Сергей был самым любимым в семье. Соседи и знакомые называли его очаровательным юношей. Не было ни одной девушки, которая при встрече с ним не влюбилась бы в него — молниеносно и... безнадежно. Не одною лишь красотою привлекал он людей. Во всем его внешнем и внутреннем облике было что-то неотразимо-обаятельное. Его большие темно-синие глаза были, на редкость, спокойны, как гладь озера, окруженного лесистыми горами: ни одной волны, ни малейшей ряби, зеркальная чистота. У берегов отражаются сосны, а в середине всё залито золотым блеском солнца.

Всегда излучаясь еле уловимой улыбкой, глаза Сергея обладали магнитной силой: всякий взглянув на них, невольно останавливался, как зачарованный. Темно-русые волосы гармонировали с высоким лбом, Нос, губы, щеки — всё было в нем пропорционально, как в идеальной картине гениального мастера кисти.

Родители любили его за послушание и незлобивость, братья — за уступчивость и сговорчивость, учителя — за исполнительность и старательность, де-

вушки — за привлекательность, доброту, остроумие и чуткость.

— По какой дороге его направить, какую карьеру ему посоветовать? — думали родители-коммерсанты.

Школьные учителя говорили, что, как прирожденный оратор, он должен стать адвокатом. Девушки уговаривали его пойти на сцену. Много было пожеланий и предложений насчет его будущего, но сам он лелеял мечту — посвятить всю свою жизнь миссионерской работе в африканских дебрях, среди чернокожих племен, не знающих истинного Бога. Это желание особенно окрепло в нем после прочтения книги о знаменитом англичанине Давиде Ливингстоне, променявшем блеск и утонченность культурной Англии на убожество джунглей, в окружении дикарей, изнуряемых страшными накожными болезнями.

Когда родственники, друзья и знакомые узнали об этом решении Сергея, их огорчению не было предела. Каждый старался разубедить юношу-красавца, рисуя самыми мрачными красками его будущие невзгоды, лишения, неудачи и разочарования. Но ничто не могло изменить его планов, никто не мог повлиять на него: и тогда друзья и родственники убедились в том, что среди многих положительных качеств которыми он обладал, у него была еще и сильная, непреклонная воля.

Семья Сергея жила в Китае. Чтобы осуществить как можно скорее задуманное, он решил поехать в Америку и окончить там духовную семинарию. Незадолго до отъезда он пошел навестить знакомых и поделиться своими мечтами. В доме, куда он пришел, были гости. Среди собравшихся он обратил внимание на юную брюнетку с круглым румяным лицом. Встреча эта оказалась судьбоносной для Сергея. Прошедший равнодушно мимо многих невест, он почувствовал симпатию к этой русской красавице с карими глазами. Девушку звали Аней. Она была молчаливой, скромной, не надоедливой и это больше всего понравилось Сергею. Девушки, с которыми он сталкивался до этого, иногда сами объяснялись ему в любви и не прочь были выйти за него замуж. Эта же застенчиво сторонилась и смущенно опускала глаза, боясь проронить слово.

Гости знали о решении Сергея — стать миссионером в Африке и, как все, сожалели об этом.

— Аня, а что думаете вы о моей будущей деятельности? — спросил он.

— Она благородна, самоотверженна и прекрасна. На такое решение способен только незаурядный человек. Среди современных молодых людей вы, как великан среди карликов.

— Вы — первая не пугаете и не осуждаете меня.

Сергею было приятно, что в человеческом окружении нашлась душа, понимающая его. Это понимание и одобрение было для него согревающим, ласковым солнцем и его сердце, как только что распустившийся цветок, потянулось к редкостному теплу и свету.

Сергей пошел провожать девушку. Дорогой он делился подробностями своих планов, картинно рисовал свою будущую нелегкую работу и с увлечением рассказывал биографии великих людей, которые ради ближних жертвуют собственным благополучием. В глазах слушательницы сверкали огоньки восторга и преклонения. Заметив это, Сергей, волнуясь и запинаясь, спросил:

— Вот вы... например... согласились бы с таким человеком... разделить все тяготы его подвига?..

— Это очень интересно, — ответила она.

— Интересно? — удивился он, — а, по-моему, скорее, страшно и... рискованно.

— Где нет риска и ничего непредвиденного, жизнь кажется стоячим болотом.

— У вас необычные взгляды на жизнь... вы, пожалуй, единственная в этом отношении... Как жалко, что мы были незнакомы до сих пор... В ближайшее

время я должен выехать в Америку для поступления в духовную семинарию... Школьный курс рассчитан на три года... Неужели в течение трех лет мы будем в разлуке?.. А ведь можно было бы уехать вместе... Но это возможно лишь при одном условии...

Ему нехватало воздуха и приходилось невольно делать паузы. Она догадывалась, о чем он хочет сказать, но всё же спросила:

— Что это за условие?

— Если вы станете моей женой...

Девушка ничего не сказала, но крепко сжала его руку. В этом пожатии было ее молчаливое согласие.

В весеннюю, лунную полночь они расстались, как жених и невеста.

* * *

Мать Ани с радостью дала согласие на брак дочери с Сергеем. Бракосочетание состоялось через неделю. И сразу же начались усиленные хлопоты о второй визе — для жены. Молодые были счастливы, подруги Ани изнывали от зависти, родители и братья Сергея были удивлены скоропалительностью романтического события. Эта поспешность не сулила, как они думали, ничего хорошего в будущем.

— Ведь ты ее совсем не знаешь.

— Для того, чтобы узнать человека, не требуется слишком много времени. Она обладает главным качеством: согласием — последовать за мной всюду, даже в самые дикие, неисследованные части тропических стран.

— Так она сказала тебе до свадьбы... Ее речи могут измениться, как только ты станешь собираться в миссионерскую поездку.

— О, нет, вы не знаете Аню.

— Так же, как и ты: одной недели слишком мало, чтобы проникнуть в душу девушки... Во всяком случае, мы желаем тебе большого счастья.

Вскоре Сергей и Аня выехали в Соединенные

Штаты. По-английски они говорили почти так же, как по-русски. На пароходе все полюбили их за ничем неомраченную молодость, непринужденность, хорошие голоса. По вечерам в концертном зале собиралось много народу. Скучающие артисты и музыканты, которых всегда немало среди пассажиров, направляющихся в Америку, охотно пели, играли, декламировали. Сергей и Аня исполняли дуэты по-русски и по-английски. Почти все их номера были духовного содержания. Это умиляло публику. Слышались одобрительные восклицания:

— Когда старики поют о Боге, это не удивительно, но когда юные души зовут ко Христу, это более, чем приятно.

— Посмотрите на эту счастливую пару: и он и она — воплощение благородства.

— А как гармонически сочетаются их голоса!

— Вероятно в таком же сочетании их чистые сердца.

Когда радостна жизнь, когда все нас любят и когда мы сами любим всех без различия возраста и национальности, тогда каждый час дневного бодрствования наполнен драгоценным содержанием. Энергия бурлит, как неиссякаемый фонтан, всё хорошее выполняется без отсрочек и забывчивости, для каждого опечаленного соседа, друга и знакомого находятся слова ободрения, утешения, участия. Желание творить добро так захватывает человека, что день кажется очень коротким, а поэтому ночные часы отдыха укорачиваются, чтобы можно было сделать как можно больше.

Такая полоса жизни была теперь у Сергея и Ани. От избытка счастья обоим казалось, что так будет всегда — и на пароходе, пока они едут, и в Америке, где за короткое время нужно сделать очень много и особенно в далекой Африке, среди незнающих Бога чернокожих дикарей, которым они намерены посвятить всю свою жизнь.

За время путешествия Сергей и Аня подружились со многими пассажирами и записали в блокнот их адреса. Когда они рассказывали о планах своей дальнейшей жизни, их собеседники часто роняли слезы. В этих слезах чужих людей было умиление перед самоотверженностью юной пары. Никто не отговаривал их, многие говорили им:

— Да благословит вас Бог.

* * *

Духовная семинария, куда поступил Сергей, была в штате Джорджия, в городе Атланта. Там же Аня нашла работу в одном из банков. Как студент семинарии, Сергей мог жить в общежитии. Начальство могло бы разрешить и Ане — поселиться вместе с мужем в отдельной комнате, но она сказала, что ее будет стеснять студенческая среда и школьная атмосфера.

— Если ты не хочешь жить в общежитии, снимем комнату в городе, — согласился Сергей. Это была первая уступка жене во вред самому себе: живя в городе, надо было раньше вставать по утрам и тратить деньги на переезд в автобусе дважды в день. Вне общежития он не мог принимать участия во многих мероприятиях семинарии. Но что делать? Раз так хочет Аня, он должен согласиться с нею: в уступках желаниям жены всегда есть элемент благородства и рыцарства.

Сначала они сняли комнатку с маленькой кухней, но вскоре Аня призналась, что теснота действует на нее удручающе: в Китае, у ее матери, был собственный просторный дом, в котором она привыкла жить на широкую ногу.

— Я не думаю, что в Африке нас ожидают комфорт и «широта»... Будем уже теперь готовиться ко многим лишениям будущего, — пытался урезонить Аню Сергей.

— Не согласна с тобою: надо хоть краткое время

пожить по-человечески, чтоб запастись силами на дальнейшую, безрадостную жизнь.

— Почему ты думаешь, что она будет безрадостной?

— Какие же возможны радости в дебрях, среди дикарей, болезней и уродства?

— А радость служения? Ты не считаешь это радостью?

— Да, иногда это доставляет удовлетворение, — нехотя согласилась Аня.

— По-твоему только иногда? А по-моему, служение всегда возвышает душу человека. Сам Христос сказал, что Он пришел на землю — послужить другим, а не для того, чтобы служили Ему... Но я понимаю тебя: кому же не хочется жить в просторной, комфортабельной квартире?.. Чтобы снять такую квартиру, я буду в свободное от уроков время подрабатывать малярным ремеслом, которое изучил с детства. Кстати, здесь очень много такой работы...

Душевная тревога стала теперь довольно частой гостьей Сергея: жизненная установка Ани на удобства, комфорт и простор — могла в дальнейшем столкнуться с печальной действительностью. Выдержит ли ее душа такое столкновение? Не надломится ли от чрезмерных тягот? Любя жену, Сергей шел навстречу всем ее желаниям.

Первый опыт его малярной работы в Атланте прошел блестяще: хозяева, которым он покрасил семь комнат по удешевленной расценке, остались им очень довольны и порекомендовали своим знакомым, те сказали своим друзьям. Как дешевый, первоклассный специалист, Сергей был теперь нарасхват. Чтобы не страдало семинарское ученье, приходилось укорачивать ночь. Сергей сильно похудел, на что обратили внимание преподаватели и товарищи по семинарии. Все знали о его побочных заработках помимо стипендии. Однажды директор пожелал выяснить, какой необходимостью вызывается малярная работа? Сергей

чистосердечно признался, что, любя жену, не может подвергать ее бытовым лишениям.

— Понимаю вас, — сказал директор, — но не забывайте, что война на два фронта всегда чревата печальными последствиями. Пока вы успешно отражаете атаки научных дисциплин и малярного ремесла, но рано или поздно ваше здоровье может не выдержать. Ваш вид уже теперь многим внушает серьезную тревогу.

— Закончив покраску трех домов, на которые уже дано согласие хозяевам, я больше не буду брать подрядов, — пообещал директору Сергей.

Когда он передал Ане этот разговор, она возмутилась:

— Какое он имеет право вмешиваться в частную жизнь?

— Он делает это из желания мне добра. Я приехал в Америку учиться. Мне дали стипендию. При наличии ее и твоего жалованья мы могли бы скромно сводить концы с концами... Отдавая много часов побочной работе, я не имею возможности читать интересные книги. Школьную программу я, правда, выполняю, но этого недостаточно. Программа, это — маленькое озерко, а то, что имеется вне программы — необозримый океан увлекательной литературы... Хотелось бы с головой погрузиться в его воды...

— Чтобы утопить свой мозг? — с иронической улыбкой спросила Аня.

— Чтобы постоянно освежать и обогащать его.

После минутного молчания он добавил:

— Я пообещал директору после выполнения трех подрядов прекратить малярные работы.

В этот день Сергей думал:

— Если б этот разговор подслушали родители и братья, они бы непременно сказали: «Вот плоды твоего скоропалительного изучения своей невесты»... Но это не страшно. Я понимаю ее: она жаждет уюта, красоты, изящества, простора. Какая женщина откажется от этого? Разве Аня требует от меня чего-нибудь невыполнимого? Разве не сам я предложил себя, как маляр, для приработка? Разве она гнала меня на эти покраски? Она достаточно тактична, чутка и внимательна, чтобы какой-нибудь малостью огорчить меня... Она — мой верный друг! «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега», — вспомнил он красивые стихотворные строки.

Мысли, стремления, воображение, планы, мечты — всё, что рождалось в душе Сергея, было целомудренно-чистым, как вода горного родника. А когда человек чист и свят, все окружающие его люди кажутся такими же идеальными, как он сам. Грех не может породить святости и святость — греха. Совершенство Сергея было не от мира сего. Это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом слове, в каждой улыбке. Товарищей-студентов тянуло к нему так же, как тянет детей на солнечную лужайку в первый теплый весенний день. Каждый желал ему счастья, здоровья, удачи и поэтому так всех встревожила его чрезмерная худоба, когда он стал усердствовать в малярном ремесле.

* * *

Однажды, вернувшись после уроков домой, он увидел букет красных роз на белоснежной скатерти стола. Аня была в кухне, откуда по всей квартире разносились ароматы сдобного теста.

— Чтобы это значило? — удивился Сергей, — день как-будто самый обычный... Но, во всяком случае, розы и пирог не предвещают ничего худого.

Аня вошла в столовую сияющая, счастливая, обаятельная. Она была в розовом шелковом платье и в изящном белом переднике с тонкими кружевами.

— Самая крупная роза выбралась из этой вазы, превратилась в женщину и занялась приготовлением вкусного пирога... говори же, что случилось, — сказал Сергей, целуя жену.

— Отдагай.

Она так произнесла это слово и с такой нежностью и смущением посмотрела на него, что он сразу понял всё и его сердце готово было вырваться из груди от восторга.

— Почему не хочешь назвать отгадку?..

— Через несколько месяцев нас будет... трое.

— А ты всё же догадливый.

Это был один из самых счастливых дней их жизни. Когда на стол был подан сладкий, открытый, с замысловатыми украшениями, пирог, оба встали для молитвы. Молитва Сергея была не короткой, как обычно перед трапезой, а продолжительной и вдохновенной, полной умиления, счастья, благодарности, преклонения перед премудростью Творца.

Как дети, спрашивающие родителей, что принесет им дед-мороз в это Рождество, они спрашивали:

— Кого подарит нам Бог — сына или дочь?

— Кого бы ты хотел?

— Мне всё равно: любой дар от Бога — одинаково ценен... А что думаешь ты?

— Я больше люблю девочек.

— Давай молиться об этом и Бог исполнит твое желание.

* * *

После смерти родителей братья Сергея перебрались в Соединенные Штаты и поселились в Калифорнии. Старший брат Иван вскоре открыл гастрономический магазин в Сан Франциско, младшие устроились служащими в разные конторы.

Желание Сергея и Ани исполнилось: у них родилась девочка, которую назвали Танюшей.

Трехгодичный курс семинарии был закончен. На выпускном торжестве, которое по-английски называется «градуэйшен», преподаватели наговорили Сергею много комплиментов и предсказали ему славное

будущее, как ревностному миссионеру и человеку с золотой христианской душою.

Братья из Сан Франциско прислали поздравления Сергею и пригласили его погостить.

В один из вечеров Аня и Сергей долго советывались друг с другом насчет будущего: когда они осуществят то, ради чего приехали в Соединенные Штаты?

— Ты теперь думаешь только об Африке, — сказала с легким упреком Аня, — африканские чернокожие для тебя дороже нашей крошки Танюши... В таком возрасте я не могу повезти ее в тропические джунгли. Но если тебе не терпится, поезжай один, а мы приедем к тебе позже.

— Один? Нет, это будет слишком тяжело для меня... Мы можем отложить поездку в Африку года на два, на три... Вся жизнь у нас впереди, Бог не взыщет с нас за это промедление... Он знает, что мы свое давнишнее намерение откладываем не из-за личного, мелочного каприза, а по весьма уважительной причине: малолетства нашей дочки... Вот поедем в Калифорнию, посоветуемся с братьями. Ум — хорошо, а пять умов — еще лучше. И, вообще, зачем нам оставаться в Джорджии? Почему временно не обосноваться там, где все наши родственники? Иван писал мне, что русская община в Сан Франциско нуждается в пресвитере. Почему бы этой общине не предложить свои услуги?

— Очень рада, что ты рассуждаешь, как взрослый, а не фантазер-мальчишка, — похвалила Аня Сергея. — Вопросы жизни или смерти нельзя решать с бухты-барахты.

— Таким вопросом ты считаешь Африку?.. Зачем эти страшные слова: «Жизни или смерти?»

— Затем, что многие миссионеры, посвятившие свою жизнь диким племенам, погибли мученической смертью... Их растерзали те, кому они отдали все свои силы, надежды и помышления.

— Давида Ливингстона не растерзали...

— Ливингстон — исключение.

— Будем поступать, как он, чтобы пожать тучные снопы на духовной ниве.

* * *

Через неделю после этого разговора Сергей, Аня и Танюша были в Сан Франциско. Остановились у старшего брата Ивана. Жена Ивана Антонина была решительно против миссионерства в Африке.

— Вы, Сережа, хотите обращать людей ко Христу в непроходимых дебрях? О, сколько этих духовных дебрей везде и всюду, в крупных и мелких городах, населенных как-будто культурными, цивилизованными людьми. Я намеренно говорю «как-будто», потому что на самом деле, в духовном смысле эти, внешне приятные, хорошо одетые, люди с белой кожей — дикари, безбожники, кощунники... Их души — чернее, чем кожа у негров, зулусов и полинезийцев. Миссионерство в Африке — это, по-моему, тушение слабого пожара в отдалении и пренебрежение пожаром, который бушует по соседству, уничтожая, калеча и уродуя тысячи душ... Затушите сначала местный пожар, обратите ко Христу ваших соотечественников, с которыми вы сталкиваетесь повседневно, а потом уж думайте об африканских неграх. В Сан Франциско — не менее 20 тысяч русских. А сколько из них истинных христиан, достойных Царствия Божия? Единицы! Превратите эти единицы — в десятки, сотни, тысячи, милый Сережа, а не стройте фантастических замков в Африке, где ведется большая работа англичанами и американцами. Духовное строительство, христианские подвиги любви надо начинать со своих семей. А разве русская колония Сан Франциско — чужая, а не наша кровная семья?

Выслушав вдохновенный монолог Антонины, Сергей смутился, не зная, что ответить.

— Тоня изрекла непререкаемую истину, запомни ее, Сергей, — сказала Аня, — Африка, это — твоя навязчивая идея, твой, только пожалуйста не сердись, пунктик помешательства... Неужели в христианстве нуждается только Африка? Неужели добро можно творить только чернокожим?

— До нашей женитьбы ты говорила другое, — грустно вздохнул Сергей.

— Потому что была наивной, глупой девченкой... Но ведь нельзя же оставаться такой всю жизнь... Во многих отношениях я была слепой, а теперь, слава Богу, прозрела...

— Ты так думаешь?.. Часто свою безнадежную слепоту люди называют прозрением...

Все братья были на стороне Антонины и Ани. Сергей почувствовал себя одиноким в этом сонме родственников. Неужели сложить оружие? Неужели капитулировать? Неужели навсегда похоронить мечту юности и обескрылить свою душу?

* * *

Переезд Сергея и Ани из Атланты в Сан Франциско совпал с прибытием в Америку множества русских людей-невозвращенцев. Так назывались те, которые, очутившись во время второй мировой войны по эту сторону фронта, не захотели возвращаться на родину. Прожив несколько лет в беженских лагерях Европы, они получили разрешение на переселение в Америку. Большинство из них не говорило по-английски. И вот многие из них узнали, что в Сан Франциско есть добрейшая душа — Сергей Иванович Ангаров, у которого нет отказа на любую просьбу соотечественника. А просьб было очень много: заполнить анкету при поступлении на службу, пойти в качестве переводчика в отдел иммиграции и натурализации, побывать во многих местах в поисках работы, похлопотать о выдаче пособия, помочь деньгами и со-

ветом. Иногда целые дни уходили на то, чтобы что-то сделать для других. Просители зачастую смущались, многозначительно намекая на то, что «труд Сергея Ивановича не пропадет даром, если он поможет устроиться», а он только улыбался, шутил, ободрял, уговаривал не отчаиваться, не падать духом, а надеяться на Бога, щедротам Которого нет конца и предела.

Сергея пригласили на должность пресвитера в русскую евангельскую общину. С тех пор, как он стал возглавлять церковь, собрания увеличились: многие из тех, кого он облагодетельствовал своими хлопотами, хотели послушать его проповедь, надеясь почерпнуть много полезных уроков для своей мятущейся души. Говорил он просто, убедительно. Каждое его слово, сказанное мягким, бархатистым голосом, проникало в сердце, как желанный благодатный дождь в иссохшую, истрескавшуюся почву. Главной темой его проповедей — была практика христианства, любовь не на словах, а на деле. Всё, что не закрепляется добрыми делами, братским вниманием, дружеским общением, материальной помощью, всемерной поддержкой — не что иное, как фальшь, обман, очковтирательство, фарисейство, лицемерие. Какой толк от красивых слов, дрожащего голоса, Евангельских истин, когда они не завершаются делами любви? Сергей часто повторял строки из 13-й главы 1-го послания к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто. И если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится». (1 Кор. 13:1-8).

«Только ею, только любовью держится и движется жизнь», — приводил он строки Тургенева.

Часто перед проповедью он исполнял с Аней какой-нибудь трогательный минорный гимн, вызывавший слезы у слушателей. О, как легко ему было говорить, когда на ресницах собравшихся сверкали бриллианты слезинок! Когда плачут очи, тогда расплавляется сердце: из каменного оно становится мягким, как вспаханная земля. Всё можно посеять в такое сердце! И какие добрые всходы дает оно и обладателю и сеятелю! Взошедши, злак растет под солнцем любви, орашаемый тихими дождями смирения и кротости. Урожай в таких случаях превышает в сто раз посеянное, труды на ниве Христовой сопровождаются невиданными благословениями. Вот оно — подлинное христианство без пышных фраз, без артистической декламации, христианство на практике, в каждом шаге жизни, а не за кафедрой только, не за аналоем, христианство — не в нарядных алтарях, не в золоченых ризах, не под гудящие аккорды органа, а в бедных хижинах, в убогих квартирах, на больничных койках, на тротуарах бедных кварталов, под аккомпанимент вздохов, стонов и рыданий.

Сергей и Аня, захватив с собою Танюшу, по вечерам любили посещать не только членов общины, но и случайных людей, оставивших свои адреса в церковной книге записей. Предпочтение отдавалось больным, одиноким, безродным, страждущим. Если было известно, что в семье, которую они решили навестить, есть дети, покупали им гостинцев, больным несли что-нибудь съедобное: молоко, яйца, курицу. Аня, когда-то работавшая в больнице сестрой милосердия, делала больным перевязки, перестилала им постель, обтирала спиртом тело, делала массаж.

Маленькая Танюша была похожа на херувима —

всегда улыбающаяся, круглолицая, румяная в маму. Своими посещениями Сергей и Аня успокаивали страждущие души, вселяя в них мир и надежду — взамен отчаяния и безнадежности. Почти всегда эти визиты вызывали слезы благодарности: добрые гости казались святыми, спустившимися с неба, как вестники Самого Христа.

Когда возвращались домой, Аня говорила о том, что нужда и горе царят не только в малоисследованной Африке, но в каждой точке земного шара. В свете и радости нуждаются не только чернокожие, но и наши славянские племена. Не у всех в Америке спокойная, обеспеченная, счастливая жизнь. О, сколько здесь несчастных, бедных, беспомощных, жаждущих дружеского внимания!

* * *

Церковь платила Сергею небольшое жалованье, которого было недостаточно на троих. Так как Танюша была еще совсем маленькая, Аня даже и не пыталась устроиться на работу. О приработке к скудному пресвитерскому окладу нужно было подумать Сергею. И он снова решил использовать свое малярное ремесло. Работа нашлась сразу. Ее оказалось так много, что нужно было устанавливать очередь на месяц и на два вперед. Но всякая побочная работа для пастора — тяжкий груз, давящий на его душу и обескрыливающий ее. Вместо того, чтобы кого-то посетить, с кем-то побеседовать, кому-то помочь, нужно было спешить на работу. Сергей так пропах краской, что даже в дни воскресных собраний и в среду, когда нужно было проводить молитвенное собрание, от него на всю церковь шел специфический запах, свойственный всем малярам-профессионалам. Это было не благоухание, не аромат духовности... Это был терпкий запах житейской необходимости, материальной неизбежности, моральной подавленности... Приработки пресвитера отнимали у него всё больше и больше

времени. Раньше он серьезно готовился к каждой проповеди. Теперь он чаще всего говорил экспромтом, вставляя в свою речь то, что случайно воскресало в памяти. Эти вставки не всегда были уместными и убедительными. Слушатели, прежде жадно ловившие каждое слово своего духовного наставника, теперь были охвачены недоумением, тревогой и досадой:

— Что стало с нашим Сергеем Ивановичем? Куда девалась его проповедническая одаренность? Он стал чрезмерно многословным, однообразным и невразумительно-скучным.

Он и сам чувствовал это. Как редки теперь были слезы на глазах собравшихся, а если они изредка и появлялись, то это были слезы не умиления и духовного восторга, а жалости и сочувствия пастору, который из-за скудного жалованья превратился из проповедника в маляра. Среди членов церкви стали появляться недовольные и протестующие:

— Разве 150 долларов — маленькое жалованье? При скромных требованиях и аппетитах его вполне достаточно на троих... Но они хотят жить не в скудости, а в роскоши... Разве это по Писанию?

— Оставь их в покое, — сказала как-то Аня Сергею, — они недовольны тобою и уже списались с пастором Ветловым. Ему уже выслан аффидейвит в Китай. Всё делается за твоей спиной.

— Я ничего не имею против брата Ветлова и чем скорее он приедет, тем лучше. Как только он появится в Сан Франциско, я охотно уступлю ему свою духовную работу.

* * *

Вот как однажды молился Сергей:

— Господи, подскажи моей совести, кто виноват в сложившихся обстоятельствах? Если я, помоги исправить, выпрямить мои пути. Мое сердце чувствует мертвящий зной бесплодной пустыни в нашей церкви... Кого Ты наказываешь этим зноем? Если виновен

я, отсеки меня, как засохшую ветвь, не приносящую больше плода. Ты знаешь состав души моей, Ты видел, как я стремился на далекое миссионерское поле, но окружающие меня люди разубедили меня и я поддался их доводам, не зная, от кого эти доводы — от Тебя или от лукавого? Столкнувшись с материальными трудностями, я ослабил свою духовную деятельность, чтобы обеспечить семью всем необходимым... Подскажи, что я должен сделать теперь, не оставляй меня своей милостью, а если я тяжко согрешил пред Тобою, накажи меня со всей строгостью, как Ты не раз наказывал провинившихся... Я готов принять любое Твое решение...

Под влиянием тяжких раздумий Сергей резко изменился и внешне. Блондин с вьющимися волосами он теперь катастрофически терял свои кудри и на глазах у всех превращался в преждевременно лысого. Пустыню духа сопровождала и пустыня на голове.

Приехал пастор Ветлов из Китая. Он, его жена и трое сыновей хорошо пели. У самого Ветлова был сильный драматический тенор, у жены — низкое контральто. На первом собрании квинтет Ветловых очаровал всех членов церкви. Проповедь была сказана с большим подъемом культурным языком.

— Вот то, чего нам давно недоставало, — говорили многие.

После собрания Ветлову было предложено возглавление церковью. Он с радостью принял предложение. Тем самым Сергей Ангаров отстранялся от пастырской деятельности. Он расценивал это, как поражение на фронте духовной войны. Он сравнивал себя с тяжело-раненым, истекающим кровью, воином, которого унесли с передовых позиций недружелюбные санитары. Затянутся ли его кровоточащие раны, обретет ли он вновь здоровье, смелость и отвагу, чтобы участвовать в сражениях света со тьмою, или он отныне — только искалеченный ветеран с костылями вместо ног, с протезами вместо рук, с иссохшим

источником вместо сердца, когда-то изливавшегося кристальной водою небесных благословений?

Для Сергея это был такой день, когда человека ничто не способно утешить. Вернувшись домой, он пытался шутить, чтобы предотвратить слезы, но шутки звучали, как анекдоты на похоронах. Аня, давно готовая к этому, страдала от уязвленного самолюбия: избирая Ветлова в пресвитеры, никто не догадался внести предложение — поблагодарить Сергея за проделанную в церкви работу. Его отшвырнули, как лежащую на дороге щепку.

Видя печальные лица отца и матери, притихла и Танюша.

— Папа, тебе больно? — спросила она, имея в виду не душевную, а физическую боль. Девочка судила о настроениях отца по своему личному опыту: когда она чем-либо страдала, ее лицо было печально, как сейчас у папы.

— Больно, Танюша, — чистосердечно признался отец.

— Так надо позвать доктора.

— Никакой земной доктор мне не поможет.

— А мне всегда помогал.

— Потому что ты никогда не болела так, как болею я.

Трехлетняя девочка притихла, задумалась, не зная, чем помочь любимому отцу.

— Папа, ты сказал: «Не поможет земной доктор»... А еще какой есть доктор?

— Небесный.

— Так позови Его.

— Я сделаю это немного попозже.

— Тогда я буду спать и не познакомлюсь с Ним.

— Ты уже давно с Ним знакома: это — Бог, это — Христос, это — Святой Дух.

— Ах. Этого я давно знаю: Он очень хорошо помогает... Я тоже буду Его просить, чтоб он помог тебе.

Девочка забралась на колени к отцу и сжала его детскими рученками в объятиях.

— Спасибо, Танюша.

Сергей и Аня не могли удержаться от слез, видя такую преданность дочки.

— А зачем плачете? Вы же не маленькие... гораздо больше меня... Когда я плачу, вы сами говорите, что я большая... А я совсем не большая — от горшка два вершка... И то мне стыдно плакать... А вам не стыдно?

— Стыдно, дочка, но не за слезы, а за свою жизнь...

Ему хотелось добавить: «За перемену узкого пути на широкий», но он знал, что будет засыпан множеством вопросов и потому вслух не сделал добавления к ответу.

* * *

Отстранение Сергея от пастырства было хорошо в одном отношении: теперь его совесть была спокойна, когда он брал подряды на малярные работы. Однажды, когда он покупал в магазине краску, продавец ему сказал:

— Вы — постоянный наш клиент и, как я вижу, дельный парень. Да и не удивительно: я слышал, что вы свою малярную работу соединяете с пасторством в одной из здешних церквей.

— Увы, уже три недели, как я не пастор.

— Тем лучше, значит, у вас теперь больше свободного времени.

— Почему вы завели этот разговор? — удивился Сергей.

— Дело в том, что мой компаньон выбыл из нашего общего дела из-за преклонного возраста. Я остался один, но не скрою от вас, что одному мне это не по силам. И вот я предлагаю вам: давайте работать сообща. Магазин наш на бойком месте — на главной магистрали города. От убытков мы застрахованы. У

меня достаточно опыта, у вас — честности и деловитости. Вы еще совсем молодой, а я уже в годах. Когда возраст не позволит мне продолжать многолетнего дела, вы станете полноправным владельцем магазина.

Хозяина звали — мистер Флетчер. Он всегда симпатизировал Сергею, а теперь был особенно любезен и вкрадчив. Бывший пресвитер почувствовал, как приятная теплота разливалась по всему его телу, как сердце забилось в необычном ритме. Лицо его горело от удивления, смущения и довольства. На какое-то мгновение он задумался, чтобы укорить себя: «Чему радуешься? Неужели тому, что по примеру старшего брата становишься купцом?»... Но он тут же успокоил себя: «Материальные сокровища не будут обладать мною... Может быть это богатство мне посылает Сам Бог?.. Скопив достаточно денег, я смогу осуществить заветную мечту юности — поездку в Африку на миссионерскую работу»...

— Вы медлите с ответом, мистер Ангаров... Разве мое предложение вам не по нутру? У меня тысячи клиентов, но ни один из них не полюбился мне так, как полюбились вы... О деталях соглашения мы можем договориться завтра или после завтра. Сейчас для меня важно ваше принципиальное решение: да или нет?

— Да, мистер Флетчер, сердечное спасибо!

Он протянул свою руку хозяину, хозяин — ему. Рукопожатие было взаимно крепким, горячим, радостным.

* * *

Прошло несколько лет. Бывший пресвитер Сергей Иванович Ангаров преуспевал, как бизнесмен, почти совсем забыв о крылатых мечтах юности. Изредка он посещал собрания различных церквей и когда проповедник говорил о безумии века сего — о пленении сердца материальными благами, о пренебрежении вечными ценностями, о служении не Богу, а мамоне,

о безрассудном накоплении богатств в ущерб своей душе, краска стыда заливала не только лицо Сергея, но и его шею, всю в мелких складках и лысую голову. К несчастью для него, эти вспышки осуждающей совести были весьма кратковременными и, вернувшись домой, он уже, как ни в чем не бывало, планировал новое обогащение: пристройки к магазину, открытие отделений своей фирмы на других улицах, покупку земельных участков в районе Фресно, где можно будет разводить — виноград, хлопок и люцерну.

Танюша выросла: ей перевалило уже за пятнадцать. Она стала изящной барышней, талантливой пианисткой и хорошей певицей.

Любя дочь, Ангаров иногда жалел, что она только дочь, которая рано или поздно выйдет замуж. Если б у него был сын, каким подспорьем это было бы ему во всех его начинаниях и мероприятиях! А теперь, без помощника, ему везде и всюду нужно поспевать, разрываться на части — одному! Он ворует время у ночи, отдавая сну не больше четырех часов. Иногда он засыпает за рулем автомобиля, а это может повлечь за собою — катастрофу. Когда-то ежедневно читавший 5 глав Библии и, кроме того, 5 псалмов, теперь он еле успевал утром прочесть один стих из Писания.

Чрезмерная занятость Сергея стала беспокоить Аню и Танюшу.

— Всех дел не переделать, подумай о своем здоровье... У нас — не семеро по лавкам.

Когда-то в зажигательных проповедях против материального накопления он называл сребролюбие — идолопоклонством, приводя соответствующие стихи из Библии.

— Чем больше пьешь соленую воду, тем больше хочется пить...

Он забыл эти слова против чрезмерного обогащения. Теперь, с раннего утра до позднего вечера он пил только соленую воду. По субботам, закрыв магазин, он ехал на ферму и работал там до темноты. В воскресенье, проснувшись на рассвете, он принимался за тяжелую физическую работу на своей собственной земле, приобретенной по-дешевке. Русские соседи-фермеры удивлялись его выносливости, настойчивости, упорству, терпению. Кое-кто говорил ему:

— И всегда-то ты, Иваныч, один, как перст... Разве нет у тебя хозяюшки или детей?..

— Есть, но у них к этому не лежит сердце.

— Так чего ж ты изнуряешь себя? Для кого? Зачем?

— Хочу скопить средства для великого дела.

— Великого? Что же это такое?

— Работа среди дикарей в жарких странах.

— А говорить-то ты умеешь по-дикарски?

— Можно научиться.

— Торговлю что-ли хочешь среди них открыть?.. Но ведь они голы, как соколы... Чем платить-то тебе будут — птичьими перышками, иль морскими ракушками?.. Зачем тебе это?

— О Боге им буду говорить, на истинный путь направлять...

— Трудное это дело, Иваныч... Еще ухайдакать могут... Несмышленому годовалому младенцу будешь ты говорить о Боге, о жертве Христовой, о распятии? Поймет он тебя? А все эти черные в Африке — чем не младенцы?

Сначала надо их разум просветить, а тогда уж о божественном думать...

— Я другого мнения о своей будущей работе: всё можно сделать, когда Богу угодны мои планы и намерения.

— Коли так, работай без разгиба... А когда скопишь средства, спина то уж и не выпрямится... И не о дикарских землях надо будет думать, а о том, как бы до кровати доползти...

В словах соседей была неумолимая правда. Говоря об Африке, Сергей просто успокаивал себя... Ни-

куда, конечно, он не поедет да и жалко было бы бросать на ветер средства, скопленные таким тяжелым трудом. Вот чем он займется под старость: откроет типографию и будет печатать на всех языках духовную литературу для бесплатной раздачи и рассылки. Этим он наверстает урон многих лет, отданных мамоне и обелит себя перед Богом.

* * *

Отец Ани, железнодорожный служащий, попал под поезд, когда ей было четыре года, а старшей сестре Наташе около шести лет. Трудно было матери без отца с двумя девочками, но она не падала духом, много работала и смогла дать дочерям среднее образование. Старшая дочь вышла замуж, когда Ане было 16 лет. Позже, после второй мировой войны, семья зятя вместе с матерью переехала в Австралию и поселилась на ферме, неподалеку от Бризбена. Теперь престарелая мать писала дочери слезные письма: «Приезжай повидаться в последний раз, привези внучку Танюшу: ведь я ее еще не видела ни разу». И Аня решила: поеду на всё лето с дочкой. Но вот вопрос: лететь или плыть? Самолет сокращает время в 15 раз, но на два билета в оба конца нужно потратить порядочную сумму. Лучше эти деньги дать маме, чтобы в последние годы жизни она не испытывала никаких материальных лишений. Торопиться нам некуда, а на пароходе в летнее время, когда не беспокоят штормы, можно очень хорошо отдохнуть.

Билеты были взяты 1-го класса.

Танюша сказала, что будет вести дневник дорожных впечатлений, наблюдений и переживаний, который прочтет по возвращении папе.

Пароход отходил от Сан Франциско в субботу в 3 часа дня. В магазине красок Сергея заменил на время проводов компаньон, уже состарившийся мистер Флетчер.

— Не скучай, — сказала Аня на прощанье.

— Скучать будет некогда: к вашему возвращению надо заштопать сотни дыр на ферме и сделать очень многое по дому и магазину.

— Не надрывай своих сил. Мы рассердимся на тебя, если по возвращении увидим, что ты не поправился, а еще больше похудел.

— Желаю вам спокойного путешествия — без штормов и морской болезни.

— У меня сейчас защемило сердце... Может быть это предупреждение свыше, чтобы мы отменили поездку? — сказала Аня.

— Какая ты наивная: перед длительной разлукой «сердце щемит» у каждого человека... Ты думаешь, в мое сердце сейчас не вонзились колючки?.. Их очень много, но я не придаю этому никакого значения.

— Мама, ты не находишь, что папины глаза какие-то неземные... не такие, как всегда? — спросила Танюша. — Мамочка, давай отменим поездку...

— Поздно, — улыбнулся Сергей, — все ваши вещи погружены на пароход, даны уже два гудка, через три минуты пароход отчалит от пристани...

— Это ничего не значит, отмену можно сделать даже за минуту до отправления.

— Вы обе — паникерки! Откуда у вас эти ужасы и страхи за меня? Слышите?.. Третий гудок!.. Ну, до свидания!..

Сначала Сергей расцеловался с Аней, потом с Танюшей. Дочь затряслась в рыданиях:

— Папа... папочка... любимый мой!.. Зачем мы едем в Австралию и оставляем тебя одного?..

Сняли трап. Внутри парохода что-то заклокотало, он весь вздрогнул и начал плавно отделяться от пристани. Аня и Танюша стояли на палубе верхнего яруса и махали белыми платочками, как и все остальные пассажиры. Сергей отвечал на белое порхание платков медленными взмахами своего голубого, пахнущего краской и потом платка. Вот уже трудно отличить

своих, близких, дорогих — от сотен других лиц... Пароход уменьшается в размерах, приближаясь к красному висячему мосту через залив... Людей на нем уже не видно, хотя они вероятно еще продолжают махать платочками...

Провожающие уже разошлись, а Сергей всё стоит, забыв о всех своих делах и машинально машет голубым платком, похожим на раненого голубя, пытающегося взлететь и скрыться в беспредельной выси калифорнийского неба.

— Посторонитесь, мистер! — слышит он голос уборщика, смывающего сильной струей из шланга бумажки и окурки с пристани.

* * *

Танюша долго не могла успокоиться. Аня попросила у пароходного врача валерьяновых капель или брома.

— Зачем мне это, если я больше никогда не увижусь с папой?

— С чего ты это взяла?

— Его глаза всё мне сказали в последнее мгновение перед разлукой: в них уже свила гнездо смерть...

— Ты больна, твои нервы никуда не годятся... В Австралии я не позволю тебе взять в руки ни одной книги! Выпей сейчас же валерьянки!

— Хорошо, я выпью и в дальнейшем не буду тебя огорчать никакими страхами насчет папы... Может быть всё это — результат не моей болезни, а удивительной глупости?..

— Надеюсь, что минут через пять ты поумнеешь.

Вечером, когда в концертном зале собралось много пассажиров, Танюша приняла участие в экспромтной програме, как пианистка. Ей долго аплодировали. Раскланиваясь, она улыбалась.

— Слава Богу, — подумала Аня. Дальнейший путь был без осложнений и неприятностей. Океан радовал почти гладкой поверхностью неоглядного простора, питание на пароходе было разнообразное и вкусное, скоро завелось много знакомых, которые рассказывали занимательные истории из своей жизни. Несколько раз в течение дня, забежав в каюту, Танюша заполняла по-английски страничку за страничкой своего дневника.

Однажды она сказала:

— Что-то поделывает теперь наш папочка? Как ты думаешь, мама, обратит он внимание на свое здоровье?

— Думаю, что нет.

— Почему?

— Он думает, что и без забот о своем здоровье проживет сто лет. Ты слышала когда-нибудь его жалобы на какое-нибудь недомогание?

— Никогда.

— И не услышишь. Твой папа, вообще, не привык на что-либо жаловаться.

— Я думаю, что таких, как он, нет больше во всем мире... Он какой-то необыкновенный: воплощение нежности, отзывчивости и доброты... И вот теперь он с утра до вечера — один... Приходит ночью домой — ни чаю, ни ужина... Пустые комнаты... Нам-то хорошо: вон сколько здесь народу! Каждый вечер веселые концерты. Почему он не поехал вместе с нами? Разве нельзя было оставить на время магазин и ферму?

— Он не привык отдыхать и развлекаться.

— Вот ведь какой неисправимый труженик и аскет.

Этот разговор дочери с матерью происходил как раз в тот час, когда Сергей возвращался с фермы. По калифорнийскому времени было 5 часов утра, а на пароходе уже сервировали двенадцатичасовый обед.

Накануне Сергей весь день работал на виноградной плантации: окучивал гряды, опрыскивал растения предохранительной жидкостью, пускал воду в между-

рядья. Спать лег поздно. Перед сном нужно было привести в порядок все записи по приходу и расходу магазина. Ложась в постель, поставил стрелку будильника на 4 часа утра.

Спал, как убитый. В тот момент, когда зазвенел будильник, Сергею снилось, что он в каком-то подземном лабиринте ищет выхода. Сигнал, раздающийся сверху, предупреждает, чтобы он немедленно выбирался наружу, так как крыша через несколько мгновений должна обрушиться. Он мечется в разные ответвления лабиринта, но никак не может найти желанного выхода... Проснулся он в холодном поту в тот момент, когда у будильника раскрутилась вся пружина. Когда он испуганно открыл глаза, на часах было 10 минут пятого.

— Опаздываю!..

Не умывшись, он сел в свой красный полугрузовик и направился по глухой дороге в сторону Сан Франциско. Справа тянулись холмы, поросшие кустарником, слева было много глубоких впадин. Но вот и справа показался овраг. Сергея клонило в сон. Чтобы отогнать его, он увеличил скорость и открыл оба окна шоферской кабины: пусть свежий утренний сквозняк освежит его голову!

В этом месте всегда было много диких коз. Какой-то взбалмошной вздумалось перебежать дорогу как раз в этот момент. Грузовик ударил животное и потерял управление. Коза и машина полетели в овраг. При падении шофер вылетел из кабины и ударился шеей об острый большой камень. Что было дальше, он не помнил. Фары у машины были зажжены. Они не погасли и в овраге. Через несколько минут по этой дороге ехал полицейский. Подозрительный свет из оврага заставил его остановиться. До него донеслись глухие стоны. Спустившись в овраг, он увидел изуродованного окровавленного человека. Что делать? Он поднял незнакомца и, водворив его в свою машину, помчался к ближайшему городку, чтоб

оказать несчастному немедленную медицинскую помощь. Рентген показал перелом позвоночника и разрыв спинного нерва. Конечности были парализованы. Надежды на жизнь было мало.

В кармане Сергея была обнаружена записная книжка с телефонами. О несчастье дали знать по телефону старшему брату в Сан Франциско. Через полтора часа он был в госпитале. Придя в себя, Сергей с трудом рассказал о катастрофе и попросил дать телеграмму Ане.

— Но она еще не доехала до Австралии.

— Тогда ее маме. Особенно пугать не нужно... напиши, что есть надежда на благоприятный исход.

Говоря это, Сергей знал, что все кончено, что впереди только смерть или полное инвалидство. Лучше умереть, чем обременять жену и дочь своей беспомощностью... Какой пророчицей оказалась Танюша, каким зловещим было последнее сновидение о лабиринте. Он не смог найти выхода из подземелья... Скоро он уйдите туда навеки... Уйдет своим искалеченным телом... Где будет его душа? Он верил, что Господь не бросит ее в место мучений... Но, конечно, слава ему будет не та, какая могла бы быть... Он изменил своим светлым мечтам юности, изменил пастырскому служению, погнался за материальным накоплением... И вот милосердный Господь берет его из жизни, чтобы он не нагрешил еще больше...

— Ваня, думал ли ты о таком моем конце?.. Жалко не себя, а моих путешественниц... Что они подумают, получив телеграмму об автомобильной катастрофе?.. Поехали отдыхать... на три месяца... а теперь?..

Иван еле сдерживал слезы.

— Тебе не нужно так много разговаривать, Сережа.

— Почему? Надо пользоваться каждой секундой, пока работает мозг... Скоро он угаснет, догорит, как тонкая свечка... Мне слишком долго придется мол-

чать до встречи со всеми вами в ином мире... Теперь я понимаю, как был ошибочен избранный мною путь коммерции... Но, к сожалению, это сознание пришло слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить... Материально Аня и Танюша бедствовать не будут... Но разве счастье в этом?.. Я согласился бы теперь остаться на всю жизнь нищим, но с ногами и руками... А их у меня отнял Господь... Теперь я вижу, что был тем безумцем, о котором говорится в Евангелии. Он думал строить новые житницы для богатого урожая, не зная, что этой ночью его душу возьмут ангелы... Я тоже думал о многом... Не досыпал... Некогда было поесть и попить, почитать Священное Писание... А ведь окончил миссионерскую школу... был отличником... подавал надежды... Из всех обездоленных — я самый жалкий... А счастье было так возможно... Меня погубила коза... А может быть это был дьявол в образе козы?.. Не плачь, Ваня... Слезами горю не поможешь... А может быть, действительно, лучше поплакать? Давай вместе... Ты плачь, жалея меня... Я буду плакать слезами позднего раскаяния...

Спазмы перехватили горло Сергея. Слезы побежали по щекам безостановочными струйками.

Подошел врач в белом халате. Отозвав Ивана, сказал:

— Нельзя доводить больного до такого состояния.

— Я ничего ему не говорил... Я только стоял и слушал... Он хочет наговориться, пока сознание в полной ясности... Есть ли надежда, доктор?

Врач пожал плечами, ответил уклончиво:

— Только чудо может вернуть его к жизни.

* * *

Мать знала, что дочь и внучка в пути. Она получила от них уже две телеграммы с дороги и знала о дне их прибытия в Сидней. Когда принесли третью телеграмму, она подумала, что вероятно пароход почему-либо запаздывает и об этом предупреждает дочь.

Но телеграмма была из Сан Франциско. Подписана не Сергеем, а Иваном. Сердце дрогнуло. Позвала старшего внука:

— Прочти, Федя.

Пробежав телеграмму про себя, внук побледнел.

— Что ж ты молчишь?.. Случилось что-нибудь нехорошее?

— Да... автомобильная катастрофа... дядя Сережа тяжело ранен...

— Моя судьба постигает и Аню: погиб ее отец, теперь грозит гибель мужу... А она едет сюда, ничего не подозревая...

Через пять дней пришла вторая телеграмма из Сан Франциско:

«Сергей умер. Ждать ли на похороны Аню и Танюшу?»

Ответ был такой: «Аня приезжает завтра. Ждите телеграммы от нее».

— Какая встреча с дочерью через семнадцать лет разлуки, — стонала мать, — какими глазами я буду глядеть на нее в первые минуты?.. Бедная Аня!.. Бедная сиротка Танюша!..

Пароход прибыл в Сидней в пятницу перед вечером, когда уже все учреждения были закрыты. Аня с верхнего балкона увидела мать, сестру, ее мужа, взрослого племянника Федю и трех девочек.

— Танюша, посмотри: на пристани все наши, хотя ты никого из них не знаешь... Видишь старушку в белом платочке? Это — бабушка, справа от нее тетя Наташа, слева дядя Вася, рядом с ним твой кузен Федя, впереди — девочки, твои кузины... Но почему все они такие серьезные, особенно мама?.. Видишь, они заметили нас, машут нам руками... Мама уже плачет...

— Может быть от радости, а может быть... что-нибудь случилось с папой? Его выражения лица при разлуке я никогда не забуду...

— Ты — глупая девочка.

— Я это прекрасно знаю...

Пассажиры стали выходить. Кому не знаком трепет сердца при выходе с поезда или с парохода после длительной разлуки? Только те, которые просидели всю жизнь на одном месте, не переживали этого волнения, но сколько таких людей в мире?.. Все в наше тревожное время испытали на себе тяжесть неизбежных, вынужденных, зачастую, трагических разлук. Встреч теперь меньше, чем расставаний, но все же они иногда бывают — через десять, пятнадцать и двадцать лет... Что говорить встретившимся после такого длительного срока? С обеих сторон с уст срываются разрозненные восклицания и комплименты:

— Ты ничуть не постарел...

— Ты — такая же красивая...

— Ты выглядишь еще совсем молодцом...

Говоря это, люди льстят друг другу, хотя про себя думают: «Да он же или она стали почти неузнаваемы... Что делает беспощадное время»...

Обняв Аню, мать разрыдалась:

— Аничка... Птичка моя милая... прилетела в материнское гнездышко... погреться под теплыми крылышками... О, Господи, как непостижимы Твои предначертания... А это птенчик Танюша? Красавица ты моя... Сподобил Бог увидеть...

— Бабушка, ты что-то знаешь? — спросила Танюша, — говори, мы ко всему готовы...

— Скажу... скажу... как же можно утаить?.. Две телеграммы из Сан Франциско, от Ивана...

— Почему от Ивана? — спросила дрогнувшим голосом Аня.

— Потому что... потому что...

— Папа умер? — крикнула Танюша.

— Вот вчерашняя телеграмма...

Взглянув на листок, Танюша побледнела и крепко сжала руку матери.

— Я знала об этом три недели тому назад... Я все видела в его глазах...

Аня не помнила, как она поздоровалась с сестрой и остальными родственниками. Сразу же заехали на телеграф.

«Задержать похороны до нашего возвращения».

Новая непредвиденность добавила соли на их душевные раны: по субботам и воскресеньям все конторы и бюро в Австралии закрыты: нельзя купить билетов, бесполезно хлопотать о чем-то срочном и неотложном.

Поехали на ферму зятя — на двух машинах. Племянник Федя повез своих сестренок, в другой машине уселись — мать, сестра, ее муж, Аня и Танюша... Говорили только о гибели Сергея. Аня рассказала о том, как он много работал в последнее время и как она не раз просила его остудить эту горячку и подумать о себе.

— Проводив нас, он, вероятно, совсем забыл об отдыхе и вот — финал...

Танюша поведала о своем неотвратимом предчувствии катастрофы.

— Прощаясь с папой, я знала, что больше не увижу его... Потому мы не находили себе места на пароходе. Казалось, что мы никогда не доедем до Австралии...

* * *

В понедельник Аня с Танюшей вылетели из Сиднея в Сан Франциско. К моменту их возвращения гроб с телом Сергея был перенесен в один из самых больших зал похоронного бюро. Венков было множество — от различных церквей, от родственников, друзей и знакомых. На траурном собрании было произнесено много прочувствованных, красивых речей. Человек, в продолжении своей жизни доставлявший всем только радость, ни разу никому не отказавший в больших

и малых просьбах, лежа в гробу, в окружении цветов, вызывал только добрые слова и воспоминания. Все присутствовавшие были убиты горем. Многие приехали на траурное собрание издалека. Удивление, жалость, сокрушение — переполняли каждое сердце. Самые крепкие, никогда не плакавшие, люди не могли удержаться от слез. Один из местных стихотворцев прочитал несколько строк памяти трагически погибшего:

О, как трудно привыкнуть к утратам,
Отрешиться от жгучих забот!
Мы пришли на прощание с братом,
Но не верится в страшный исход.

Где величие дней невозвратных?
Возместить невозможно урон!
В окруженье цветов ароматных —
Неужель, неужель это он?

Как сочатся душевные раны,
Как тоскует покинутый дом!..
Сметены все житейские планы,
Божий план не постигнуть умом.

В атмосфере греховного зноя
Невозможно осмысленно жить.
Он мечтал, завершив все земное,
Только Господу сердцем служить.

Но тщета на земле без предела.
Подмывает к стяжанию бес.
Он оставил великое дело;
Он не слышал велений небес.

Нам даны преходящие сроки.
Может сразу захлопнуться дверь.
Братья, сестры! Какие уроки
Эта смерть нам диктует теперь?

Рвется сердце из бренной темницы.
Нераденье — страшнее змеи.
Нам не поздно еще спохватиться,
Наверстать упущенья свои.

1960 г.

РЫЦАРИ САМООТВЕРЖЕННОСТИ

Брату Николаю Телегину

Приморский город с плоскими кровлями сжат с двух сторон высокими бурыми скалами. В часы прилива вода подступает к набережной улице, открытой для северных ветров. Деревья и кусты в палисадниках на этой улице искривлены, убоги, растрепаны и всегда поскрипывают, точно жалуются, что их посадили в неуютном месте. В часы отлива вода уходит очень далеко, оставляя на обнаженном месте лужи, раковины, клочья водорослей и всякий хлам, который бросают сюда и дети и взрослые.

Неподалеку от города дымят трубы химических заводов, отравляя воздух газами. Когда дует южный ветер, над всем городом расползается желтая отравляющая пелена и тогда все тоскливо молятся:

— Господи, перемени ветер, повей холодной свежестью с севера.

Городу уже несколько сот лет. Кем он основан, никто не знает. Многие думают, что первыми поселенцами здесь были рыбаки.

Когда в этим местах была открыта нефть, население города стало быстро увеличиваться. Дети потомственных рыбаков, изменяя традиции предков, покидали баркасы, паруса, пропитанные морской солью снасти и шли в заводские цеха, где ни днем ни ночью не умолкали резкие неприятные звуки: грохот, свист, шипение. Родители смотрели на таких нарушителей стародавнего порядка, как на несчастных и больных,

променявших простор океана на тесную коробку, обескрыливающую мысль, отравляющую чувство и парализующую волю.

* * *

В городе есть всё, что полагается для современных городов: театры, газеты, журналы, радио и телевизия, несколько церквей различных вероисповеданий и вечно-зеленый парк, где по воскресеньям играет духовой оркестр.

Богатые люди в летнее время уезжают на курорты, а большинство довольствуется тем, что можно созерцать поблизости: приливами и отливами океана, и теми развлечениями, которые предоставляет городская управа. Кое-кто из жителей, не удовлетворяясь настоящим, тоскует по «красивой жизни», но многие свыклись с материальными ограничениями, с теснотою квартир, с дешевой одеждой и всегда живут желаниями, чтобы рабочее время бежало как можно скорее, чтобы за столом было побольше питательной пищи, чтобы часы ночного отдыха не нарушались никаким происшествиями: пожарами, воровскими шайками и нежданными штормами.

Так бы и жил этот город, как тысячи других городов, в суете и в тревогах, в повседневных маленьких радостях и больших печалях, но одно неожиданное событие всколыхнуло всех его жителей и показало, на что способны люди в час смертельной опасности.

Метеорологи этой страны предсказали, что в ближайшее время на океане разразится осенний шторм небывалой дотоле силы. Водяной вал огромной высоты устремится на побережье, сметая все на своем пути. Городу, зажатому, как в ущелье, между двух скал, грозит большая опасность.

Субботние газеты и радио затрубили о надвигающемся бедствии. На следующий день, на стадионе, вмещающем более 30 тысяч человек, было созвано общее собрание жителей города. Желающих принять

участие в митинге оказалось очень много. Не успевшие занять места на трибунах, расположились, тесня друг друга, на зеленом поле стадиона.

Собрание открыл престарелый мэр города:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Всем нам через короткое время грозит смерть! Что нам делать? Прежде всего давайте дорожить временем! Теперь оно для нас — высшая ценность. Высказаться может всякий, но как можно короче. Уже сегодня, сразу после этого собрания, мы должны предпринять что-то очень важное, чтоб не погубить ни одной жизни!

Начались выступления — громкие, взволнованные, страстные. Лишних слов не говорил никто. Выступали ученые, духовенство, люди искусства и простые рабочие. Каждый предлагал какой либо рецепт для предотвращения катастрофы. Мнения, как это всегда бывает на многолюдных собраниях, разделились. Одни настаивали на немедленной эвакуации всего населения и на закрытии всех предприятий. Они доказывали, что стихию чудовищной силы не могут одолеть никакие человеческие ухищрения.

Другие говорили, что беду можно предотвратить всеобщей молитвой. Пусть молятся все — дети, взрослые, старики, молятся пламенно, слезно, не уставая и каются в своих грехах. Господь услышит вопли многих тысяч людей и предотвратит бедствие, как Он сделал это когда-то в Ниневии.

Третьи старались всех убедить в том, что только высокая дамба из бетона и стали спасет людей от надвигающейся гибели.

— Не медля ни минуты, нужно приступить к сооружению этого мощного, несокрушимого вала, о который разобьется дикая, необузданная стихия.

Четвертое мнение было наиболее приемлемым для всех участников митинга. Оно заключалось в том, что молитву нужно соединить с действием. Пусть все не-

трудоспособные женщины, дети, старики и больные — проводят время в неустанных молитвах, а все молодые, сильные, энергичные, здоровые, инициативные и предприимчивые примут участие в сооружении дамбы. Это последнее предложение было поставлено на голосование. Ни одна рука не поднялась против.

Теперь нужно было решить главный вопрос: какие часы дня и ночи посвятить сооружению дамбы? Прекратить ли работу на заводах и фабриках, в городских учреждениях и в школах? Высказалось несколько человек. Решение было подсказано здравым смыслом. Работ на предприятиях не прекращать, чтоб не терпеть материального ущерба. Строительству дамбы посвятить вечернее и ночное время. Главный городской инженер был избран производителем работ. Все участники штурмовой работы по созданию вала будут называться «Рыцарями самоотверженности». У каждого на груди будет приколот значок, изображающий горящее сердце. На двух возвышенностях по обеим сторонам города каждую ночь будут пылать неугасимые костры, чтоб облегчать труд созидателей вала. В поддержании пламени костров могут принять участие дети и подростки.

Духовные лица, занимавшие места в президиуме собрания, предложили всем встать и пропеть молитву: «Отче наш».

Тысячи голосов слились воедино — в уповании на Бога. Каждое сердце трепетало благодарностью Творцу за Его охрану человеческих жизней, за долготерпение к грешному миру и за любовь к недостойным грешникам. Из многих глаз текли слезы. Матери прижимали детей к груди, веря, что они будут спасены от надвигающегося ужаса.

В заключение мэр города предложил встать всем «Рыцарям самоотверженности». К его удивлению и радости — встали все, как один!

— За работу!

Это был общий клич собравшихся. Выходя с собрания многие запели:

Все к труду! Все к труду, слуги Господа сил!
В путь пойдем, что Спаситель нам Сам проложил
Дух совета Его будет нас направлять,
Веру, силу и жизнь каждый день обновлять!

Пение было подхвачено всеми присутствующими. В тот же час начался невиданный дотоле, созидательный труд. Город превратился в огромный муравейник, каждый житель — в старательного, неутомимого муравья. Был мобилизован весь легковой и грузовой транспорт. Десятники распределяли добровольцев на различные виды работ. Дети и подростки горели желанием скорее зажечь костры на вершинах гор, но им сказали, что это нужно будет сделать только с наступлением темноты, а пока можно принять участие в подвозке горючего на горы.

Люди переоделись в рабочие костюмы. Чтобы не тратить время на перерывы для принятия пищи, каждый взял с собой кусок хлеба и бутылку с водой.

Радио разнесло по всему миру весть о решении приморского города. Журналисты со всей страны устремились в это место. Самоотверженных тружеников фотографировали для газет и журналов. Кинопредприниматели днем и ночью крутили фильмы, чтоб засвидетельствовать всему миру о чуде единодушия.

Дамбы строилась вдоль набережной улицы. Работа начиналась в сумерки и продолжалась до утреннего рассвета. Десятки костров на горах справа и слева разгоняли ночную тьму. Кроме этого, на груди каждого рабочего был прикреплен электрический фонарик. Тысячи огоньков создавали сказочную феерию, которая поднимала дух и укрепляла физические силы.

В работе приняли участие люди всех партий, всех направлений, всех церковных деноминаций. Надвигающаяся опасность всех спаяла в одну дружную семью. Каждый был предупредительно любезен и вежлив по отношению к другим. К тем, кто затруднялся

что-то сделать, спешили на помощь десятки других. Ни один язык не произносил скверных слов. Там и сям слышалось пение молитв. Иногда они сливались в общий хор, который заглушал стук пневматических молотов, лязг камнедробилок, звуковые сигналы и неумолчный гул океана. Величественному хору внизу вторили два хора подростков на соседних скалах. Казалось, что пела земля, пело небо, вода, воздух и все планеты, сверкавшие отдаленными звездочками.

Кинооператоры от удовольствия потирали руки:

— Какой фильм! О, какой фильм обогатит на многие века всё человечество! — заранее восторгались они.

Утром люди, проработавшие всю ночь, шли на заводы и фабрики.

— Откуда у нас берутся силы? — удивлялись они, не догадываясь, что эту исключительную, чудесную силу давала им любовь: любовь к Богу, которому они возносили молитвы, любовь к своим семьям, ради спасения которых они трудились и любовь друг к другу, которая отмела, как мякину, все недоразумения, все мелочи, всю взаимную зависть и обиды, которые царили в душах до этого времени.

Вот наступило воскресенье. В храмах и молитвенных собраниях происходили короткие утренние богослужения, привлекшие тысячи душ. Никогда еще за всю историю города не было такой тяги к Богу, такой надежды на Него, как в эти незабываемые дни и ночи.

А время бежало. Предсказанный момент — приближался, но это уже никого не страшило: величественная, несокрушимая дамба была закончена.

Горячée с каждым часом становились молитвы. Люди смотрели в подзорные трубы и невооруженными глазами на океан. Всем казалось, что он необычно потемнел. Какие-то белые ленты протянулись сверху до низу. Начинается!

Подростки поспешили с вершин, где они в течение месяца разжигали костры. Работавшие внизу, закончив сооружение дамбы, возвратились в свои дома и закрыли ставни. От первого порыва ветра зашумели деревья в палисадниках. Вдали что-то гудело и стонало, как будто там рычали тысячи раненых львов. Шторм двигался по направлению к городу. Укрывшиеся в домах люди не видели водяного вала, который катился к берегу, всё ускоряя движение. Вот задрожала земля, задребезжали стекла в окнах, закачались висячие лампы; водяной вал таранил дамбу, но сила ударов была слабее силы сопротивления. Всю ночь свирепствовала и бесновалась буря, шумел проливной дождь, не смыкая глаз, молилось всё население города.

В рассветный час шторм начал утихать и к восходу солнца совсем обессилел. Жители города хлынули из домов. Каждое лицо светилось радостью. Люди поздравляли друг друга с чудесным спасением, обнимались и целовались, как в день Светлого Христова воскресения.

Все поспешили к дамбе. Океан не пробил в ней ни одной трещины. Жертвой шторма оказались несколько деревьев на набережной улице и десятка два убитых чаек. И тогда, непроизвольно, каждое сердце, побуждаемое беспредельной благодарностью Богу за сохранность города и его жителей, наполнило уста хвалою, а глаза слезами восторга.

Никто не отдавал никаких приказаний собравшимся, но так же, как колосящиеся нивы склоняются до земли под неожиданными порывами ветра, склонились на колени тысячи людей. Многочисленными молитвами счастья, восторга и признательности Творцу огласился пропитанный морской солью воздух. Какие ноты сильнее всего звучали в этих душевных излияниях? — Милость Божья. Божье чудо. Чудо единения, всеобщая спайка людей, забвение всех разногласий, отсутствие обычной вражды, неугасимая энергия, окрылившая на великий подвиг, — вот что пре-

дотвратило гибель! Каждая душа понимала, что всё это было возможно только потому, что Бог был на стороне самоотверженных тружеников, благословляя их желания, давая им силу, объединяя их той любовью и верой, которые способны двигать горами.

Благодарственные молитвы сменились всеобщим восторженным пением. Над многотысячным скоплением народа голубело чистое небо, кружились белые чайки. Океан вторил людским голосам своей извечной, неумолкающей музыкой. Всё в те утренние солнечные часы славило Бога: здания, люди, природа, водная стихия, воздух, высокие горы, парившие под небом птицы...

Послесловие

Дорогие друзья читатели, читательницы, братья и сестры! Я нарисовал вам картину предотвращенной гибели в физическом мире. Что спасло людей от смерти, а город от уничтожения? Единение и рыцарская самоотверженность, соединенная с молитвой. Но задумывались ли вы над тем, что штормы греха, бури преступности, ураганы всемирной злобы страшнее всех стихий этого мира, которым мы с вами подвержены? Их разрушительная сила крепнет с каждым часом, о чем свидетельствуют радио, телевизия, мировая пресса... Сатанинские вихри и смерчи потрясают все материки и континенты, вырывая из жизни всё новые и новые жертвы... Можем ли мы оставаться спокойными, равнодушными, хладнокровно-безучастными, видя все ужасы, творящиеся на наших глазах? Смеем ли мы сказать или подумать: «Моя хата с краю»?.. Катастрофы в сфере духа, грозящие всему человечеству, так ударят всех нас, что многим придется поплатиться жизнью.

Давайте общими усилиями строить дамбу любви! В моем рассказе описаны Рыцари самоотверженности. Будем и мы такими рыцарями в области духовной, рыцарями благовестия Христова! В чем надлежит нам

объединиться прежде всего? В сокрушении, в покаянии, в молитве! Ведь это спасло от гибели Ниневию и ее жителей! Это спасет и нас от тех, не поддающихся описанию, ужасов, которые надвигаются на нашу несчастную планету! Время ли сейчас для духовной спячки, равнодушия, увлечения тленными благами? Не будем страусами, прячущими голову в песок в минуту опасности! Без дамбы любви, света, мира и единения сатана развеет нас, как буря развевает сухие осенние листья. Вглядимся пристальнее в себя! Увидев, ощутив, осознав свою греховность, воззовем к Тому, Кто прощает, милует, дает силу, Кто Свое могущество над грехом закрепил смертью на Голгофе и славным воскресением из мертвых! Он даст нам желание — немедленно приступить к постройке дамбы неугасимой любви, искреннего всепрощения и братского внимания к страждущим. От Него мы получим опыт, терпение и неиссякаемый источник духовных и физических сил.

1958 г.

НЕПОНЯТЫЙ

К дому подъехала черная полицейская машина с белой звездою. Из машины вышли двое — оба высокие, плотные, строгие.

Отец суетливо выбежал навстречу, покраснел, как-то неестественно изогнувшись, заулыбался.

— Мистер Джон Урусов?

— Да.

— Ваш сын, Жорж Урусов, дома?

— Он не живет со мной.

— В настоящее время он у вас?..

— Вероятно...

— Вы видели его сегодня?

— Видел.

— У себя в доме?

— Да.

Старик не мог лгать в этот, опасный для сына, момент, как не лгал всю жизнь. Он вошел в дом трясущимися шагами, что-то напевая от волнения. За ним следовали уверенные полицейские. Сына искали недолго. Он был в чулане, где висели костюмы и пальто. Сопротивляться было бесполезно: преступник вышел в спальню сам — хмурый, сутулый, с красными пятнами на лице, с клоками черных волос, прилипших ко лбу, с бегающими глазами — маленькими, острыми, похожими на мышиные.

Когда надевали наручники, покосился на отца:

— Предал?..

— Я не Иуда... Бандитство тебя предало, водка, распутная жизнь!

— Не прячьте у себя таких сыновей, папаша, чтоб не нажить беды, — сказали на прощанье полицейские.

— Куда вы его теперь? — спросил отец.

— В тюрьму.

— За что?

— За участие в ограблении банка.

— Банка?.. Мой сын — грабитель американского банка?.. Господи, за что такая кара?.. Ни одного сына, как у людей... Все четверо — головорезы...

Полицейская машина укатила по направлению к центру города, а старик всё стоял у парадной двери и повторял...

— Все четверо... все четверо... все четверо...

Голова покачивалась в такт словам, как будто отбивая ритм.

* * *

Розовый дом Ивана Урусова стоял на самом высоком месте, откуда открывалась широкая панорама окрестностей — холмы, долины, белые кварталы пригородов, небоскребы даунтауна, голубой залив, и два моста — белый и красный.

— Какая красота, — всякий раз думал старик, выходя из дому и бросая взгляды по сторонам. — Какая отрада для глаз, но сатана посеял в этом мире плевелы, посеял не на земле, а в душах человеческих... Посев дал обильный урожай. Сквозь этот бурьян часто не видно солнца, неба, всей Божьей премудрости...

Четыре сына были постоянной скорбью отца. В кого они выросли такие дикие, порочные, необузданные? Отец Ивана был добрым проповедником евангелистом, жена славилась кротостью и смирением, сам Иван никого и никогда не обидел — ни словом, ни делом. Он приехал в Америку в юности, больше сорока лет проработал на заводе масляных красок. Ни от хозяина, ни от боса ему не было никогда никаких замечаний, но неприятности с детьми начались в школьном возрасте: они избивали до крови товарищей, портили казенные учебные принадлежности, шарили по чужим карманам.

Ивана часто вызывали в школу, чтобы сообщить что-нибудь о новых выходках детей.

— Обратите на них серьезное внимание, пока не поздно, иначе ваша старость будет омрачена, — говорили учителя.

— Я воспитываю их в христианском духе, но в них сидит бес... Я молюсь об их исцелении, но Господь не слышит меня, — со слезами на глазах признавался отец.

Когда Жоржу было 13 лет, он с группой подростков принял участие в ограблении магазина. Детей переловили, посадили в тюрьму. Родители взяли грабителя на поруки, уплатив за него 200 долларов. Мать после этого стала чахнуть от горя и вскоре умерла. За детьми стала присматривать тетка. Иван хотел жениться, делал предложение многим вдовам, но никто не решился связать с ним своей судьбы:

— С твоими разбойниками не увидишь жизни, а только каждую минуту будешь ждать всяких ужасов.

Друзья и знакомые сочувствовали Ивану, но никто не мог помочь его горю. Многих удивляло, как у ангела-отца могли родиться дьяволы-дети?

Ни один из сыновей не окончил средней школы. Каждый мечтал о собственных деньгах, но на работе никто не задерживался дольше месяца: их или прогоняли, или они бросали сами, ссылаясь на тяжелые условия.

Из дому стали пропадать вещи: белье, одежда, обувь. Отец молился, плакал, терпел. Дети были для него тяжелым жизненным крестом, который он должен пронести до конца своего пути.

Один за другим они покинули родительский кров. Отец не знал, как проходила их самостоятельная жизнь. Долетали слухи, что дети пьянствуют, бродяжничают...

* * *

Жорж явился к отцу после двухлетней разлуки в полночь — пьяный, страшный.

— Отец, спрячь, меня ищет полиция.

— Опять чего-нибудь натворил?

— Ничего особенного... то, что делают сотни людей...

— Куда я тебя спрячу?.. У меня нет ни подвалов, ни подземных убежищ.

— В какой-ниубдь чулан.

— Чулан тебя не спасет. Перемениться нужно, покаяться перед Богом и людьми.

— Старая песня... Я хочу спать...

Отец уступил сыну свою спальню. Сам лег в соседней комнате. Заснуть не мог. Задавал вопросы себе и Богу: «Кто виноват? За что такая кара? Как поправить дело? Неужели нельзя пропащего человека привести к Христу?.. Как приступить к этому»... Может быть во всем виноват я сам?»

Искал в своей жизни грехи, промахи, ошибки, неправильности.

— Другие живут хуже, но Бог не наказывает их так строго... А вот и ошибся!.. Чем был виноват Иов? Разве за грехи претерпел человек такую лютую скорбь? Кто из смертных был более славен своей святостью и богобоязненностью?.. Но Господь допустил нечеловеческие страдания, чтобы проверить духовную силу человека. Иов сдал экзамен на звание Верного Богу, он всё перенес. Почему же я малодушничаю при всякой беде?..

Встал рано. Приготовил завтрак, но сын всё еще спал — не раздетым, грязным, в ботинках.

Отец долго стоял у постели.

— Неужели это мой первенец?

Когда к дому подъехала машина, громко сказал:

— Полиция!..

Сын вскочил с постели и спрятался в чулан. Старик вышел навстречу полицейским.

* * *

Когда сына увезли, отец стал убиваться:

— Голодного схватили... Как же это так?.. Не догадался завернуть сандвичей... Плохо... очень плохо...

Сентябрьское утро сверкало над городом во всей красе — голубым безоблачным небом, приятным ласкающим солнцем. Но спешившие в машинах люди и пешеходы едва ли замечали окружавшую красоту. Не видел ее и убитый горем старик Урусов. Один вопрос волновал неотвязно:

— За что, Господи?..

Опустошенным душевно вошел в дом. Чувствовал, что скорбь погружает в болото отчаяния... Спохватился: «Нельзя распускаться»... Как за якорь спасения, ухватился за Библию. Опустившись на колени, раскрыл наугад:

«И спросил Его некто из начальствующих: Учи-

тель Благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою.

Он же сказал: всё это сохранил я от юности моей.

Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющему богатство, войти в царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».

Задумался. Глубокая печаль охватила душу, но скорбь была краткой, отрезвляющей. Вслед за нею неведомым доселе светом наполнилось сердце.

— Господи, благодарю за прозрение! Теперь всё знаю, всё вижу!.. Нельзя идти за Тобою с бременем домашних и материальных забот... Нужно раздавать, а я всю жизнь копил, покупал ненужные вещи, заполнял хламом свой дом, дрожал над деньгами, копя их на «черный день»... «Раздай нищим» — приказывает Христос. Думал ли я об этом? Нет! Я бросал в кружку слепого музыканта на тротуаре — пятак, думая, что облагодетельствовал человека... Я был христианином на словах, а Христу такие «христиане» не нужны... Он говорит: «Раздай нищим и следуй за Мною»... Как всё просто и хорошо!.. С чего же начать? Где больше всего нищих в нашем городе? Буду ходить по улицам, буду спрашивать...

Прозревшей душе захотелось действовать в ту же минуту. Захватив с собой сберегательную книжку, поспешил в банк. Для первого раза выписал 500 долла-

ров. Оттуда отправился на Маркет стритт. На углу 8-й сидел безногий инвалид, предлагая карандаши. Протянул ему двадцатидолларовую бумажку.

— Я не могу вам разменять даже доллара, — смутился инвалид.

— Возьмите себе... Не стесняйтесь... Не краденые, заработанные честным трудом... Но вам они нужнее: вы без ног...

— Спасибо, — со слезами на глазах поблагодарил инвалид, — по виду вы не капиталист, но у вас — золотое сердце...

* * *

Пятьсот долларов были розданы в один день. На следующий день поехал в район Ховард стритт и Третьей с чемоданом белья. Охотников поживиться подарком нашлось не мало. Пьяные грязные люди брали белье от Урусова с жадностью, с радостью, с благодарностью.

На третий день он отдал два новых костюма, оставив себе старый.

— Кому бы отдать мебель и рефрижератор? — думал он, — но только таким, которые действительно в нужде.

О решении Урусова — освободиться от собственности — узнали соседи. К нему стали заходить сердобольные — с уговорами, увещаниями.

— Подумайте о себе, Иван Тихонович, ведь вы еще можете жить да жить. Разве не доживают в наше время до девяноста и до ста лет?

— Когда я раздам всё, освобожусь от своего дома, от квартирантов, я смогу получать пенсию. Мне хватит ее за глаза. Без собственности я вольная птица: сегодня здесь, завтра там... На душе не будет никакого камня. Но самое главное — не это. Самое радостное — я буду жить по завету Христа. Скажите, кого нужно слушать — людей или Бога? Ведь в Слове Божьем сказано ясно и просто: «Раздай нищим

и следуй за Мною». Кто это сказал? Христос. Кого я должен слушать — вас или Его? Кем вы себя считаете — христианами или дельцами?..

— Странный вопрос. Конечно, христианами.

— Но рассуждаете вы, как себялюбцы, а себялюбец не может быть христианином.

— Это крайности, Иван Тихонович, нездоровые крайности и странности...

— Значит, по вашему, вы — здоровые, а я больной?

Доброжелатели уходили от Урусова смущенными его неотразимой христианской логикой и уверенными в том, что человек «свихнулся на религиозной почве».

Кто-то постарался разыскать его сыновей. Бродягам и забулдыгам соседи изобразили отца, как сумасшедшего.

— Немедленно зовите врача психиатра, пусть он поговорит с ним и отправит его, куда следует... Если этого не сделаете, отцовского наследства не видеть вам, как своих ушей.

* * *

Врач был приглашен. Ласково беседуя со стариком, он обворожил его. Под конец задал вопрос:

— Как вы смотрите на собственность?

— Это — страшное зло, бесстыдство, несчастье. Каждый собственник — вор. Христос ничего не имел, Ему негде было приклонить голову... Собственность опутывает человека клейкой паутиной. Собственник жаден, он больше думает о себе, а не о других. Совместимо ли это с христианством?.. Нет!

— Вы так мне понравились, господин Урусов, что я хотел бы с вами прокатиться. Заедем в мой офис, при городской больнице.

— С удовольствием, доктор, я тоже полюбил вас за доброту и сердечность. Позвольте мне только захватить с собой Библию. Мы почитаем с вами Слово Божие, побеседуем.

Когда приехали в больницу, доктор оставил Урусова «на минутку» в своем кабинете, а сам вышел. Через минуту в кабинет вошли два дюжих молодца и попросили старика следовать за ними.

— Я жду доктора.

— Он прислал нас за вами: его срочно вызвали к тяжело больному.

Урусова провели в одиночную палату с маленьким столиком и кроватью. Единственное окно походило на тюремное: с решеткой сверху до низу.

— Посидите здесь, доктор придет через минуту.

Выйдя из палаты, дюжие молодцы захлопнули дверь и повернули налево большой ключ в замочной скважине.

Из камеры донесся вопль:

— Обманщики!.. Предатели!.. Доктор!.. Доктор!..

* * *

Через неделю молодому приятелю Урусова разрешили свидание с «больным» на 7 минут. Когда открылась дверь, старик метнулся к гостю и повис у него на груди.

— Костя! Вот куда я попал на старости лет... За что? Я же никого не оскорбил, не обманул, не ограбил...

— Вы начали раздавать то, что принадлежит вам. С точки зрения современных соседей и врачей — вы больной, но поверьте, дорогой друг, для меня вы — единственный здоровый человек во всем мире!..

* * *

Урусова переводили из одной лечебницы в другую, из другой — в третью.... Консилиумы врачей всех психиатрических больниц пытались решить задачу: «Сумасшедший Урусов или вполне здоровый?»

На все вопросы пациент отвечал, как «нормаль-

ный» человек. Но как только его начинали спрашивать о собственности, он махал руками:

— Когда вы перестанете мучить меня разговорами об этой чуме нашего века? Я сказал вам уже не раз и повторяю: «Собственность — самое страшное несчастье мира! Из-за нее льется кровь, брат убивает брата, сын — отца, отец — сына... Собственность — пудовый камень на шее человека. Она разжигает зависть, а зависть — отравленная стрела сатаны!.. Христос не имел собственности. Только тогда на земле будет счастье, когда люди откажутся от собственности!.. Это будет, это обязательно будет — не в этом веке, так в другом! Но рано или поздно люди одумаются и поймут: «Без Христа — гибель, а радость, мир, покой и любовь — только со Христом!»

После таких монологов Урусова врачи единодушно выносили приговор:

— Сумасшедший!

1955 г.

СЫНОВЬЯ

Огромный зал, вмещающий несколько тысяч человек, был переполнен. На помосте, за кафедрой, стоял молодой красивый проповедник. В меру жестикулируя, поворачиваясь то направо, то налево, он говорил на текст Священного Писания: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас».

Бесчисленны скорби этого мира. Нет конца тревогам человеческого сердца. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Душевный покой безнадежно утрачен всем человечеством. Где та пристань, куда могло бы причалить наше скрипящее судно с разорванными парусами? Эта — Пристань, Успокоение, Мир и Безмятежность — во Христе. Поспешите к Нему все

удрученные, все, которые вместо находок в жизни знали только утраты, вместо побед — поражения... Он уврачует все ваши раны, Он удалит смертельную горечь из ваших душ и там, где в промозглом мраке ваших сердец копошились черви тоски и сомнений, змеи зависти и ненависти, засияет немеркнущий свет мира, согласия, дружбы и в этом царстве тепла, света и красоты будут раздаваться чарующие песни райских птиц.

Зачем вам горечь вместо сладости, мрак вместо света, холод вместо тепла, отчаяние вместо надежды, погибель вместо спасения?

Христос протягивает к вам Свои пронзенные руки благодати. Как птица укрывает своих птенцов от бури и стужи, так Он хочет собрать вас под безопасной сенью Своих широких, мощных крыльев. Он зовет! Он ждет! Он плачет, страдая о тех, которые отвергнут Его зов.

Все прозревшие в этот вечер и увидевшие черные изъяны своей души, все томящиеся жаждой в беспредельной греховной пустыне, все разочарованные в житейских приманках, расставляемых лукавым, — идите сюда, к этому помосту и становитесь на колени, прося Господа возродить вас к новой жизни. Я буду молиться о всех вас, потому что люблю вас, как дорогих братьев и сестер.

Хор певцов и певиц в белых одеждах проникновенно и тихо запел призывный гимн:

Таков, как есмь, без дел, без слов, принявши с радостью Твой зов
И с верою в святую кровь к Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, для всех чужой, в сомнениях, в страхе и больной,
Разбитый бурею земной, к Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать,
Твою познавши благодать, к Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, увидел я, как велика любовь Твоя:
Ты — мой Отец, моя семья, к Тебе, Господь, иду, иду.

Таков, как есмь, путем живым, Тобой проложенным, прямым,
Дабы навеки быть Твоим, к Тебе, Господь, иду, иду.

Под шорох шагов, в настороживщейся тишине, в атмосфере благоговения и умиления казалось, что открылись небесные двери и окна, сквозь которые льется нежное, целительное, дивное пение. О, как много было здесь таких, которые хотели сбросить со своего средца тяжкий груз тревоги, неудовлетворенности, сомнений и разочарований.

У главного входа стояла пожилая женщина в синем платочке, с печальными карими глазами. Как только проповедник пригласил собравшихся к помосту, она устремила свой взгляд направо, где во втором ярусе сидели два ее сына — девятнадцатилетний Петр и двадцати двухлетний Павел.

— Неужели не выйдут, не покаются, не отдадут себя Христу? — трепетало ее сердце. Как радовали они ее, будучи малышами. Все члены церкви, соседи, друзья и знакомые говорили, что таких воспитанных, покорных, вежливых детей вероятно нет во всем мире. Они посещали воскресную Библейскую школу, знали наизусть многие стихи Священного Писания, участвовали в церковном струнном оркестре. Пресвитер церкви пророчил им славную будущность на миссионерском поприще.

— Какая ты счастливая, сестра Анна!

— Каким бесценным сокровищем ты обладаешь, брат Иван!

— Наши дети, к сожалению, не такие, — признавались члены той церкви, к которой принадлежала счастливая семья Ветлугиных.

Но не дремлет враг человеческих душ, ища, как рыкающий, голодный лев, погубить неосторожных и не бодрствующих. Отец встретился с красивой женщиной и воспылал к ней страстью. Семя, брошенное в сердце лукавым, пустило корешок, дало росток. Он стал тайно встречаться с красавицей, постепенно приманки мира заслоняли для него всё больше и больше то многое, чем он когда-то жил и совершенствовался. Похоть очей и плоти, разрастаясь, превратилась в такую силу, которая властно продиктовала ему: «Ты еще молод и силен, а жена твоя немощна... Порви с ней и свяжи себя брачными узами с Анастасией»... Что он мог противопоставить нашептываниям дьявола? Только пост, молитву и чтение Священного Писания. Но как только лукавый подбросил на его пути лакомую приманку, все прежние человеческие добродетели отодвинулись на задний план: теперь он позабывал молиться, не дотрагивался до Библии, о посте нечего было и думать: встречаясь с Анастасией, он вел ее в дорогой ресторан, где заказывал то, чего хотела она.

Когда дерево подпилено наполовину, его пилят до конца и оно с хрустом и треском обрушивается на землю. Дерево семейной жизни Ветлугиных рухнуло: Иван и Анна развелись, не подумав о том, как это отразится на детях. После первого же Библейского класса сверстники с укором сказали Петру и Павлу:

— Почему вы не удержали отца от развода с матерью? Почему не привязали его крепкой веревкой к дому?

Мальчикам стало стыдно до боли: значит, в церкви уже все знают об их семейной драме!.. На следующее воскресенье они отказались наотрез пойти на собрание и уехали куда-то за город. Впервые они пренебрегли просьбами и слезами матери. По отношению

к отцу в их душах стала крепнуть и разрастаться ненависть, как к разрушителю семейного счастья и осквернителю святыни.

В церкви обратили внимание на отсутствие мальчиков Ветлугиных. Спросили у матери:

— Почему нет ваших детей?

Что сказать? И не желая конфузить ребят, мать впервые сказала неправду:

— Они поехали в соседний город по важному делу...

Но это «важное дело» повторилось и в следующее воскресенье. Уязвленное самолюбие детей искало выхода в каких-то развлечениях, а это мог дать только приморский бульвар другого городка, где были всевозможные аттракционы, какие, обычно, увеселяют публику на ярмарках.

Так как оба брата после школьных уроков продавали газету, то денег для забавы не нужно было просить ни у кого. Завелись сомнительные знакомства. Среди новых друзей были даже любители «хайбола» — холодного напитка с небольшой примесью алкоголя. Попробовав однажды такого питья, братья пришли к заключению, что это очень хорошее средство для того, чтобы на сердце стало веселее. Мальчикам в это время было уже 12 и 15 лет. Мать сокрушалась, видя перемену в детях, пыталась напугать их Божьим возмездием за непослушание и своевольство, но вкусив веселой греховности на приморском бульваре, они очень быстро оглохли ко всему чистому и доброму.

Оставленная мужем, Анна поделилась с некоторыми знакомыми своим беспокойством за материальную сторону дальнейшей жизни. Что придумать? Давнишняя приятельница сообщила ей, что они открывают круглосуточный ресторан на хайвее.

— Хотите быть нашей компаньонкой?

— У меня не так много сбережений, чтобы стать пайщицей такого дела.

— Ничего, мы примем вас, независимо от величины вашего пая. Материальную нехватку вы будете возмещать трудом.

Анна согласилась, не зная, что круглосуточный ресторан для верующего человека — петля, яма, ловушка, пропасть. Он отнимает день и ночь, изматывает силы, наполняет сердце тревогой. Теперь она уже не могла посещать собраний так же аккуратно как делала это прежде, ей некогда было взять в руки Библию. Совесть терзалась раскаянием, на ходу и во время работы она молилась про себя: «Господи, прости, Ты видишь в какую сеть я попала... Мое сердце разрывается от тоски, но сама я ничего не могу придумать... Подскажи, что мне делать... Не оставь меня Своей милостью... Вырви меня из греховного капкана этого суетного мира... Не дай погибнуть моей душе»... От усиленной работы и недосыпания она еле таскала ноги, глаза ее ввалились, она была похожа на скорбное привидение.

Почти с самого открытия ресторана она стала звать на помощь своих детей. Проезжающие, прося «кока-колу» или «севен-ап», иногда подливали в стаканы что-то из своих бутылочек. Любопытство подростков толкнуло их на пробу остатков. От нескольких глотков приятно кружилась голова, на душе сразу светлело, с языка слетали непринужденные слова... Так постепенно и незаметно неокрепшие организмы втягивались в пагубную привычку, в порок алкоголизма. Школьные уроки теперь не шли на ум детям, небрежность заменила прежнее прилежание. Семейная драма Анны Ветлугиной углублялась всё больше. Потеряв мужа, она неуклонно теряла сыновей.

Школу им окончить не удалось. А когда-то их отец мечтал, что его дети получат высшее образование и займут высокие посты в государственном аппарате. Старший поступил в качестве чернорабочего на кожевенный завод, младший стал развозить газеты по городским киоскам. Дети жили в одной квартире с

матерью, но виделись с ней очень редко. Она втянулась в ресторанное дело и невозможность посещать собрания — уже не так тяготила ее, как вначале.

* * *

О знаменитом благовестнике писали за несколько недель до его прибытия во всех газетах. Его проповеди любили не только христиане, но и язычники. Анна твердо решила: «Отпрошусь у своих компаньонов и непременно пойду на собрание». Заранее она стала уговаривать и сыновей в редкие минуты свиданий с ними.

— Если в ваших сердцах осталась капелька любви ко мне, если в ваших душах еще теплится огонек, зажженный в раннем детстве, вы порадуете меня и пойдете на собрание, о котором пишут и говорят вот уже несколько месяцев. Пожалейте свою мать... Не убивайте меня отказом и насмешками.

— Хорошо... хорошо... пойдем, — с раздражением ответили сыновья.

Они сдержали слово. Мать увидела их сразу, как только они вошли в огромный зал и сели рядом во втором ярусе справа. Стоя у входа, она не спускала с них глаз. Считая себя недостойной, она не заняла места впереди. Как мытарь, она повторяла: «Боже, милостив будь ко мне грешнице».

Когда людские потоки, как весенние ручьи со всех сторон текли к помосту, она просила Бога только об одном: пусть выйдут вместе с другими и ее дети — когда-то чистые, святые, целомудренные, а теперь — легкомысленные, порочные, разнузданные... Неужели огненная проповедь благовестника не коснулась их черствых сердец? Расплавив многие души, почему она не вразумила моих сыновей?.. А может быть они еще выйдут? Вот они поднялись со своих мест, спускаются в партер... Идите, идите, детки, спешите на зов Христа... Но куда же они свернули?..

К ужасу матери сыновья через боковую дверь вышли из зала и направились по коридору к выходу. Мать метнулась из центральных дверей вслед за ними.

— Всеобщий психоз, — донеслись до нее слова старшего.

— Мы пока еще не сошли с ума, — засмеялся младший.

Поспешно выйдя, они затерялись среди тысяч автомобилей и автобусов, стоявших поблизости.

— Ушли... ушли... ушли...

Мать не могла их найти и, еле сдерживая вопли, направилась обратно, в собрание. Ноги у нее подкашивались. Как будто тяжелый пресс давил ей на сердце. Темная пелена расстилалась перед глазами. Последняя ее надежда рухнула: сыновья не только не покаялись, но даже допустили кощунственную фразу насчет «всеобщего психоза»... Как крепко держит их в своих объятиях сатана!..

Когда она вернулась в собрание, проповедник уже закончил молитву о всех вышедших к помосту и тысячи людей сказали в один голос: «Аминь».

Человеческие потоки теперь потекли к выходам, а плачущая мать всё еще стояла у главной двери — пришибленная, обескрыленная, растерзанная... Чего она ждала?.. Что ей делать?.. Куда идти? Домой? Но там ее встретят насмешками сыновья. На работу в ресторан? Но она сейчас не может шевельнуть пальцем.

Зал собрания опустел. Сейчас будут запирать двери. Вот со стороны помоста выходят последние люди. Она вытерла платком слезы и увидела перед собой проповедника.

— Почему вы скорбите? — спросил он мягким, участливым голосом.

— Потому что это самый печальный день моей жизни.

— А для многих он был благословенным.

— Да, для тех, кто вышел на ваш призыв. Мои сыновья не последовали примеру остальных. Они покинули собрание с издевательствами и насмешками.

Проповедник задержался возле плачущей женщины, стал расспрашивать ее. Вкратце она рассказала о драме, постигшей семью.

— Молились ли вы когда-нибудь о своих детях несколько часов подряд, весь день, всю ночь, с сокрушенным сердцем? Помните слова Христа: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Обратите внимание на слова: «вопиющих день и ночь»... Молились ли вы когда-нибудь таким образом?

— Не молилась, брат, — чистосердечно призналась Анна.

— Молитесь. Бог верен Своим обещаниям. Он выведет ваших детей из тьмы к вечному свету. Я верю в ваше радостное будущее. Верьте и вы.

Он ласково попрощался с плачущей матерью и вышел. Вслед за ним вышла и она. Площадь перед большим зданием, где недавно звучала пламенная проповедь, почти опустела. Анна подошла к автобусной стоянке, где в очереди было несколько человек. Еще полчаса назад убитая горем, сейчас она загорелась непоколебимой верой. Ей хотелось поделиться радостью, которая не всем выпадает на долю: знаменитый проповедник лично беседовал с нею и дал ей драгоценный совет. Оглядываясь на свое прошлое, она поняла теперь, что во многом была виновата сама. Увлеченная материальным благополучием, она пренебрегла духовной стороной жизни. Она засохла, как засыхает растение без поливки. Корни ее души сдавливали тяжелые глыбы всяких забот. Она не находила времени для усердной молитвы и чтения Священного Писания. Когда засыхает ствол, могут ли зеленеть ветви? Ее дети умирали вместе с нею, умирали не по своей вине... Теперь ей всё ясно. Прозрев, она увидела свое собственное ничтожество.

Вернувшись домой, она заперлась в своей спальне и опустилась на колени. Несколько желаний было в ее душе: вымолить себе прощение за недавнее духовное бесплодие, растопить каменные сердца сыновей, переменить работу, которая поглощает всё время, вернуться с соблазнительной стези материального накопления на узкий путь неуклонного следования за Христом.

— Господи, Ты всё видишь и знаешь. Когда-то я любила Тебя и все мои помыслы были только о Тебе. Ты послал мне испытание, чтобы проверить мою верность. Но я не выдержала Твоего экзамена. Мое сердце тяжко заболело. Пока оно не умерло, исцели его, ободри его, отврати его от житейских соблазнов. Оно разрывается на части от смертельной тревоги за моих сыновей... От Тебя не сокрыт их образ жизни, их бестактность по отношению к Тебе. Образумь их, Отче! Или пошли мне смерть! Если нет надежды, зачем всё это? Бессмыслен мой труд, бессмысленна вся моя жизнь! Я не хочу жить, если дети мои не обратятся к Тебе... Жизни или смерти я прошу у Тебя... То, что было последние годы — не жизнь, а суета, прозябание... Я не жила, а коптила небо, всё дальше и дальше отходя от Тебя... Я утешала себя тем, что так живут многие христиане и это мое самоуспокоение было тяжким грехом... Прости меня, Владыка, ради Сына Твоего, умершего за нечистый мир. Брось моим детям в пучину беззакония спасательный круг Твоей милости, верни их душам облик святости, смирения и страха Божия. А если это неугодно Тебе, пошли мне смерть — скорую, незамедлительную, порази меня в эту ночь, в этот час, в эту минуту... Неужели Ты хочешь моей смерти, а не жизни для труда на ниве Твоей, о которой я не вспоминала много лет?.. Прости, умилосердись, подними, приласкай, дай крылья!..

Молитвенное воодушевление всё больше захватывало Анну. Сердце каялось перед невидимым пре-

столом благодати, слезы текли по щекам матери, стоны сотрясали ее грудь. Слова мольбы, вытекая из недр души, были искренними, горячими, вдохновенными.

Поздно вернувшиеся Петр и Павел, услышав рыдания матери, остановились в коридоре и прислушались к ее словам. Почему она так часто произносит слово «смерть»? О чьей смерти говорит она? О своей! Она хочет умереть потому, что мы отравляем ее жизнь... Мы разрушители ее счастья, похитители ее покоя, жестокие убийцы ее радости...

Так думал каждый. Что-то дрогнуло в сыновних сердцах. Так не может продолжаться. Умереть из-за нас?.. Просить смерти потому, что сыновья отравляют ее жизнь? Мы, которые должны были бы покоить ее, разбили ее сердце на мелкие черепки, как разбивают старый потрескавшийся горшок...

Эти мысли пронзили одновременно сознание Петра и Павла. Они взглянули друг на друга молча и укоризненно. В этих взглядах был вопрос: «Почему ты и я не подумали об этом раньше? Как жадно устремляла она свой взгляд на нас в собрании! Но это не всколыхнуло нас. И вот итог: она умоляет Бога о скоропостижной кончине. Перед нею два решения: или смерть, или жизнь, но не с такими детьми, как мы, не с забулдыгами, транжирами и шалопаями, а с благородными, молодыми людьми...

Ничего не сказав друг другу, братья разошлись в разные стороны: Петр пошел в свою спальню, Павел вышел в садик за домом. Была середина мая. Благоухали цветущие деревья. Какая-то птичка, пренебрегши сном, прославляла своей песней Божью красоту. Пение было похоже на соловьиное. Павел впервые обратил внимание на это чудо природы.

— Какой дар, какая прелесть, — думал он, — какой щедрый Бог!.. Из тонкого горлышка этого комочка льется удивительная по музыкальности мелодия радости и благодарения. За что благодарит эта птичка Хозяина вселенной? За жизнь, за свет, за свободу, за кров под уютной кроной вечно-зеленых ветвей... А разве мы — я и мой брат — не имеем всего этого? Милость и долготерпение Творца к нам не знают предела. Мы отвернулись от Него, а Он хранит нас, давая нам всё потребное для жизни.

Жгучий стыд стеснил так сильно дыхание Павла, что у него потемнело в глазах.

— Какие мы оба негодяи! — громко простонал он, смутив поющую птичку, — какие мы слепцы... бесчувственные каменные глыбы!.. Мы, которые в первые годы жизни узнали о Боге и о Его любви от матери, отвернулись от Него позже... и от Него и от нее, нашей матери...

— Господи, я знаю: человек за такое отношение к себе не прощает... Но Ты не человек, Ты — Всемогущий Творец... Для Тебя нет ничего невозможного... Ты можешь простить... Ты любишь прощать... Прости!..

Рыдания огласили маленький цветущий садик. Павел стал на колени, обхватил в отчаянии ствол дерева.

— Господи, прости не человека, а подлеца! Сделай меня снова человеком! Верни мне детскую чистоту души!..

Снова запела птичка — еще нежнее, чем пела до этого. И в этих чудесных трелях сердце Павла почувствовало повеление Всевышнего. Птичка как будто выговаривала:

— Да, да, Он простит тебя... Он уже простил... Он прощает всех сокрушенных сердцем... Он Сам сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»...

На душе стало светлеть. Ночь уже уступила место раннему майскому рассвету, а Павел всё не поднимался с колен, придавив ими густую, свежую траву.

— Господи, я хочу жить для матери, чтобы жила и она... Образумь и моего легкомысленного брата Петра, как Ты образумил меня, коснись его легкомыслен-

ного сердца, как Ты коснулся моего... Пусть только что прозревшая душа никогда больше не слепнет.

Он встал с колен. Не утирая заплаканных глаз, пошел в дом. Бесшумно приблизившись к спальне брата, услышал его мольбу.

— Господи, Ты вытянул сейчас меня из омута житейской скверны... Вытяни оттуда и моего старшего брата Павла... Помоги нам вдвоем утешить нашу мать, чтобы она в дальнейшем думала о радостной жизни, а не о печальной смерти...

— Спасибо, братишка, за твою молитву, — прервал Петра Павел. — Посмотри на эти глаза. Видишь, что в них?.. Другие они или прежние?

— Другие, Павлик, а мои?

— Другие, Петя.

— А раз глаза другие, то и мы целиком другие, ведь глаза — зеркало души.

— Пойдем к маме... Она всё еще молится... Бедная... Как она устала с нами.

— Теперь она будет богатая.

Павел понял, какое богатство имел в виду младший брат.

Неслышными шагами они вместе вошли в комнату матери.

— Господи, наступает новый день, — молилась мать. — Что он принесет мне? Какое новое горе ожидает меня? Какую отраву преподнесут моей душе сыновья?

Дети молча опустились на колени рядом с матерью — Павел справа, Петр слева.

— Отравы больше не будет, — тихо произнес Павел.

— Прости нас, мама, — сказал со слезной дрожью в голосе Петр.

В первое мгновение матери показалось, что это галлюцинация, сновидение, бред... Ее сыновья рядом с нею на коленях?.. Кто их привел сюда? По чьей воле они преклонили колени?

— Это вы?.. Мои Павлик и Петя? — всё еще не веря своим глазам, спросила мать.

— Мы, мамочка...

— Будь уверена: это не привидения.

— Я всю ночь молился в саду, — сказал Павел, — а Петя в спальне... Ты воскресила нас, мамочка.

— Не я, а Господь.

— Да, да, чрез твою ночную молитву.

— Господи, — воскликнула мать, — какой Ты скорый помощник! Благодарю Тебя за спасение моих детей. Обильно благослови их в новой жизни... Призови их на Твою обширную ниву — не наблюдателями, не соглядатаями, а верными неустанными тружениками во славу Твою...

Мать остановилась. Она ждала. Ей хотелось, чтоб сыновья помолились в ее присутствии. Ждать пришлось недолго.

— Господи, — начал первый Петр, — прости меня за бесчинство в собрании, очисть меня от душевной грязи, которая накопилась в последние годы... Помоги мне начать новую жизнь по Твоим святым указаниям...

Слезы радости потекли из глаз матери:

— Сын мой... золотой мой... ненаглядный сынуля, милый мой мальчик... Всё даст тебе Господь — и что ты просишь и много-много сверх просимого...

Она обняла младшего, он обнял ее. Материнские и сыновние слезы смешались, это был дождь благодати, суливший богатый урожай.

— И я Тебя, Господи, прошу о том же, — начал Павел, — мне еще более стыдно за прошлое, чем Петру: я старший... Я был коноводом, зачинщиком многих мерзостей... Ты всё это видел, Господи, и, видя, терпел. О, как велико, как безгранично Твое терпение... Прости, Господи, меня недостойного, пусть, как мякина, улетят от меня безобразия, пороки, грехи... Господи, оставь только чистое зерно доброты, кротости, любви, смирения... Пусть мое желание —

радовать Тебя и нашу драгоценную маму — горит всегда неугасимым огнем... Не разлучай меня с нею, а ее — с нами обоими. Благодарю Тебя, Боже, за незабываемую ночь прозрения и за это утро нашей общей радости, посланной Тобою.

Теперь мать обнимала старшего:

— Павлуша... Павлик... сынок мой нежный... Кто в эту минуту во всем мире счастливее меня?

— Мамочка... мамулечка... мамуленочка, — как в далеком детстве повторяли сейчас оба сына слова любви, преданности и готовности на любую жертву. Вставши с колен, все, еще заплаканные, вышли в сад в тот момент, когда первые лучи солнца расцвели на верхушках деревьев.

— Начался новый день, — сказал радостно Петр.

— Началась новая жизнь, — добавил Павел.

— Для моих новых сыновей! — воскликнула счастливая мать.

1960 г.

ВАСЯ ШУМИЛИН

После своего обращения Вася Шумилин горел желанием всем и каждому свидетельствовать о том, что сделал Христос для его души. Это был еще довольно молодой одинокий человек по профессии парикмахер. В Европу его, как и многих, забросила война. Он пережил немецкий плен и тоскливую лагерную неопределенность, когда многие не знали, что с ними будет завтра. На родине он был колхозником и натерпелся всякой нужды. Парикмахерские способности проявились в нем с детства: каждого длинноволосого человека он хотел постричь, каждого взлохмаченного причесать и сделать покрасивее. В пятнадцать лет он был уже заправским парихмахером — на радость всего колхоза. Не расставаясь с ножницами, гребешком и бритвенными приспособлениями, он стриг и брил бесплатно всех желающих — в обеденные перерывы в поле, на току во время молотьбы, на мельнице в ожидании помола, в очередях возле потребилки, в лесу во время сбора валежника.

Идя в гости, он не забывал захватить с собою ножницы, гребенку и бритву. Если собиралась компания давно нестриженных, плохо причесанных людей с заросшими подбородками, Василий говорил:

— Ну, как мы сядем за стол такими страхоидолами? Давайте постригу и побрею всех зверообных.

Наведение красоты происходило посреди избы в холодное время и во дворе в летнюю пору.

Вася был всеобщим любимцем. В родном селе не было человека мужского пола, которому бы он не оказал парикмахерской услуги. Когда головы и лица колхозников бывали приведены в порядок, больше радовался парикмахер, чем его клиенты.

— Ну, вот, теперь вы стали похожи на людей, а не на «ведьмедей».

Сам он тщательно следил за своей внешностью, хотя на лицо был не ахти каким красавцем: нос приплюснутый, волосы рыжие, на розовых щеках крупные веснушки. Но магнитом Василия были глаза — темно-синие, доверчивые, открытые. Взглянув на них, можно было сразу сказать, что их обладатель не только никогда не обидит человека, но даже не тронет козявки.

Родился он в такое время, когда во всей округе на родине не осталось ни одной церкви. Бабушки у него не было, а у отца и матери, занятых колхозными работами, не оставалось свободной минуты, чтобы укрепить сына в религиозных истинах. Он знал только одно: всё сотворено Богом, Которого отвергает власть, уверяя, что мир произошел сам по-себе. Молитв он не знал, в церкви ни разу не был, случайно уцелевшие старенькие священники с длинными во-

лосами, казались ему странными существами, которых очень хотелось постричь и омолодить.

Врожденный талант цирюльника сослужил ему службу в лагере военнопленных: с разрешения начальства он открыл парикмахерскую и был освобожден от нарядов на тяжелые физические работы.

Возвращаться на родину в репатриационное время Василий не захотел, так как до него дошли слухи, что его родители погибли во время бомбардировки эшелона с беженцами, направлявшимися на восток. В немецком городке, где он очутился после войны, он открыл парикмахерскую, как только представилась к тому первая возможность.

О первом евангельском собрании он узнал от своих русских клиентов. Оно было назначено в беженском лагере на 7 часов вечера. Василий явился первым в лагерный барак, где должен был выступить евангельский проповедник, и занял место в первом ряду — против стола, покрытого белой скатертью. Народу собралось много. Проповедник, говоривший с армянским акцентом, был невысокого роста с густой седеющей шевелюрой.

— Не мешало бы его постричь, — подумал Василий.

Сначала было общее пение. Парикмахер сразу прослезился, когда все стройно запели:

«О, приди заблудший грешник, вот Иисус тебя зовет;
И, как всяких благ споспешник, радость в душу Он прольет.
Ты, что жаждешь очищенья, верь молись и радость в душу Он прольет,
О, приди, тебя Он ждет».

Потом спели еще два трогательных гимна. — Как хорошо, — думал Василий, — как будто поют не люди, а небесные ангелы.

Его синие, кроткие глаза не переставали сочиться

обильными слезами. Проповедник прочитал притчу о блудном сыне. Василий слышал ее впервые. Проповедь продолжалась целый час, но Василию этот час показался минутой. Жизнь пред ним предстала в совершенно новом свете. Только теперь он понял, что большинство людей — это грешные блудные сыновья, ушедшие от своего Отца. Благоразумные в тяжелый момент спохватываются и решают вернуться под Отчий кров. Упорные коснеют в грехе и в конце-концов погибают.

Когда проповедник предложил выйти вперед всем, кто считает себя «блудным сыном», Василий без всякого колебания первым подошел к столу и стал на колени. После него вышли и другие, всего человек двадцать. Молиться никто не умел. Василию очень хотелось сказать хоть несколько слов. Пусть это будут простые, корявые слова, но Бог по Своей доброте и милости не взыщет с него.

— Господи, — начал Василий, — Ты знаешь Сам, что ничего хорошего во мне нет. Я запылен и запачкан грехами. Похлещи меня Своим веником, как хлещутся люди в бане после работы, чтоб отпарилась с моей души вся нечисть, которая налипла... Я очень доволен, что познакомился с Тобою и теперь уж никогда не раззнакомлюсь. Ведь слепой я был, как крот, а теперь мои глаза открылись и охота всем рассказывать о Тебе, но я очень плохой говорун. Обтеши мои слова, чтоб люди слушали их, помоги мне наводить красоту не только на голове и на лице у людей, но и в их сердцах, которые заросли нестриженными волосами...

Безыскусственная молитва Василия растрогала проповедника, который решил, что из парикмахера будет толк на ниве Христовой. После собрания он долго беседовал с ним и пригласил на завтра к себе. Так началось духовное служение Василия Шумилина, сердце которого было переполнено любовью к Богу и горячим желанием сделать как можно больше для

славы Его. Всем и каждому парикмахер хотел свидетельствовать о том, какой светлой и счастливой стала его жизнь после того, как он отдал свое сердце Христу.

Одна досада была у Василия: он не умел говорить гладко, не был дальновидным сердцеведом, из-за чего иногда попадал в неприятные истории. Так однажды, желая обратить ко Христу своего клиента, сидевшего в кресле с намыленным для бритья подбородком, он спросил у него, беря в руки бритву:

— Думали ли вы когда-нибудь о смерти?

— А почему я должен о ней думать? — удивился в белой простыне на плечах человек.

— Потому, что смерть может наступить каждую минуту.

Выправляя на ремне бритву, он делал такие размашистые движения рукой, что невольно заронил страх в душу бреющегося и тот спросил у парикмахера:

— Но я думаю всё же, что смерть не наступит в то мгновение, когда у меня намылен подбородок?

— Как знать? Смерть может прийти в такой момент, когда ее не ждут и в таком месте, где о ней не думают.

— Какую смерть вы имеете в виду — естественную или насильственную.

— Я говорю, вообще, о смерти и вижу, что вы к ней совершенно не готовы... И напрасно: вам, милый человек, нужно подготовиться к ней немедленно!..

И тогда случилось то, чего никак не ожидал Василий: клиент рванулся с кресла к двери и с криком «Караул», ринулся в сторону полицейского поста.

— Бывают же на свете такие пугливые, — сказал в раздумье Василий, — ну, куда он помчался, как оглашенный?..

Через несколько минут клиент, уже с высохшим мылом на подбородке, но всё еще с простыней вокруг

шеи, вошел в парикмахерскую в сопровождении полицейского.

— Вот этот... хотел перерезать горло бритвой, — указал перепуганный человек на Василия.

— Да Боже меня упаси! Зачем мне губить человеческую душу, если я за свою жизнь не убил ни одной мухи? — взволнованно оправдывался Василий.

— Но вы уже замахнулись на него бритвой и сказали, чтобы он простился с жизнью, — сказал полицейский.

— Я говорил о том, что каждый человек должен подумать о своей смерти, чтоб подготовиться к ней.

— Зачем живому думать об этом? — удивился полицейский.

— Вот и вы ходите с закрытыми глазами по земным дорогам... Затем, чтобы очистить свою душу, открыть в ней дверь для Бога, и если придет смерть, то умереть безгрешным, чтоб попасть не в ад, а в рай... Об этом самом я хотел сказать своему клиенту, а он струсил, не дослушал и побежал за вами... Вы можете спросить обо мне, господин полицейский, у любого человека! «Обидел кого-нибудь Василий Шумилин словом или делом?» И все вам скажут: «никого». А чтоб человека чикнуть ножом по горлу — да разве это мыслимо? Садитесь, господин, в кресло: бесплатно вас побрею в присутствии господина полицейского... Вы не поняли меня, потому что язык у меня корявый, а душа совсем другая...

Клиент с опаской сел в кресло. Полицейский встал возле него, зорко наблюдая за движениями парикмахера. Брил он мягко, нежно, не переставая молиться про себя: «Господи, дай мне уменье — находить хорошие слова, чтоб люди не пугались меня и не убегали из парикмахерской за полицией».

Бог услышал настойчивые мольбы парикмахера и вскоре он стал прекрасным оратором. Его речи были только на духовные темы. Василия любили слушать старые и молодые. В результате его бесед заядлые

безбожники становились верующими, пьяницы — трезвенниками, развратные — чистыми, скупые — щедрыми, жестокие — милосердными. Всех возродившихся Василий стриг и брил бесплатно. Его мечта исполнилась: теперь он наводил красоту и на лице и в душе человеческой.

1960 г.

ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА

Она рассказывала и плакала. Ее не смущало то, что исповедь будет опубликована.

— Пусть все узнают, — говорила она, — до каких глубин падения может дойти человек и до каких вершин прозрения может подняться душа с помощью Божьей. Я родилась в культурной семье. Мой отец был генералом. Мать окончила Харьковский Институт благородных девиц. Брату Георгию было четырнадцать лет, мне — одиннадцать, когда в России вспыхнула революция. Мы жили в то время в Киеве. Я помню шумные демонстрации на Крещатике в мартовские дни семнадцатого года. На этой улице была наша комфортабельная квартира из десяти комнат. Отец и мать не ждали ничего хорошего от развернувшихся событий, но брата и меня захватила волна всеобщего воодушевления и, затерявшись в толпе демонстрантов, мы пели вместе со всеми, кричали «ура» и радостно размахивали руками. Красный бантик на моей груди умилял тех, которые знали, что я генеральская дочка. «Верочка не в отца», — говорили женщины и гладили меня по голове.

Весь мир знает, что последовало за короткой вспышкой радости и надежд. Разочарование, голод, насилия, всеобщее озверение, страх, зависть — вот что принес «октябрь» того же года. Отец был арестован и вскоре «ликвидирован». У нас конфисковали

всё имущество. Вскоре мы были изгнаны из квартиры. Как «бывшим», нам боялись дать приют даже те люди, с которыми мы поддерживали дружеские отношения до этого. На окраине города мы поселились втроем в крохотной комнате, которую нам уступил чахоточный сапожник. Не описать издевательств и унижений, которым подвергалась моя слабосильная, болезненная мать со стороны власть имущих. Ее посылали вместе с другими женщинами из аристократических семей на самые грязные работы: мыть полы в казармах, чистить загаженные уборные, разгружать уголь на железнодорожных станциях. Возвращаясь домой, изможденная, качающаяся от усталости, она слезно просила Бога о скорейшей смерти, думая, что тогда по отношению к ее детям-сиротам будет проявлена какая-то жалость со стороны водворившихся захватчиков власти. Недоедание стало нашим неотступным спутником. Поесть досыта — стало нашей мечтою. Мать отказывала себе во всем, чтобы мы не испытывали ужасов голода, но, зачастую, все ее усилия оказывались тщетными.

И брат и я посещали школу, которая называлась «трудовой». И преподавателям и учащимся было известно, что наш отец был царским генералом и расстрелян за контрреволюцию. Многие из сверстников презрительно называли нас «генеральскими выродками», «паршивой интеллигенцией», «недорезанными буржуями». Гражданская война на короткое время изменила наше положение к лучшему. Когда Киев был занят белой армией, мать получила хорошую службу в военном ведомстве. Из лачуги сапожника мы перебрались в хорошую квартиру. Меня и Георгия приняли во вновь открытую гимназию. Недавнее прошлое вспоминалось, как страшный сон. Хотелось верить, что он никогда не повторится... Но, как видно, у Творца свои планы в отношении нашей многострадальной планеты. Снова на город нагрянули красные. Мать в это время была больна тифом. Из-за этого мы

не могли эвакуироваться вместе с военным ведомством. Всё последующее было повторением первой поры красного режима: снова изгнание из квартиры, когда мать была еще очень слабой после перенесенной болезни, снова лишения, страх репрессий, издевательства, доносы, нищета...

Мне исполнилось четырнадцать лет. Я была хорошо сложена, по житейскому опыту казалась взрослой. На меня заглядывались мальчики более старшие по возрасту, чем я. Однажды я пожаловалась на голод ученику, который был на два года старше меня. Он сказал, что будет мне давать хлеба и сахару: его отец заведывал продовольственным складом. Но эта помощь юноши не была бескорыстной. Пообещав на мне жениться, как только мы станем совершеннолетними, он уже теперь стал склонять меня к сожительству, грозя, в случае моего несогласия, отказаться от поддержки хлебом и сахаром. Я уступила его настояниям со слезами отчаяния и безвыходности. Я продалась за кусок хлеба и щепотку сахарного песку. Я стала женщиной в четырнадцать лет. Забеременев, я поведала об этом своему соблазнителю. Он выругал меня нехорошими словами и сказал, что не хочет иметь никакого дела со мною. Я припугнула его разоблачением. «Тебе не сдобровать, когда твой отец-коммунист узнает об этом», — пригрозила я. Тогда он постарался сбыть меня своему товарищу, сыну известного врача. Этот уговорил отца — сделать мне аборт. За такую услугу он потребовал «вознаграждения», тоже пообещав жениться на мне. «Коготок увяз — всей птичке пропасть»... Я увязала всё больше. Ожесточаясь на жизнь, на людей, на судьбу, я катилась всё глубже в пропасть разврата. Я стала «притчей во языцех». В школе все узнали о моей податливости и о том, что я меняю «женихов», как носовые платки. Родители мальчиков, которые поочереди сожительствовали со мною, возбудили перед директором школы вопрос о моем исключении. — «Из-за этой дряни наши сыновья могут заболеть неизлечимой болезнью»... Я была вызвана на заседание подагогического совета. У меня спросили о всех моих «кавалерах». Зная, что это не кончится добром, я загорелась мстительным чувством и назвала по имени всех виновных. Их оказалось двенадцать. Это были дети видных партийных заправил нашего города. Отрицая связь со мною, они обливали меня потоками грязи и недостойного вымысла. На этом допросе в присутствии большинства моих совратителей была и моя мать. Ошеломленная развратом своей дочери, она не могла стоять перед сонмом допрашивающих педагогов и попросила разрешения сесть. Бедная моя мать! Что выпало на ее долю после института благородных девиц и счастливой пятнадцатилетней жизни с моим добрым отцом?..

Педагогический совет вынес единогласно постановление: «За аморальное поведение исключить Веру Кривенко из школы». — «Исключайте также всю дюжину моих «женихов», — крикнула я, — виноваты они, а не я!.. Меня толкнула на эту дорогу нищета... Я голодала, а все они бесились с жиру»...

— «Мы не нуждаемся в ваших уроках! Вы не имеете права чего-либо требовать!» — строго сказал директор школы-партиец. Разве мог он исключить детей своих товарищей по партии? Пострадала только я одна за всех.

Из школы мы вышли вместе с матерью.

— Иди, куда хочешь, — сказала она, — ты больше мне не дочь и не сестра Георгию!

Была февральская ночь — холодная, ветренная, с дождем и снегом. От голода кружилась голова. Куда идти? Где приклонить голову?.. Вспомнила о хорошем мальчике, сыне железнодорожного стрелочника. Он всегда жалел меня, ничего не требуя взамен. Пошла к нему, качаясь от голода и усталости. Была уверена, что он приютит, даст кусок хлеба, предложит ночлег. На несчастье встретилась с каким-то незна-

комым долговязым парнем. Услышав мое всхлипывание, он приблизился ко мне и участливо спросил, что случилось? Я поведала ему об изгнании из школы и о словах матери.

— Пойдем ко мне, — сказал он и взял меня под руку.

Его жилье оказалось поблизости: обычная холостяцкая, неприбранная комната. Нашлось кое-что из съестного: черствый хлеб, колбаса, селедка. Я набросилась на всё это, как голодный зверь... У «долговязого» я прожила полгода. Как и все мои прежние кавалеры, он обещал жениться на мне, но прогнал, приревновав к своему соседу вдовцу. Что делать? Ночью вышла на улицу, чтобы «клюнуть» на очередную приманку. К этому времени я уже научилась курить и пристрастилась к спиртным напиткам. С этой ночи я стала окончательно «пропащей»... Так наш народ называет гулящих девушек... Клиентов на улице было более, чем достаточно. Многие из них предлагали мне кратковременную дружбу, но я всем говорила, что пойду лишь к тому, кто оставит меня у себя на более или менее длительное сожительство. Так начались мои «гастроли» по квартирам одиноких мужчин, нуждавшихся в женских ласках.

Я сбилась со счета своих сожителей, я не вспоминала о матери и брате, я не знала, что меня ждет завтра... Последним моим кавалером был Володька, на редкость красивый парень, студент авиационной школы. Он взял меня к себе «с серьезными намерениями» и с первого же дня занялся моим перевоспитанием, убеждая не курить, не пить, не ругаться скверными извозчичьими словами. Но все пороки так властно завладели мною, что не в моих силах было — избавиться от них. Больше всего возмущала Володьку моя безобразная ругань и однажды, рассвирепев, он выгнал меня, как «безнадежно падшую»... Для меня это было большим горем: я любила этого хорошего молодого человека и думала, что он женится на

мне. В эту ночь я никого не искала. Усевшись на бульварную скамейку, я обливалась горькими слезами отчаяния и безвыходности... Хорошо еще, что время было летнее и я не страдала от холода. Не знаю, сколько времени я просидела в горьком одиночестве. Мимо шел мужчина высокого роста. Я стала громко всхлипывать. Шедший остановился, приблизился ко мне.

— Чего распустила нюни? — спросил он добродушно-грубоватым голосом.

— Негде ночевать, — пожаловалась я.

— А где ж ты ночевала вчера?

— У Володьки, но он прогнал меня.

— Тогда пойдем ко мне.

— Я устала...

— Моя квартира за углом. Когда придем, говори тише, чтобы не разбудить мать.

Через несколько минут мы поднялись на третий этаж большого каменного дома. Незнакомец, назвав себя Василием, ввел в свою комнату. Я попросила чего-нибудь поесть. Он принес из кухни пирожков с картошкой. Когда я утолила голод, он сказал:

— Сейчас ты примешь ванну. Так как в колонке нет горячей воды, я согрею воду в большой кастрюле на примусе.

Двигался он неслышными шагами, говорил тихо. Это был интересный молодой человек с орлиным носом и вьющимися светлыми волосами. В его голубых глазах я почувствовала неподдельную доброту и горячее желание — придти мне на помощь. Пока согревалась вода, он достал из корзины свою длинную ночную рубашку.

— В этой рубашке ты будешь спать.

Он застелил кровать чистым бельем. Другую постель приготовил на диване. Я не понимала, зачем он это делает: разве тесно будет вдвоем на довольно широкой кровати?

Когда я помылась и облачилась в длинную рубашку, он сказал:

— Ложись. Я буду спать на диване.

— Я не привыкла спать в одиночестве.

— Привыкай! — сказал он властным голосом.

— Ты брезгуешь мною?

— Я привел тебя сюда не для того, чтобы воспользоваться твоей безвыходностью. Ты говорила, что тебе негде ночевать и я посочувствовал тебе. Рано утром я должен пойти на работу, а ты спи, пока не выспишься. Утром тебя покормит и попоит моя мать. Держи себя с нею поприличнее.

Мы улеглись на разных постелях. Я ничего не могла понять: молодой, красивый, обаятельный человек не хочет воспользоваться присутствием женщины... Что бы это значило? Может быть я не в его вкусе? Может быть он заметил во мне какой-то изъян?.. Ночью я пришла к нему, но он сердито прогнал меня. Тогда я решила: «Или святой, или чудак, или не мужчина»... Я не допускала мысли, что в наше страшное время могут быть порядочные, благородные, целомудренные люди.

В десять часов, одевшись, я вышла в кухню, где встретилась с седой строгой женщиной, похожей на Василия.

— Здравствуйте, старушка, Божий цветочек, — сказала я развязным тоном.

Неприязненно взглянув на меня, она спросила:

— Как ты очутилась в этом доме?

— Меня сюда привел ваш сын.

— Отпетый... безнравственный мальчишка, путается с каждой гулящей тварью, — заплакала старушка.

— Что я гулящая тварь, не отрицаю, но относительно вашего сына вы жестоко ошибаетесь. Это единственный молодой человек с чистым сердцем. Я знаю людей... О, как я их знаю... А ваш сын даже не

прикоснулся ко мне. Только человеколюбие руководило им, когда он вел меня в этот дом на ночлег.

На строгом лице седой женщины появилась человеческая мягкость. Ей стало неловко за свои резкие слова. Молча она приготовила завтрак. Села неподалеку от меня. Когда я поела, она повела меня в свою комнату и предложила сесть на стул против старого кресла, в которое уселать сама.

— Как ты стала такой?.. Из какой ты семьи?.. Сколько лет... страдаешь?

Меня тронуло слово «страдаешь», которое она сказала после длительной паузы. Я рассказала ей всё с самого начала — со счастливой жизни в генеральской семье и до последней ночи со всхлипываниями на бульварной скамейке. Слушая меня, старушка несколько раз принималась плакать, а когда я закончила свою грустную повесть, она взяла мою голову и, положив на свои колени, стала целовать ее, приговаривая:

— Милая... несчастная... раздавленная птичка... разбитое, кровоточащее сердце... Мой сын позаботится о твоей судьбе, мы не бросим тебя...

Вернувшийся со службы Василий был очень доволен, что его мать прониклась жалостью ко мне. Я влюбилась в благородного молодого человека и с радостью вышла бы за него замуж, но он сказал, что женится только после отбытия срока в красной армии. Днем он переговорил со своим приятелем, который заведывал курсами машинописи.

— Через шесть месяцев вы, Вера, можете стать машинисткой в каком-нибудь высоком учреждении.

— А где я буду жить в эти шесть месяцев?

— Я поговорю с вашими родственниками: матерью и братом.

— Они не позволят мне переступить через их порог.

— Постараюсь, чтоб не только позволили, но и оставили у себя.

Трудная это была задача, но Вася (так теперь я звала моего нечаянного друга) растопил два ожесточившихся, окаменевших сердца и я поселилась вместе с той, которая три с половиной года тому назад сказала, что она больше не мать мне.

Я усердно принялась за изучение машинописи. Заведующий хвалил меня перед всем классом, пророча хорошую будущность. Но неожиданно для меня на курсы поступила одна особа, которая знала мое прошлое. Она всем раззвонила, кто я такая — и все стали смотреть на меня с презрением, избегая пожатия руки и поклонов. Это так обозлило меня, что с моего языка стали срываться непристойные слова, коробящие слух непривычных людей. За безнравственное поведение меня исключили с курсов после четырехмесячного пребывания на них. Что делать? У кого искать поддержки? Пошла к Васе.

— Вы единственный мой друг. Посоветуйте что-нибудь, чтобы снова не очутиться на улице.

Крепко призадумался Вася. Загрустила его добрая мать. Неужели нет выхода?.. Меня оставили пообедать. Перед обедом мать Васи в молитве просила Бога — устроить мою жизнь. Меня удивила и обрадовала эта, никем и нигде не записанная молитва, каждое слово которой изливалось из глубин любящей души. После обеда Вася сказал:

— Вера, по молитве мамы Бог устроит твою судьбу. Сейчас я еду в одно место относительно тебя. Молись и ты, чтоб после многих кораблекрушений твоя душа нашла покой в тихой пристани.

— Я не умею молиться.

— Для молитвы не нужно уменья. Когда ты голодна, ты просишь, чтоб тебя покормили? Вот так же проси Бога п о своей нужде.

— Я такая ужасная, что Он не захочет слушать моей молитвы.

Тут вступила в разговор мать Васи:

— Для таких, как ты, Христос сошел на землю и

принял крестные муки... Не здоровые, а больные нуждаются во враче... Бог любит молящихся, кающихся грешников.

Вася уехал по моему делу, а его мать продолжала со мною беседу о Божьем долготерпении и любви к падшим, которые жаждут новой жизни. Мне были приятны эти речи. Нежностью и теплом веяло от них. Часа через четыре вернулся Вася.

— Ура! — крикнул он, войдя в дом. — Тебя берет в свой дом мой хороший знакомый, Евгений Иваныч Рогов, недавно похоронивший жену. У него трое прелестных детей: мальчики девяти и четырех лет и шестилетняя девочка. Ты, Вера, заменишь им мать. Уверен, что ты полюбишь их, а они полюбят тебя. Их отец женится на тебе, если увидит твою порядочность... Что ты думаешь об этом?

— Быть матерью сразу троих?.. Это весьма заманчиво...

В тот же вечер он отвез меня в эту семью. Дети, действительно, были прелестные и сразу прильнули ко мне, как к родной матери.

— Дядя Вася сказал, что вы будете нашей мамой... Это правда? — спросила девочка.

— А вы хотите?

— Да! Хотим! — запрыгали они возле меня.

Их отцу было под тридцать. По профессии он был электросварщик на железной дороге. Темные глаза светились добротой и доверием.

— А захочет ли папа, чтоб я стала вашей мамой?

— Захочет! Папа, ведь захочешь?

— Как же мне не захотеть, если хотите вы?.. Вас же большинство...

С того вечера я осталась в этом доме, который стал моим домом. Сначала я жила здесь на правах экономки и воспитательницы. Через два года Евгений Иваныч женился на мне, на радость детей, которых я полюбила всем сердцем. Ни одного слова упрека не сорва-

лось с языка мужа по адресу моего прошлого. А из моего словаря навсегда исчезли все слова, которые могли бы огорчить его.

В третью годовщину нашей совместной жизни мы были приглашены на евангельское собрание по случаю приезда известного благовестника. Пригласила нас мать Василия, сказав, что если мы не воспользуемся таким редким случаем, то потеряем очень много. Мы взяли с собой детей. Я впервые очутилась на таком многолюдном собрании. Люди входившие в зал были сосредоточенно серьезны. Меня удивило и обрадовало общее пение, которым управлял молодой человек. Не зная слов, я всё-таки пела. Мне казалось, что все собравшиеся соединились в один поток радости и счастья и я чувствовала себя капелькой этой светлой реки. Муж был рад, как и я: это чувствовалось по его глазам. Пел он, пели дети. Что-то необычное входило в мою душу и умиляло ее до слез. После песнопения было предложено спеть стоя еще одну духовную песню, которая особенно понравилась мне:

В горнем ущелье укройся,
Ты, изнуренный трудом,
Кровью Христовой омойся,
Ты, истомленный грехом.
Душу теснит искуситель,
Зов твой услышит Спаситель,
Он всемогущий Хранитель,
О, ты, истомленный грехом.

Верной защитой он будет,
Бремя твое понесет,
Он никогда не забудет,
Слезы с очей Сам отрет.
Видит твои Он скитанья,
Все удалит воздыханья,
Плач прекратит и стенанье,
Все слезы с очей Сам отрет.

Напев был грустный, сверлящий душу. Я сразу заплакала, не стыдясь этого. К кафедре подошел проповедник. Он был уже немолодой, с сединой на висках, высокого роста. Его голос звучал молодо, уверенно, тепло. Он приветствовал всех собравшихся словами, которые сказал Христос ученикам, впервые явившись им после воскресения:

— Мир вам!

Все собравшиеся ответили:

— С миром принимаем!

После этого проповедник прочитал:

«Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему: Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. (Иоанна 8:1-11).

Слушая это, я вспоминала свое недавнее прошлое. Может быть эта женщина, как я, утратила свою нравственную чистоту из-за того, что была голодна?

— А все мы — разве не грешим?.. — спросил проповедник. — Если не грехом прелюбодеяния, то многими другими грехами? Согрешившую женщину схватили фарисеи и повели на суд ко Христу. А разве чувство раскаяния не хватало нас так же крепко и не вело нас на суд нашей совести? Христос проявил милость к несчастной, но как часто наша совесть была неумолимой по отношению к нам! «И Я не осуждаю тебя», — сказал Спаситель. Но совесть нередко выносила нам обвинительный приговор: «Виновен... виновна... и не заслуживаешь снисхождения»... Мы метались, как мечется раненая птица, мы страдали, как страдает подстреленный зверь, мы извивались, как черви, нанизанные на удочку. Наше отчаяние бывало таким мрачным и всеохватывающим, что мы иногда в таких случаях не видели иного выхода, кроме забвения в самоуничтожении, забывая о грядущих мучениях в вечности. Блаженными в эти минуты были те из нас, которые вспоминали, что кроме неумолимого суда совести, есть другой суд — милующий суд любви Христовой. Все могут позабыть нас — отец, мать, братья, сестры, близкие друзья, которые когда-то клялись нам в верности и преданности, но не забудет Он; все могут осудить нас и только Он найдет возможность для нашего оправдания; все оттолкнут нас, отпихнут ногою, как раздавленную мышь, и только Он привлечет нас к своей раненой копьем груди, привлечет, как драгоценность, как бессмертную душу для вечного блаженства в райских обителях. Его милосердие безгранично, Его любовь непостижима человеческим умом. Его желание — спасать грешников — свято, постоянно и неизменно. Вот и сейчас Он зовет всех потерпевших кораблекрушение своей жизни, всех, кого тяготят соделанные грехи, всех, пред взорами которых предстают воспоминания о прошлой, недостойной, грязной, преступной жизни... Идите сюда, сложите бремя грехов к Его ногам, освободитесь от непосильной ноши, которая лишает вас радости!..

И люди пошли на этот призыв. И я среди них — одной из первых... Пошел муж вместе с детьми... Пошли сотни других... У всех на глазах были слезы. Эти слезные ручьи смывали грязь с сердец и сулили каждому неземное блаженство. Проповедник помолился о нас, а потом всех поздравил с решением — следовать отныне только за Христом.

Если б я обладала литературным талантом, какую бы потрясающую книгу я написала о себе. То, что я рассказала сейчас, лишь малая крупица из того большого вороха, который называется жизнью.

После того памятного собрания у нас началась новая жизнь — еще более счастливая, чем в предыдущие три года. Мы стали каждое воскресенье посещать собрания и вскоре приняли крещение по вере. Перед погружением в воду я сказала свидетельство о себе, о своей прошлой недостойной жизни. Многие из собравшихся плакали. — Братья и сестры, — спрашивала я у всех, — да я ли это? Неужели на этом месте стоит женщина, которая была воплощением всего мерзкого, нечистого, греховного, порочного, кошмарно-безнадежного? О, как милостив и долготерпелив ко мне Спаситель! Чем я отплачу Ему за эту жалость, внимание, ласку, любовь? Нет во мне никаких талантов и способностей... Я могу только всем и каждому свидетельствовать о Его кротости, смирении, о Его целительной любви ко всем гибнущим и отчаявшимся...

На этом собрании присутствовали моя мать и брат. Вскоре и они приняли Христа в свое сердце.

Что сказать еще? Счастье на земле возможно и счастье это лишь со Христом и во Христе.

1960 г.

ОРЕЛ НА ЛЬДИНЕ

Уже несколько дней над горами гудел осенний ураган. Дождевые струи хлестали землю, как острые плети. Надрывно скрипели оголенные деревья по склонам вершин. Звери попрятались в норах, птицы в потаенных местах. Орлиное гнездо смыли стремительные потоки. Орлица была убита молнией, необычной в это время года. Тоскующий орел не мог найти себе никакой поживы. Голод терзал его внутренности и обессиливал крылья, еще так недавно преодолевавшие любые стихии. И тогда он решил опуститься в какую нибудь долину, или на какое-нибудь поле... Теперь он был рад зазевавшейся вороне или робкой полевой мыши. Все несчастья нагрянули на него одновременно: свирепый шторм, гибель многолетней подруги-спутницы и неумолимый, сосущий голод. Впервые за долгие годы он почувствовал себя не царем воздуха, а никому ненужным беспризорником... Прощайте, горные вершины, недоступные человеку! Он летит вниз, надеясь там обрести возможность для спасения драгоценной жизни!..

Всё ближе земля. До него уже доносится монотонный шум угрюмого бора и плеск речных струй. Большие и малые льдины, задевая друг друга, с шуршанием и хрустом плывут на запад. На одной из самых огромных он видит что-то живое, шевелящееся, тщетно пытающееся подняться... Заяц! Как он попал на льдину? Почему его движения так судорожны? Кто накапал возле него ярко-красных пятен?..

Если б орел был человеком, он догадался бы, что заяц был подстрелен в тот момент, когда лед на реке начал трескаться, увлекаемый стремительным течением... Как хорошо, что это теплокровное существо еще живо!.. Клюв и когти впиваются одновременно в истекающего кровью. О, какое это неизъяснимое блаженство — чувствовать, что находка в твоей власти и сейчас кусок за куском будут наполнять чрево, утоляя

многодневный голод! С чего начать? Что самое вкусное в зайце? Глаза. Орел глубоко впивается сначала в правую глазницу. Густая кровь каплет с заалевшего клюва. Заяц испускает последний предсмертный хрип, похожий на детский плач. Проглочен и второй глаз. Хорошо! Аппетитно! Теперь нужно добраться до сердца! Пушинки заячьей шерсти, вспархивая над льдиной, улетают вниз по течению реки. Сердце даже вкуснее глаз: оно еще теплое, почти горячее. Давно не лакомился таким обедом орел. Обычно, ему нужно было делить добычу с орлицей, предоставляя ей первенство в выборе самых сочных кусков. Теперь не нужно делиться ни с кем. Заяц большой, но орел слишком долго постился, чтобы какую-то часть оставить на льдине или унести с собой. Куда ему лететь, когда гнездо развеяно неумолимым штормом? У птицы сейчас два удовольствия: пожирать добычу и отдыхать на движущейся льдине. Кругом треск, шорох, скрипение, звон, плеск... Эта музыка увеличивает аппетит. Больше половины зайца уже съедено... Опьянев от радости насыщения, орел не замечает резкого ветра, не чувствует, как его ноги всё крепче затягиваются льдом, он не слышит нарастающего зловещего шума... Может быть взмахнуть крыльями и подняться в высь? Но заяц еще не уничтожен целиком, еще так много мяса возле задних лапок... Судьба не всегда так благосклонна к царственной птице. Пировать так пировать! Тому, кто умеет парить под облаками, никогда не поздно расправить отдохнувшие крылья.

— Орел! Орел! — раздается крик на берегу, — сейчас он низвергнется в водопад!

Увидев толпу, услышав необычные крики и рев стихии, орел широко взмахнул крыльями, но его ноги были крепко скованы. Испуганный клекот долетел до берега. Всем стало жалко величественной птицы, попавшей в ловушку. Веревочными лассо кое-кто пытался притянуть льдину, но она плыла слишком далеко

от берега. Теперь орел знал, что убыстряющееся течение несет его к водопаду. Приближалась непредвиденная гибель. Тот, кто парил в недосягаемых заоблачных высях, из-за телесного голода должен умереть позорной смертью на виду толпы... Дети свистели, улюлюкали, женщины удивлялись... Кто-то сказал:

— Какой несообразительный, а еще орел!..

Но большинство всё же сочувствовало птице в эти последние мгновения жизни.

Вода вместе с льдинами низвергалась с огромной высоты. При падении лед с хрустом раздроблялся и, зарывшись в бурлящей пене, дальше плыл мелкими осколками, наподобие белой кашицы.

Зрители замерли:

— Сейчас! Сейчас!

Черной искрой мелькнул он в пенящихся потоках.

— Бедный! Неужели утонул?

Но вот вдали показалось что-то темное, разорванное, как лохмотья человеческой одежды. Крылья напоминали рукава пальто, которое уже никто, никогда не наденет.

Долго обменивались люди впечатлениями по поводу гибели орла:

— Вероятно голод загнал его на льдину и притупил сознание опасности...

— Да, жителю горных вершин не подобает опускаться вниз, где подстерегают несчастья более страшные, чем грозы, ветры и дождевые потоки!..

Послесловие

Дорогой читатель, поглощенный стяжанием! Задумайся над судьбою птицы. Спроси у самого себя: «Не я ли этот несчастный орел?» И совесть ответит: «Да, это ты! Напуганный временными грозами духовных вершин и несчастьями в твоей семье, ты решил пренебречь свободой, высшими радостями и царственными возможностями. Лукавый подбросил на твоем пути лакомый кусок мяса — и ты так увлекся его поглощением, что забыл о всех опасностях для души. Поднимись, пока не поздно! Расправь крылья! Лети в высь! Помышляй о горнем, или тебе не миновать гибели в пучине! Пока не упущен момент для спасения, немедленно воспользуйся им!»

1960 г.

ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

Каждый человек может стать чудотворцем.

Что нужно для этого?

Вера — хотя бы с горчичное зерно. Но если эта вера огромна, как исполинская гора и беспредельна, как лазурное море, пред человеческим желанием рушатся все преграды и невозможное становится возможным.

В молодости я был нежно влюблен в молодую женщину, собираясь сделать ей предложение. Ее звали Надеждой. Внешностью она походила на библейскую Руфь, как изображают последнюю на картинах: с большими чарующими глазами, стройная, обаятельная, скромная. У нее был бархатистый голос, притягивающая улыбка, матовая кожа лица. По доброте и простоте не было ей равных. Одним искренним словом она могла успокоить взволнованного, огорченного, что-то утратившего человека. Она была источником моей радости и вдохновительницей в творчестве.

Мы очень редко виделись с нею, потому что были разделены большим расстоянием. И вот однажды, в компании друзей, я поехал к ней, чтобы провести несколько часов в приятном разговоре. Но когда мы с шумными восклицаниями приблизились к дому, где она жила, к нам выбежала ее младшая сестра и, прикладывая палец к губам, тихо сказала:

— Надя очень больна уже третий день... от нестерпимой головной боли не может открыть глаз...

Опечаленные и притихшие мы вошли в дом, где на широкой кровати лежала больная, похожая на труп. На смертельно бледном лице выделялся болезненный румянец. Она с трудом открыла глаза, попыталась улыбнуться, но вместо улыбки тихо заплакала.

Мое сердце сжалось от боли, но в то же мгновение в нем вспыхнуло желание — исцелить несчастную. Я не обладал ничем, кроме любви. Как всем любящим, мне казалось, что моему чувству нет равного в мире. Я слышал с детства на уроках Закона Божия, что вера творит чудеса, что по вере можно двигать горами. Такой верой наполнилась моя душа в эти минуты и я сказал в присутствии гостей без малейшего колебания:

— Через 15 минут Надежда Михайловна будет здоровой! Заметьте время!

— Без четверти два.

— Ровно в два она встанет с постели!

Я вышел в сад, склонил колени и обратившись лицом к востоку, начал молиться. Моя молитва состояла из прошений с уверенностью, что Бог откликнется на мольбу. Я заранее благодарил Творца за милость и радость, которую через несколько минут все мы будем переживать. За две минуты до двух я вошел в дом. Больная лежала с открытыми глазами, в которых уже не было слез. Сестра и друзья с сомнением посмотрели на меня и я проникся жалостью к ним за их маловерие.

— Через полторы минуты! — сказал я.

Кое-кто не мог сдержать улыбки.

— Через минуту!

Душа моя была полна священного трепета.

— Через полминуты!

Сидевшие гости, приподнявшись со своих мест, окружили меня, вероятно приготовившись осмеять «исцелителя».

— Смотрите, она поднимается!

И действительно, ровно в два часа, сбросив с себя одеяло, больная опустила ноги с кровати и осветив собравшихся своей чарующей улыбкой, сказала:

— А ведь я действительно здорова!.. Спасибо вам, дорогой друг.

Я подал ей руку и она прошла к дивану.

— Как это мило с вашей стороны, что вы решили навестить меня... Танюша, ставь самовар и накрывай на стол, а я пойду переоденусь, чтоб не походить на больную.

Обе сестры вышли из комнаты. Друзья, с которыми я приехал вместе, удивляясь, называли меня колдуном, магом, волшебником, но это не было ни колдовством, ни магией, ни волшебством. Молодая женщина была исцелена Богом по моей вере, которой были чужды сомнения, колебания и страхи.

1960 г.

СЕСТРЕ МАТРЕНЕ

Письмо от сестры — и в душе загорается свет.
Оно долетело с других отдаленных планет.

Когда-то я жил там, бродил по лесам и лугам.
В весеннюю пору пернатых был радостен гам.

Тропинки, дороги бежали до края земли,
И сердцу казалось, что жизнь интересней вдали.

И Бог меня позже с родною землей разлучил,
Провел через трупы и сонмы безвестных могил.

Тоску и невзгоду послал Он на долю мою,
Но сердце оставил подобным, как встарь, соловью.

Оно, как и прежде, мечтает, рыдает, поет —
И песням внимает оставшийся русским народ.

Но русских всё меньше от родины милой вдали,
Родных не привозят в чужие края корабли.

И сестрины письма, как доброго солнца лучи.
Лечи меня ими, сестра дорогая, лечи.

Ужели всё в прошлом — просторы лугов и полей?
О сердце, слезу без стесненья, как в детстве, пролей.

О сердце, припомни лесные тропинки, холмы,
Когда безмятежными были под солнышком мы.

Когда не пугали нас страшные вьюги зимой,
Когда, как птенцы, мы спешили с надеждой домой.

О, как мы любили отца и родимую мать!
Кто мог, как они, приласкать нас, утешить, понять?

Они не скупились нам кротость и нежность дарить.
Я мог бы об этом весь день и всю ночь говорить.

Пиши, дорогая, любимая, чаще пиши,
Все строки твои, как бальзам для болящей души.

1961 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРЕЖИТОЕ

УРОКИ ЖИЗНИ

(Повесть)

1. Решение состоялось

Мне было восемь лет. Я еще не ходил в школу. За год до этого выдали замуж старшую сестру, красавицу Татьяну. Муж ее был маляром и жестянщиком. Вышла она за него не по любви, а из-за страха — остаться старой девой. Сватать ее стали рано. До девятнадцати лет от богатых и бедных женихов не было отбою. Но она всем отказывала. Когда ей пошел двадцатый год, женихи поредели. Вот тогда-то и явился неведомый маляр, красивый, рослый плечистый парень, которого почти никто не знал в нашем селе. Вскоре после свадьбы они уехали в Самару. После этого всех односельчан, едущих в город, мои родители просили:

— Зайдите к нашей дочери, передайте гостинчик.

— А где она живет?

— На Соборной, второй дом от Полевой. Из их окна видно Волгу. Слышно, как «кугучат» пароходы. Сядете на конку возле вокзала, проедете через весь город по Садовой до городской больницы, а оттуда шагайте прямо к Волге. Как увидите Соборную, свер-

ните налево. В первый дом не заходите, они живут во втором. Дом снизу кирпичный, сверху деревянный выкрашен зеленой краской. Перед домом желтая узенькая скамеечка. Фамилия хозяев — Медведевы. Найти очень просто...

Я часто слышал об этом и мне стало казаться, что легко мог бы разыскать квартиру сестры, если б очутился в Самаре.

— Почему бы тебе не проведать Татьяну? — спросил у меня в хорошую минуту отец.

— Одному?

— Знамо дело.

— Меня могут там избить.

— За что? Если ты не будешь никого трогать, не тронут и тебя.

— Драчуны на это не глядят. Я не трогаю Ваську Конопатого, а он всегда лезет с кулаками.

— Самара — не деревня, там люди понимающие. Да и кто тебя будет задирать, если ты поедешь на конке до самой больницы? Оттуда видно Волгу и ты пойдешь прямо к ней. На Соборной всякий мальчишка скажет тебе, где дом Медведевых.

Решено было обсудить с моими старшими братьями: отпускать Родьку в Самару одного, иль найти ему попутчика?

— Парнишка он смышленый, пускай едет один. Говорят, язык даже до Киева доводит, а до Самары только сто верст.

Итак, вопрос был решен положительно. Проводить меня решили в субботу утром. Накануне приготовили гостинцы для сестры: в мешок насыпали пшеничной муки, в большой жестяной чайник наложили свежих сырых яиц, пересыпав их отрубями.

— Не тяжело ли это для восьмилетнего? — спросил брат Тимошка.

— Через плечо нести будет не тяжко, да и нести-то почти не придется: от вокзала до конки — шагов

двадцать, а от больницы до Соборной не больше двухсот.

Так рассудили отец и мать. Я попробовал поднять ношу на правое плечо. Не очень легко, но если поднатужиться, то можно донести. Правда, для восьмилетнего я был очень мал ростом и мне часто давали не больше пяти. Это всегда смущало меня: люди могли подумать, что я карлик.

Накануне моего отъезда ужинали на дворе, расстелив рядно прямо по земле. В доме было много мух, которые гудели и мешали есть: пока несешь ложку от чашки ко рту, левой рукой нужно отгонять черных надоедниц. Я любил ужинать во дворе, но не умел сидеть «по-татарски», поджав под себя ноги калачиком. Все четырнадцать человек ели из одной чашки. Кто сидел подальше, тем приходилось тянуться. На ужин была только что сваренная постная лапша, с зеленым конопляным маслом и крутая каша из полбы. Я очень ее любил. Она была особенно вкусной, когда в нее клали коровьего топленого масла. Но ничего скоромного по пятницам не давали даже малышам.

Разговор во время ужина был о моей завтрашней поездке.

— Не подгадь, — говорил старший женатый брат Павел, — утри всем нос, которые боятся отойти от своего села на сто шагов.

Мать побаивалась за меня. Отец, смеясь, говорил:

— Не пропадет!

Семилетний племянник Ванька, завидуя мне, плакал.

— Сначала просуши свой нос, а потом загадывай о Самаре, — насмешливо заметила его мачеха, вторая жена Павла.

— Буду молиться о тебе, — говорила мать, — да и сам ты уповай на Бога, чтоб никакое зло не приключилось с тобою в дороге.

Всегда серьезная бабка Матрена после ужина повесила мне на шею что-то зашитое в тряпочку.

— Что это?

— Псалом... девяностый... для охраны...

После ужина большинство улеглось спать на «лопасе». Так назывался соломенный плоский навес над средним двором. Там не беспокоили клопы, блохи и тараканы. Оттуда хорошо были видны звезды и месяц. Под навесом по-человечьи кашляли овцы. За дворами другой стороны улицы, возле озера, щелкали соловьи.

— Почему им нравится петь по ночам? — думал я. Решил, что они завидуют деревенским девкам и парням, которые тоже не спят и поют протяжные песни про любовь.

— Наташка Локтионова выводит... ну, и голосина! — восторженно сказал отец.

— Спи и другим не мешай, — тихо заметила мать.

— Словно ты никогда не была девкой и не певала до утренней зари... Ведь за песни-то я и женился на тебе... Иль всё давно вылетело из головы и из сердца?

— Какой ты чудной. Любишь песни, слезай с лопаса и шагай к молодым. Ведь не один ты тут... Люди спать хотят.

— Спать... спать, — с насмешкой протянул отец, но не договорив, замолчал, зная, что никто не поймет его.

Я лежал на спине и смотрел на небо, всегда удивлявшее меня бесчисленностью и отдаленностью звезд. У некоторых были короткие лучики, похожие на золотые иголки. Эти звезды дрожали, как будто пытаясь вспорхнуть и спуститься на землю. Некоторым это удавалось: они падали, оставляя на мгновение след в ночном летнем полумраке, но ни одна не скатилась на наш плоский навес. Приближаясь к земле, они казались потухающими искрами.

Со станции слышался то нарастающий, то затихающий гул поездов. Мне казалось, что я слышу даже, как паровоз со свистом выпускает пар во время

остановки. Через несколько минут, дав протяжный гудок, поезд шел дальше. Сначала шум от него был сильный, как будто рядом. Постепенно затихая, он умирал для слуха. Мой завтра будет стучать так же, но никто не будет прислушиваться к нему. А как бы хотелось, чтоб кто-нибудь сказал:

— В этом поезде Родька едет в Самару в гости к Татьяне.

2. Товарный поезд

Отец проснулся чуть свет. Слегка толкнул меня в бок.

— Спишь?

— Нет.

В субботу молоко есть не грех и мать налила мне полную суповую чашку. Я накрошил вчерашнего мягкого хлеба. Мне всегда казалось, что лучше молока нет еды на свете, особенно, если с него не сняты желтые, густые сливки. По случаю моего отъезда и потому что никто не видел, мать налила мне молока из верхней чашки горшка, не размешивая.

— Получше наедайся, а то Бог знает, что может случиться.

Чувствовалось, что какая-то тревога охватила ее в эти последние минуты.

— Может быть останешься дома? — спросила она, когда в телегу уже был впряжен Гнедой — любимая всей семьей лошадь — смирная, умная, добрая, с белым пятном на лбу.

— Что решено, то не отменяется, — ответил за меня отец, — садись.

В телегу было положено свежее сено, пахнущее клубникой. На сено набросили рядно. Мать помолилась на церковь, видневшуюся из-за домов.

— Ну, храни тебя Господь.

Она открыла ворота. Сев на край телеги, отец шевельнул вожжами. Выехали бесшумно: колеса были хорошо смазаны густым дегтем накануне.

Не закрывая ворот, мать остановилась у калитки. Улица села длинная, прямая. Отъехали уже далеко. Я оглянулся. Стоит. Вероятно плачет. Это была ее первая разлука со мною. До поворота в переулок оглянулся еще раз. Очертания лица матери были уже незаметны, виден был только темно-лиловый сарафан, сливавшийся с калиткой.

— Мама всё стоит...

— Ох, уж эти мне бабы, — сказал со вздохом отец.

За селом дорога сначала шла зелеными лугами со множеством цветов и с бабочками, порхавшими над ними, потом нас обступил с двух сторон густой лиственный лес, пропитанный ароматом ландышей. Проехали над бурлящей плотиной через Самарку. За нею была механическая мельница купца Прохорова. Семиэтажный кирпичный «корпус» был наполнен шумом, шорохами, шипеньем, свистом. К нему подходила ветка железной дороги. Сновали запыленные мукой рабочие. Поодаль от корпуса, в красивом саду со множеством фруктовых деревьев и цветочных клумб, обнесенном голубой оградой, блестел большими зеркальными стеклами дом Прохорова с башенками, шпилями и всевозможными украшениями. Попасть когда-нибудь в него — было моим заветным желанием. Всю семью Прохорова — его самого низкорослого, невзрачного, красивую жену, двух дочерей и двух сыновей я часто встречал в нашей сельской церкви. Они занимали место впереди, возле левого клироса. Я становился позади них. Долгая воскресная служба не утомляла меня, потому что наряды купеческих детей и самой купчихи, запах, исходивший от всех них, их шляпы, манеры, благородная осанка — всё заставляло меня забывать об окружающем. Они казались мне людьми иной жизни, иного мира, я благоговел перед ними, готов был молиться на них. В наше село они приезжали в красивом экипаже, запряженном тройкой белых коней. Незабываем был момент их

отъезда от церковной ограды. Белая вуаль на шляпах девушек, белые гривы и хвосты лошадей, белые платья и черные мелькающие спицы колес — всё было удивительно, сказочно, необычно для мальчика из деревенской избы.

В Страстной четверг, на 12 Евангелиях, они держали в руках белые толстые свечи, перевитые наискосок золотой полоской. Моя свечечка была тоненькая, желтая, жалкая, двухкопеечная. Чтоб хватило на всю службу, я зажигал ее позже всех и поспешно тушил раньше остальных после каждого Евангелия.

Когда мы очутились на мельнице, я спросил у отца, почему одни люди богатые, а другие бедные? И почему богатых мало, а бедных много?

— Заковыристая это задача, — сказал отец, — не нашим мозгам ее решить... Одно могу сказать: не всегда богатство добывается умом и добрыми делами. Кто похитрее да побессовестней, кто не чист на руку и глаз, тот и богаче... «От трудов праведных не наживешь палат каменных»... Не советую тебе завидовать богачам: при больших деньгах и забот всяких больше... Нажил человек тысячу, хочется нажить пять; нажил пять — хочется сто... У богатого не только жизнь, но и смерть труднее, чем у бедняка... Кому оставить богатство? Как поделить его между детьми и родственниками, чтоб не пошли войной друг на друга? А поделишь неправильно, начнут проклинать покойника, чтоб он тридцать три раза перевернулся под гробовой крышкой.

— Я богатым не завидую, мне бы только хотелось, чтобы воздух в деревенских избах был душистый, как у господ и чтоб всегда к чаю было неснятое молоко с белым хлебом, — признался я отцу.

— Этого ты в свой срок вполне можешь добиться. Для душистого воздуха будешь покупать «диколон», а неснятое молоко и ситный хлеб при хорошем жалованье — пустяковое дело.

На станции стоял длинный товарный поезд, иду-

щий в сторону Самары. Отец спросил, когда придет пассажирский. Ему сказали, что через два часа. Ждать так долго не хотелось. Поговорил с одним из кондукторов товарного, чтоб взяли парнишку на тормазную площадку. Кондуктор замялся. Но когда отец сунул ему в руку двугривенный, он сказал:

— Пусть садится на любую.

— Только уж доставь его в целости и сохранности: в первый раз он едет в такую даль.

— Не беспокойся: разбойникам не отдам, бабеяге на горячую сковороду не брошу, — отшутился кондуктор.

Прежде чем уехать, отец дал мне «для всякого случая» четыре пятака.

— Деньги расходуй с умом, на пустяки не зарься.

В карманах рыжего, полинявшего пиджака я нашел четыре полусдобных лепешки: вероятно их положила в последнюю минуту мать, не успев сказать мне об этом. Провожая меня, отец был уверен, что в 12 часов дня я уже буду в Самаре, а через час доберусь до сестры.

— Ну, в час добрый! — махнул он издали рукой, уходя со станции к лошади.

Оставшись один, я загрустил. Почему отец не дождался пассажирского поезда? В том поезде едут люди, он идет очень быстро. А товарный плетется кое-как, на каждой станции стоит по часу, а то и больше... Когда я доберусь до Самары?.. Он может не доехать и до вечера. Где я буду ночевать? Что буду есть?.. На тормазной площадке тесно. Только то хорошо, что всё видно.

К составу прицепили второй паровоз в конце. Я ни разу не ездил по железной дороге, но знал, что этот паровоз называется «толкачом», так как до следующей станции — крутой подъем.

— Сейчас поедем! — крикнул торопливо прошедший мимо тот самый кондуктор, с которым отец договорился о моей «доставке». Но почему-то он не сел

на ту площадку, где находился я. Один!.. Страшновато и скучно.

Раздался свисток — долгий, хрипловатый, как будто паровоз был простужен. «Толкач» тоже кугукнул. Лязгая буферами, со скрипом и толчками вагоны двинулись... Слава Богу, поехали!

3. Грусть и страх

Первый раз еду по железной дороге! А сколько в нашем селе моих ровесников, которые только думают об этом! Дорога в гору. Поезд идет медленно. Я мог бы слезть на ходу и даже перегнать тот вагон, на площадке которого сижу. Всё выше тянутся рельсы. Всё шире делается земля. Я вижу то, чего никогда не видел: семь деревень и селений справа, слева, вдали. Родное село, как на ладони. Вдоль него голубеет река. Я слышу отдаленный звон колокола нашей церкви, передо мною леса, луга, степь, просторы полей, засеянных пшеницей. Вот деревня возле самой железной дороги. Босоногие мальчишки и девченки, заметив меня, машут руками. Отвечаю им маханием с чувством превосходства, жалею их и в то же время завидую им. Жалею потому, что они только смотрят на поезд, а я — еду, завидую потому, что их много, они все вместе, а я — один.

Всё выше гора, всё медленнее движется поезд, всё дальше отодвигается родное село... Что теперь делают все наши? Что думает обо мне мать? Только теперь, расставшись с нею, я почувствовал, как она дорога для меня, как мне на этой площадке не хватает ее! Как часто я ходил вместе с нею в луга и в лес — за ягодами, грибами, за березовыми вениками для бани. Мы вместе отдыхали на берегу Самарки, мокая в воду куски хлеба. Мать рассказывала мне о своей бедной жизни в молодые годы и о том, как все в семье сердились, когда родился я — тринадцатый по счету ребенок.

Мать любила песни. В лугах и в лесу мы пели с ней вдвоем. Любимой была эта:

Сохнет-вянет во поленьке травка,
Посыхает трава без дождя.
Когда дождик травушку помочит,
Ковыль травка быстро воздохнет.

Рос во поле аленький цветочек,
И тот начал цветок посыхать.
Был у Маши миленький дружочек,
И тот начал Машу забывать.

И вот теперь, здесь, на этой узкой площадке товарного красного вагона, удаляясь от своего села, в котором осталась мать, я затянул эту песню... В груди как-будто что-то закипело горячее, голос задрожал, из глаз покатились слезы грусти, любви, сожаления... Каким бы счастливым чувствовал я себя, если б со мной рядом сидела она... Мы бы с ней пели всю дорогу, она рассказывала бы о своей жизни, мы бы вместе любовались всем, что есть на земле и над землею: цветами, деревьями, небом, лесом, полями, пением жаворонков... Как плохо на свете одному!.. Я чувствовал себя сиротой, листком, сорванным с дерева и брошенным на эту узкую, тесную площадку...

Когда поезд остановился, кондуктор, проходя мимо, спросил:

— Может быть хочешь куда-нибудь сходить?..

— Нет, не хочу.

По правде сказать, я боялся, что поезд может уйти без меня. Отсюда до нашего села было верст двенадцать. Расстояние как будто затянуло его голубовато-белой дымкой. Может быть слезть с поезда и вернуться домой пешком, оставив ношу у знакомых, которых было много в этом селе?.. Но что скажут братья, племянники, отец? Поймут ли они, что тоска по матери оказалась сильнее любознательности к губернскому

городу? Конечно, не поймут и будут насмехаться надо мною, называть трусом, нестойким, малодушным... Я вспомнил пословицу, которую часто слышал от взрослых: «Назвался груздем, полезай в кузов»... Захотел поехать в Самару, терпи!.. В эти часы своего первого путешествия я очень жалел о том, что до сих пор не научился читать и писать... С книжкой мне было бы не так тоскливо в дороге, а теперь у меня только одно развлечение: глядеть по сторонам.

Как только поехали дальше, родное село скрылось из вида. Справа и слева тянулись зеленые поля, а вдоль канавок, рядом с рельсами, было много белых, желтых, розовых, лиловых цветов. Мелькали пчелы и бабочки. По проселочным дорогам двигались подводы. Поезд перегонял их, но это не радовало меня. Я согласился бы ехать в Самару на телеге, только вместе с отцом и матерью. Захотелось есть. Съел одну лепешку, которая показалась очень вкусной. Опять вспомнилась мать: это она замесила тесто и сделала клетчатый узор на каждой лепешке. Сегодня дома на обед будет квас с зеленым луком, с крутыми рублеными яйцами и сметаной. Потом будут есть рассыпчатую пшенную кашу со скоромным маслом. В средине чашки сделают ямку, куда нальют масла. Задевая ложкой кашу, каждый будет обмакивать ее в масло — душистое, янтарно-желтое. Вероятно вспомнят обо мне. Кто-нибудь спросит: «Что-то поделывает наш путешественник?» В ответ послышится: «Едет и радуется»... Мать усомнится: «А может-быть скучает?»... Она никогда не ошибается.

Когда солнце было на полдне, меня стало клонить в сон. Я обрадовался: во сне время пройдет незаметно. Но кто-нибудь, прыгнув на площадку, может схватить мешок с мукой и чайник с яйцами... Предусмотрительно привязал гостинцы веревочкой к поясу: хватая поклажу, разбудят меня, я закричу: «Караул», воры испугаются и дадут стрекача... Приснилась сестра: будто тянусь к ней через канаву и никак не могу

дотянуться. Вспомнив, что в мешке у меня крылья, купленные на базаре, прицепляю их к плечам, взмахиваю ими и... перелетаю на другую сторону канавы. Я часто видел себя во сне летающим. Просыпаясь, всегда жалел, что это лишь сон. Всегда прислушиваясь к толкованию снов бабушкой, матерью и соседками, я мог теперь сказать, что меня ожидают какие-то затруднения, но всё же я прилечу к сестре и увижусь с нею.

Сколько мы проехали станций? Скоро ли Самара? Надо было бы предупредить сестру письмом, чтоб она встретила меня на станции, но об этом никто не догадался. То, что казалось легким и пустяковым дома, по мере приближения становилось всё более сложным и пугающим. Поезд почему-то стал давать почти беспрерывные нетерпеливые гудки. Я не понимал их значения, но догадывался, что впереди что-то неладное. Позже я узнал, что машинист просил освободить одну из линий станции, к которой мы подъезжали. Может быть это уже Самара? Но никакого города не видно, только справа и слева в несколько рядов товарные поезда. Что же это такое? Здесь можно заблудиться, как в дремучем лесу. Когда поезд остановился, ко мне подошел знакомый кондуктор.

— Дальше состав не пойдет!

— Это Самара?

— До Самары еще сорок верст с гаком! Это «Сортировочная».

— Что мне теперь делать?

— Садись на поезд, который идет дальше.

— Как я найду его?

— Коль голова на плечах, найдешь! Захотел пошуровать в Самаре, шевели мозгами!

Какой нехороший человек, — подумал я, — взял 20 копеек, а теперь смеется... По спине побежали мурашки. Спрыгнув с площадки, я еле взвалил ношу на правое плечо... Узкие проходы между поездами. Все вагоны одинаковые — красные, красные, красные...

И нет им конца. Безлюдье... Гудки. Спросить не у кого. Но всё же, спотыкаясь, иду вперед, по направлению к Самаре, до которой «сорок верст с гаком»... Я знал, что когда говорят «с гаком», то это означает — не меньше, а больше... Может быть сорок пять?.. Но вот слышны голоса, хотя людей не видно. Ускоряю шаги. На такой же узкой площадке, на какой я ехал от своей станции до «Сортировочной», несколько человек.

— Куда идет этот поезд?

— А кто ж его знает?.. Тебе-то куда нужно?

— В Самару.

— Нам тоже туда.

— Мне можно сесть?

— Мы не начальство... Такие ж, как ты... Залезай, веселей будет...

Добродушный бородач с густыми рыжими бровями помог мне взобраться на площадку, толстая женщина в крестьянском платье немного потеснилась, чтоб дать мне место. Кроме них на площадке были две робких деревенских девушки.

— Хоть бы не согнали, — часто повторяли они.

Подошел худощавый молодой человек лет семнадцати, в потертой коричневой шляпе. У него были маленькие, бегающие, черные, как угли, глаза.

— Не уступите местечко, господа? — спросил он развязным тоном.

— Почему не уступить для хорошего человека? — засмеялся бородач, — хоть нас тут пятеро, но я думаю, найдется место и для шестого... Все места казенные, господские, для высшего класса, а ты, по всему видать, дворянского сословья...

— Чего мелешь? — насупилась на бородатого толстая женщина, как видно, его жена.

— А чего ж хмуриться, как ты, сердечная?

Шестерым на площадке да еще с мешками, сундучками и чайниками было тесно, но теснота возме-

щалась весельем, сознанием, что теперь как-нибудь доберемся до цели. А цель у всех была одна.

К составу был подан паровоз. Пробежал молодой кондуктор. Взглянув на нас, ничего не сказал. Через несколько минут поезд тронулся.

— А ведь кажется, едем? — крикнул бородач.

— Коль кажется, перекрестись! — оборвала его толстуха.

Для меня это была радостная минута: поезд идет, я не один, до вечера еще более полдня, впереди — встреча с сестрой, Волга, самарские развлечения.

4. Планы черноглазого

На радостях я достал из кармана лепешку. Она показалась мне еще более вкусной, чем первая. Черноглазый парень в коричневой шляпе не спускал с меня глаз. Я подумал, что он голоден, а попросить стесняется.

— Хочешь? У меня есть еще две.

— Дай отцу с матерью.

— У меня нет здесь ни отца, ни матери, они остались дома, в селе Виловатове.

— Тогда поделись с сестрами.

— Это не мои сестры.

— Неужели едешь один?

— Да.

— Не боишься?

— Чего мне бояться?

— К кому едешь?

— К сестре.

— Сестра богатая?

— Не знаю, ни разу не был у нее.

— Когда-нибудь ездил в Самару?

— Никогда.

— Как? Едешь в первый раз?.. Один?.. Так ты же можешь затеряться в городе, как песчинка в море.

— А для чего конка? Довезет до больницы, а оттуда до Соборной шагов двести.

— Ты мне очень нравишься и я хочу тебе помочь. Ехать на конке нет никакого смысла и... шик не тот.

— Шик? Какой? Для чего?

— Чтоб все тебя за человека считали, а не за мелюзгу.

— Мне на это наплевать. Главное — добраться. Люди же едут на конке, почему ж не ехать мне?

— Едут бедные... рядовые люди.

— Я тоже бедный.

— Но на конку-то у тебя деньги имеются? — спросил он шепотом.

— Да, десять копеек, — так же тихо ответил я. Сам не знаю, почему я сказал неправду, утаив 10 копеек.

— Всего-навсего гривенник?

— Два медных пятака.

— Как же ты пустился в путь с такими грошами.

— Столько дал отец.

— Маловато, но ничего, я могу добавить своих, мы наймем лихача и подкатим к дому твоей сестры, как племянники губернатора... Можешь отдать мне деньги сейчас, а если сомневаешься, то по приезде в Самару.

— Лучше по приезде.

— Как хочешь... Лепешка твоя — первый сорт, давно таких не едал...

— Мама сделала на пахтанье из-под масла.

— Ты вероятно единственный сынок у матери?

— Какое там... Тринадцатый...

— Тринадцать — счастливое число.

Разговор с черноглазым происходил вполголоса. Давно остался позади мост через полноводную реку в зеленых берегах. Поезд подходил к Смышляевке, как сказал мой собеседник. Следующая за ней станция — Самара. Теперь уж нечего бояться. Добрый молодой человек довезет меня до сестры на извозчи-

ке. Нужно ли этого незнакомца приглашать к сестре? Он хотя и добрый, но почему-то не нравится мне. Вероятно поэтому я и утаил от него два пятака... Ну, там видно будет. Если нас увидит сестра на извозчике, она сама позовет моего благодетеля выпить чаю с пирогом.

В Смышляевке стояли недолго. Нас никто не согнал с площадки.

— Везет, как утопленникам! — смеялся бородач. Я не понимал этой поговорки: какое же везение, если люди утонули?

Когда завиднелись заводские трубы, черноглазый спросил:

— Почему ты боишься дать мне два своих пятака заранее? Ты может быть думаешь, что я жулик и облапошу тебя? У моей тетки конфетная фабрика, а у дяди два пивных завода. И она и он сманивают меня в приказчики... Пойду туда, где дадут больше.

— Иди к тетке, каждый день будешь есть конфеты.

— От конфет портятся зубы. Я предпочел бы конфетам еще такую лепешку, какой ты угостил меня.

— У меня есть еще одна, на, ешь, мне не хочется.

Тогда же я рискнул отдать черноглазому и два пятака. Он ел лепешку с такой жадностью, будто во рту у него ничего не было несколько дней.

В Самаре все шестеро поспешно сошли с площадки и растерялись, не попрощавшись друг с другом. Прежде чем выйти к вокзалу, пришлось пролезть под четырьмя пассажирскими поездами, стоявшими впереди. Вокзал удивил меня своей величиной. Спешащие по платформе люди, паровозные гудки, вывески там и тут, носильщики в фартуках и форменных фуражках — вся эта пестрота необычной новизны вскружила мне голову. Как хорошо, что я был не один. Как интересно прокатиться на лихаче через весь город!

— Подожди меня вон у той серой лошади, а я пойду за линию конки: там извозчики гораздо дешевле.

Зачем выбрасывать деньги на ветер? Я подъеду минут через пять.

— А если серая лошадь уедет?

— Продолжай стоять на том месте. Я подъеду к тебе и мы помчимся в первоклассной пролетке, а не в такой, какие ты видишь... Может быть дашь мне свой багаж?.. Для тебя он тяжеловат.

— Я же не буду его таскать. Пусть лежит на земле возле моих ног.

— Ну, как хочешь... Я по-дружески хотел освободить тебя от лишней заботы.

— Какая ж забота, если через пять минут мы поедем с тобой на извозчике?

— Да, да... Так ты никуда не уходи...

— А если не придешь очень долго?

— В крайнем случае, я могу задержаться на 10 минут, если извозчики будут торговаться.

— А если через 10 минут тебя не будет?

— Не может этого быть.

— А если случится?..

— Значит, со мной какое-то несчастье: разрыв сердца, нападение жуликов, провал в бездну и тому подобное.

— Что мне тогда делать?

— Подойди к тому месту и спроси: «Не видел ли кто молодого человека в коричневой шляпе?»

— Может быть нам пойти вместе?

— Нет нет, когда извозчики увидят двоих, они заломят двойную цену... Здесь такое правило...

— Но я же маленький.

— Но зато у тебя тяжелый быгаж... Зачем мы так долго разговариваем и тратим время? Запасись терпением на 10 минут.

— Хорошо, только ты не обмани меня.

— Обманы, фальшь, притворство, жульничество, хитрость — не в моей натуре. Жулика не стали бы приглашать в приказчики на конфетную фабрику и на пивоваренные заводы.

Он ушел, почти убежал, а я остался ждать возле серой лошади. Вскоре она увезла двух седоков. На ее месте остановилась гнедая, но и она простояла недолго. Я смотрел в ту сторону, куда ушел молодой черноглазый человек в коричневой шляпе. Почему он так долго не возвращается? Неужели с ним случилось несчастье? А может быть торгуется с неуступчивыми извозчиками?.. Подожду еще...

Я прождал вероятно с полчаса. Взвалив ношу на плечо, направился за линию конки, где останавливаются, как он сказал, дешевые извозчики. Ни души. Не у кого даже спросить о моем недавнем спутнике. И тут только я понял, что он меня обманул, позарившись на 10 копеек. Что он думал, когда убегал от меня? Неужели ему не было стыдно? Я отдал ему две лепешки и сам теперь голодный... Он хотел стибрить у меня даже муку с яйцами. Хорошо, что я не отдал ему и у меня в запасе еще два пятака. Семь копеек потрачу на коночный билет и еще три копейки останется... В другой раз буду умнее: в дороге ни с кем не стану знакомиться.

Подошла конка. По рельсам ее везли две сытых лошади. На конечной остановке их выпрягли и впрягли с другой стороны, которая была обращена к городу. Вагон был открытый с поперечными скамейками. С двух сторон были подножки, по которым ходил кондуктор, продававший билеты.

— Куда? — спросил он у меня.

— До земской больницы.

Он дал мне почему-то два билетика: желтый и синий. Возница взмахнул кнутом. Лошади побежали. Рядом со мной сидел чисто одетый господин с приятным лицом. Его синий пиджак был распахнут. На жилете я увидел часовую цепочку.

— Дяденька, сколько часов?

Он с улыбкой посмотрел на меня, медленно достал из жилетного маленького карманчика золотые часы и

нажал на рубчатый кружочек сверху. Крышка бесшумно отскочила.

— Пять минут четвертого... Это устраивает тебя?

Я не понял вопроса, но чувствовал, что нужно что-то сказать.

— Вечер еще не скоро... Успею доехать до сестры.

— Ты, как видно, из деревни?

— Из села.

— Из какого?

— Из Виловатого.

— О, это знаменитое село: там у вас живет Федор Кузьмич, который лечит травами от всех болезней... Ты не родственник ему?

— Нет, но я знаю, где он живет. Недалеко от школы. Он старый. Ходит с палкой. Вся его родня богатая.

— А как зовут тебя?

— Родькой.

— Как мне тебя найти, если я приеду в ваше село?

— Спроси: «Где живет Родька-плясун?»

— О, так, значит, ты — тоже знаменитость, если тебя знает всё село, как плясуна?

— Да, знают... на свадьбы зовут, деньги дают — кто две копейки, кто — три, кто — пятак.

— За одну пляску?

— Какое там... За всю свадьбу.

— Сколько же дней она продолжается?

— Шесть или семь.

— И тебе платят только две копейки за семь дней?

— Это еще хорошо, а то один раз плясал десять дней и ничего не дали, потому что на третий день после свадьбы молодушка убежала от глупого мужа.

— Ну, а ты-то тут при чем?

— Женихов дед сказал: «Не до того нам... на пятьсот рублей разору, на милиён позору... Пусть доволен будет тем, что поел и попил на свадьбе»... А я

почти ничего не ел... Когда много ешь, очень неловко плясать.

— Ах, как жаль, что мне нужно выходить. Непременно постараюсь побывать в вашем селе — ради лекаря Кузьмича и плясуна Родиона.

— Меня так никто не зовет. Все кричат: «Эй, Родька!»

— До свиданья, артист! — сказал добрый господин, выходя на остановке.

5. Роковая пересадка

Разговаривая с милым, ласковым человеком, я не обращал внимания на окружающее: дома, вывески, пешеходов, извозчиков. И только, распрощавшись с ним, стал глядеть по сторонам. Что больше всего удивило меня? Не двухъэтажные и трехъэтажные дома, не товары, выставленные на подоконниках больших окон, а спешащие и даже задевающие друг друга люди. В селе так бегут только на пожар или на драку. По мере приближения к центру города увеличивалась людская спешка и всё гуще были человеческие толпы. Но вот конка остановилась против базара, посреди которого была большая церковь. Голубой широкий купол был украшен золотыми звездами.

— Троицкий собор, — услышал я от одного из пассажиров. Люди вокруг этого собора, в проходах между большими магазинами и маленькими лавками казались муравьями кем-то разрытой муравьиной кучи. Я видел такие кучи в нашем лесу и всегда сердился на озорников, которые разоряют муравьиные дома. Площадь гудела от выкриков, зазываний, расхваливаний товара.

К моему удивлению все, кто ехал в конке, вышли из нее. Вышел и я, решив, что она дальше не пойдет. Но ведь все родственники, побывавшие в Самаре, говорили мне, что конка идет до земской больницы,

минуя пустырь за Полевой улицей. Где ж тут пустырь? Где больница?

— Тетенька, где Полевая улица? — спросил я у молодой женщины, несшей корзинку с продуктами.

— Полевая? Так это же совсем в другой стороне города. Как ты здесь очутился?

— Я ехал на конке с вокзала. Когда добрались до этого места, все почему-то вышли...

— Потому что здесь пересадка. Тебе нужно было сесть в другой вагон.

— Мне никто не сказал об этом.

Я показал женщине свои билеты — желтый и синий.

— Не знаю, что тебе посоветовать... Тот вагон уже ушел, а в другой тебя с этими билетами могут не пустить. Придется покупать новые.

— За 7 копеек?

— Да.

Я не сказал, что у меня осталось только три копейки. Женщина могла бы подумать, что я прошу у нее милостыню.

— Как мне пройти на Соборную улицу?

— Очень просто: один квартал в ту сторону.

Я недоумевал: как же так? Полевая на другом конце города, а Соборная через один квартал? Мне же все говорили, что нужно дойти до угла Полевой и Соборной... Тогда я не знал, что городские улицы очень длинные и что Соборная одним концом могла сходиться с Полевой, а другим вливаться в Троицкий базар.

Выйдя на Соборную, я решил увидеть Волгу, на которой день и ночь «кугучат» пароходы. Но здесь не было никаких признаков большой реки. Я прошел улицу до конца и увидел небольшую реку. Спросил у седого старика, опиравшегося на палку:

— Это Волга?

— Нет, ее приток, Самарка.

Это удивило и обрадовало меня: ведь в нашем селе тоже есть Самарка. Это, конечно, та самая. Она добежала до города, чтобы попасть в Волгу, но Волги отсюда не видно. К этой небольшой реке я почувствовал что-то родственное, нежное: много раз я пил воду из нее, купался в ней, катался по ней на лодке вместе с отцом, лежал на горячем чистом песке ее отмелей...

Надо пойти в другую сторону, может быть так доберусь и до Полевой? Пошел. Ноша стала тяжелее и я часто перекладывал ее с одного плеча на другое... По лицу текли струи пота, черные кудри прилипли ко лбу. Фуражка была тесновата для моей головы и резала мокрый лоб. Возле одного дома сидело несколько женщин. Девочка лет десяти, показывая на меня пальцем, крикнула:

— Смотрите, смотрите, «мужичок с ноготок!»...

— А ты не дразни мальчишку, видишь, как он бедный надрывается под своим мешком и чайником, — остановила девочку одна из женщин.

Пройдя всю улицу, я очутился перед большим садом с двух сторон. Посреди стояла огромная церковь, каких я нигде не видел. Это, как я думал, был главный собор города, в честь которого назвали улицу. Мне почему-то показалось, что за собором уже нет никаких домов и я не попытался обойти его кругом... Вместо этого я вернулся обратно. Несколько раз я спросил у прохожих, где Соборная улица?

— Ты ходишь по ней, — отвечали мне удивленные люди, оглядывая меня с ног до головы. Никто не расспрашивал меня, кто я, откуда, зачем приехал в Самару? Пройдя по этой улице раза четыре, я почувствовал головокружение и перестал что-либо соображать. Мне хотелось лечь или сесть. Я проголодался. Остановившись возле булочной, от которой шел хлебный аромат, я стал искать три копейки, оставшиеся от конки. Долго не находил. Ужас охватил меня:

— Неужели потерял?

Нет, к счастью, нашлись. Вошел в булочную.

— Сколько стоит этот хлеб?

— Пять копеек фунт.

— У меня есть три копейки.

— Можем дать тебе фунт обрезков.

— Обрезки — такой же хлеб, всё равно я стал бы ломать его руками.

Так как хлеб был очень мягкий, пропеченый, воздушный, то в фунте оказалось много кусков. Их положили в белый кулек. Я отдал монету в три копейки, которая называлась гривной. Теперь я стал совершенно безденежным человеком и почувствовал еще большую сиротливость. Так как мне хотелось не только есть, но и пить, я направился к Самарке. Усевшись на песчаном берегу возле самой воды, я был удивлен, что она не такая, как у нас. Под солнцем на воде переливались какие-то полоски и круги, похожие на радугу. Но жажда становилась всё сильнее. Выбора не было. Сняв пиджак и фуражку, я стал мокать хлеб в цветную воду. Она чем-то припахивала, но не горчила. Съев половину кусков, я решил снять сапоги, которые жали в пальцах. Так как они были тесны, то я стянул их со вспотевших ног и толстых шерстяных чулок с большим усилием. Оставив на берегу ношу, я вошел в воду. Сразу стало легче и тяжесть на душе уже не была обременительной, как до этой минуты. Вымыв ноги, я решил доесть вкусный хлеб, какого не бывает в деревнях. Мимо шли две девочки — лет восьми и пяти. Черноволосая старшая была в голубом платье, белокурая младшая — в розовом. Заинтересовавшись мною, они остановились. Несколько минут простояли на одном месте, потом сделали несколько осторожных шагов в мою сторону.

— Мальчик, ты можешь заболеть и помереть, — наставительным тоном, как учительница, сказала старшая.

— От чего?

— От сырой воды, в которой плавает нефть.

— Какая нефть?

— Какую возит в нефтянках по Волге мой папа... Она черная, как уголь, а густая, как сливки... Разве ты никогда не видал ее?

— В селах и деревнях колеса смазывают дегтем. Он тоже черный и густой, но не как сливки, а как сметана.

— От него наверное вода не делается разноцветной, а от нефти завсегда.

— Ты видала мертвых от нефти?

— Пока не видала, но это ничего не значит.

— Не умру и я.

— Ты очень смелый... Откуда приехал?

— Из Виловатого.

— Это город?

— Длинное село вдоль светлой речки.

— Что у тебя в мешке?

— Сельская мука.

— А в чайнике?

— Сельские сырые яйца.

— Привез их на продажу?

— Я не торговец... Это гостинцы сестре.

— Муку и яйца можно купить в городе.

— За покупки надо платить деньги.

— У твоей сестры нет денег?

— Не знаю... Ее муж маляр.

— Маляр? — испуганно вскрикнула девочка, — ой, как плохо! У моей тети муж тоже маляр — престрашенный пьяница! Говорят, что все маляры «лыкоголики»... Ты, значит, приехал к ним в гости?

— Да.

— Я дала бы тебе конфетку, но съела ее.

— А у меня есть во рту, — сказала младшая.

— Выплюнь и дай сельскому мальчику. Видишь, какой он бедный: хлеб мокает в нефтяную воду.

На ладони у младшей очутился обсосанный, ярко-малиновый леденец. Она протянула его мне. Положив леденец в рот, я почувствовал сладость во всем теле.

— Вы очень хорошие девочки. Приезжайте в наше село, когда захвораете.

— Мы можем пойти в городскую больницу.

— Наш лекарь Кузьмич — лучше всяких докторов — не режет, ничем не мажет, а только дает травяной чай... Как рукой снимает всякую хворь.

— Куда ж ты теперь пойдешь?

— Сам не знаю... Но сначала надо обуться.

— На твоих ногах — мозоли.

— Потому что очень тесные сапоги: наш сельский сапожник Афанасий не умеет шить просторных.

— Ну, обувайся... Я помогу тебе.

— Чулки очень толстые, на зиму связаны... обойдусь без них...

Но всё же обуться было очень трудно и помощь старшей девочки была очень кстати. Вместе со мною она изо всех сил тянула за ушки голенищей, а когда я обулся, покачав головой, спросила: «Как ты в них можешь ходить? Это же сплошное мученье»...

— Что ж делать, если нет других?

— Лучше ходить босиком, чем так страдать.

— Я уж привык к этому.

— Где живет твоя сестра?

— Возле Полевой.

— А почему ж ты сидишь здесь?

Пришлось рассказать добрым девочкам все мои приключения за день, начиная с посадки на товарный поезд ранним утром. Слушательницы были очень внимательны.

— Как в книжке, — сказала старшая.

— Разве ты уже умеешь читать?

— Я перешла уже в третий класс, а ты?

— Еще не начинал учиться и знаю только три буквы: «а», «о», «у».

— Бедный мальчик, какой ты темный!.. Что ты будешь делать, когда выростешь? Пасти свиней?

— Плясать! Ты наверное еще не заработала ни

копейки, а я уж два года хожу по свадьбам и зарабатываю деньги для всей семьи.

— А учиться всё-таки надо, хоть ты и плясун.

— Знамо, буду! Мне покуда не сто лет, а только восемь.

Жалостливое презрение на лице старшей сменилось снова почтительностью.

— До свиданья, мальчик, как тебя зовут?

— Родькой.

— Никогда не слыхала такого имени... Похоже на редьку.

— А тебя?

— Елочкой.

— Ты, значит, деревянная?

— Ничего подобного! Когда выросту, меня будут звать Еленой Михайловной. А теперь я девочка и потому Елочка.

— А я, когда выросту, буду Родион Михайлович. Разве плохо?

— Довольно прилично. Вот у сестренки имя интереснее твоего и моего: Христина.

— Тоже деревянное: хворостина.

— Ты — большой насмешник.

— Это не насмешка, а шутка. До свиданья, Михайловны! Приезжайте в Виловатое вместе с одним дяденькой в синем пиджаке с золотыми часами. Он обязательно приедет к нам, лечиться у Кузьмича.

— Мы не больны и нам не нужны никакие лекарства.

— Ну, приезжайте просто так: побегать по лугам и выгону... Пойдем в лес за ягодами и за грибами. Что у вас хорошего в Самаре? Тут даже вода с нефтью, а у нас чистая, светлая, как слеза.

Я распрощался с девочками за руку. Видно было, что им грустно. Они помогли мне взвалить ношу на правое плечо. Долго стояли, глядя мне вслед. Отойдя шагов сто, я оглянулся. Всё стоят. Машут руками. Вспомнилась мать, грубоватые слова отца: «Ох, уж

эти мне бабы»... Что хотел сказать своими словами отец? То, что у всех женщин — старых, молодых и девочек — жалостливые сердца. Вот я совсем чужой этим сестрам, с которыми познакомился случайно, а они жалеют меня. Если б я был грамотным, я записал бы их адрес и написал бы им пригласительное письмо... Да, надо скорее учиться: с тремя буквами далеко не уедешь.

6. Когда зажигали фонари

Я снова прошел по надоевшей мне улице до сада и собора и опять вернулся ни с чем. Встреча с девочками в голубом и в розовом платьях на некоторое время отвлекла меня от горьких переживаний, но вот снова мою душу охватили страх, тоска, сознание безвыходности. Солнце уже скоро прикоснется к земле... Где я буду ночевать? На улице? В саду?

Часто в летнее время я ездил верхом в ночное, но это было с отцом или с товарищами. Вместе в лесу было не страшно. В городе же, как я слышал, всегда много жуликов, обманщиков, насильников, головорезов, бессовестных людей: им ничего не стоит убить меня, когда я усну, и украсть муку и яйца... Что же делать? Громко расплакаться, чтоб привлечь внимание людей, а потом рассказать им о себе для того, чтоб они что-нибудь придумали для меня? Нет, нет, это по-девчачьи, а не по-плясунски!..

В эту минуту я вспомнил о том, что не приходило мне на ум в течение всего дня: надо помолиться!.. «Господи, помоги мне найти сестру Татьяну и ее мужа маляра Николая»... Едва успел я обратиться с просьбой к Богу, как созрело сразу решение: «Пойду по Садовой, вдоль конočных рельс».

Солнце уже закатилось. На перекрестке, посреди улицы, пожилой человек, крутя ручкой, опустил фонарь сверху вниз. После этого он стал его чем-то накачивать, поднес спичку. В фонаре ярко зажглась сетка в виде свечки.

— Дяденька, как дойти до Садовой?
— А вот иди прямо по этой улице четыре квартала и упрешься в Садовую.
Теперь я был уверен, что найду то, что искал весь день.
— А тебе куда, хлопец?
— К земской больнице.
— Путь не близкий: через весь город... Что ж ты так запозднился?
— Не догадался раньше спросить о Садовой. Только сейчас надоумил Бог.
— Когда пойдешь по ней, держись середины, поближе к рельсам: на тротуарах много хулиганья.
Пройдя четыре квартала, я увидел рельсы и сердце радостно забилось: теперь найду, дойду, не пропаду.
Предсказание фонарщика сбылось очень скоро. В одном месте шумно резвилась целая орава мальчишек. Тут же было три или четыре собаки.
— Маршал! Хватай нищего! — крикнул озорник лет пятнадцати.
Собака ринулась ко мне и вцепилась зубами в мешок с мукой. Я знал, что когда нападают хулиганы, нужно кричать: «Караул!» Но я сначала дико закричал: «А-а-а!» А потом очень громко: «Люди, добрые, спасите! Караул!» В раскрытые окна двухъэтажных домов справа и слева высунулось несколько мужчин и женщин.
— Что такое? В чем дело? — стали раздаваться удивленные голоса.
— Ваши дети травят собаками... Собака прогрызла мешок с мукой... Мука сыплется на дорогу...
— Ах, бандюги проклятущие! — крикнула одна из женщин, выбегая из дома.
Через минуту она была возле меня.
— Что они сделали с тобою?
— Вот... собака изорвала мешок... Как я теперь донесу муку?

— Хорошо еще, что в ногу не впилась зубами... А это мы сейчас поправим.
Она отколола от своей кофточки две английских булавки и заппилила ими дыру в мешке.
— Я провожу тебя три квартала. Дальше никто не тронет. Только здесь расплодилось этих разбойников видимо-невидимо... Все отцы и матери стоном стонут, не зная, что делать с этой сворой... Я, слава Богу, бездетная, а то бы тоже лила слезы в три ручья...
Меня всегда удивляли дети-озорники, неслухи, грубияны. В нашей семье меня никто за восемь лет не тронул пальцем. Я очень рано сделал для себя вывод, что если выполняешь все приказания старших, то в жизни не бывает горя и заботы... Делать что-то для отца, матери, сестры, братьев, соседей и даже для совсем чужих людей — доставляло мне большую радость. Я не любил драться на улице, предпочитая соглашение — задирству, мир — войне, дружбу — вражде. Такие поступки, как натравление собаки на невинного постороннего человека, да еще совсем маленького, было непонятно мне. Неужели лучше быть плохим, чем хорошим? — часто думал я. Как сделать злых людей добрыми? Наказывать? Бить? Пороть? Но тогда человек озлобится еще больше. Вот племянника Ваньку лупят каждый день, а он ничуть не делается лучше. Он привык к побоям, ему, как видно, скучно без них. Когда его секут ременной двухвосткой, он орет на всю улицу. Сбегаются люди. И это нравится ему. На него смотрят, как на страдальца.
Когда я прошел всю Садовую и очутился на Полевой, уже совсем стемнело. Издали доносилось «кугуканье» пароходов и какое-то хлопанье по воде, как-будто кто-то стучал вальками по мокрому белью. Гудки были разные: певучие и резкие, нежные и громкие. Пошел в ту сторону. Жалел, что не догадался об этом днем, когда очутился на Троицком базаре. Но тогда бы я не познакомился с милыми девочками — Елочкой и Христиной. «В другой раз буду умнее,

— давал я себе торжественное обещание, — а в незнакомые города поеду только научившись читать и писать... Неграмотный человек, как слепой»...

Вот и желанный угол Полевой и Соборной. Как раз на углу горит фонарь. Видно скамеечку возле второго дома. Она пуста. Неужели все уже спят? А в селе девушки и парни ходят с песнями по улице до утренней зари. Какая здесь скучная жизнь! Никогда не променяю села на город!

Калитка не закрыта. Лестница ведет во второй этаж. Нетерпеливо стучу. Скрипнула дверь.

— Вер ист дас?

Не понимаю вопроса, заданного мужчиной.

— Татьяна Касаткина здесь?.. Моя сестра?..

Мужчина уходит. Его сменяет женщина. Неправильным русским языком говорит:

— Касаткин на другой лестница... другой дверь...

Нашел указанную лестницу, стучу еще громче.

— Кто тут? — раздается голос Николая, мужа сестры.

Не могу ответить, не могу произнести ни слова. Вот когда вся горечь подступила к горлу большим комом.

— Кто тут? — сердито повторяется вопрос, но дверь не открывается.

Стучу в дверь ногами. Груз сброшен на ступеньку.

— Еще раз спрашиваю: кто?

Неужели он не понимает, что иногда у человека бывает такое состояние, когда он не может произнести ни звука?

— Кто-то стучит, но ничего не говорит, — докладывает он громко сестре.

— Да уж не Родька ли?

Она бежит к двери, открывает ее, ничего не спрашивая и видит меня — маленького, измученного, бессловесного. И тогда со мною происходит что-то небывалое: я так начинаю рыдать, обхватив ночную рубашку сестры, что сбегаются многие, разбуженные

жильцы дома... Слов я еще не могу произносить, не могу ответить на вопрос: «Неужели один?»... Из груди вылетают стоны, хрипы, свисты, меня всего трясет, бьет, как в лихорадке. Сестра бежит за каким-то лекарством, Николай предлагает стакан воды... Я не могу его держать. Он подносит воду к моему рту. Зубы стучат о стекло.

— Выпей валерьянки, — говорит сестра. Она обнимает мою голову и тоже начинает плакать, приговаривая:

— Бедный ты мой... Как ты настрадался... Когда приехал?

— В три...

Это было мое первое слово.

— Господи, за что Ты послал мученье моему брату?.. Сейчас одиннадцать... Восемь часов блуждать по городу... Николай, скорее ставь самовар!.. Есть мясные щи, пирог с изюмом и клюквой.. Чуяло мое сердце, что будет желанный гость...

Но я еще не могу сказать, чего хочу больше — пить или есть? Меня еще трясет, хотя вопли уже сменились тихими слезами.

— На каком же ты приехал поезде?

— На товарном... выехал в 6 утра... Отец не захотел ждать почтового...

— Что за люди... Господи, что за темнота... Спихнули с рук мальчишку и горя мало... Ну, не расстраивайся.. Завтра обо всем расскажешь... Сейчас на тебе лица нет... А это что за мешок и чайник?

— Гостинцы: мука и яйца.

— И это ты таскал целый день?

— А кто ж за меня будет таскать?

Тогда сестра прижала меня крепко к груди и затряслась в новом приливе рыдания:

— Братик мой... Золотой мой... нет еще больше на свете таких, как ты... Крошка... неграмотный... один... весь день... такая тяжесть... да где же у людей

мозги?.. Великомученик ты мой... Святой ты мой... Всё-таки Господь спас тебя...

— Я сам виноват: целый день не молился... А как пожаловался Богу на свою беду, Он сразу указал мне дорогу... Здоровенная собака чуть не разорвала в клочья... Хулиганы натравили. Хорошо, что на спине была мука... Вступилась одна тетенька... Видишь булавки? Это она зашпилила мешок.

— Подкрепись. Чего хочешь — пирога или щей?

— Пить...

— Вот чай с лимоном... Клади больше сахару в стакан.

— В селе сладкий чай не пьют...

— Но теперь ты не в селе, а в городе...

— Да, в городе — первый и последний раз!..

7. Городские развлечения

Комната у Касаткиных была очень маленькая, с одним узким окошком во двор. Большую часть комнаты занимала широкая кровать. В переднем углу стоял небольшой стол. Между ним и кроватью можно было поставить один стул. Проход между стеной и кроватью был тесный. И в этом-то проходе, на полу, приготовили мне постель.

— Какая бедность, — думал я, — несчастная сестра Татьяна!.. Приволье лугов, леса и степи она променяла на жалкую клетку, на пыльные городские улицы, на винные и пивные пары своего неуклюжего, узколобого маляра.

Ночью я проснулся от клопиных укусов, за облезлыми обоями шуршали тараканы, в кухне что-то грохало и шлепалось. Я догадывался, что это своевольничают крысы.

— И это жизнь? Нет, это тюрьма, это великое наказанье!

Мне стало так тоскливо, так горько, что я решил срезу же уехать домой.

В трезвом виде муж сестры был неразговорчивым и хмурым. Утром он не задал мне ни одного вопроса, как будто я был не человеком, а бездушной тварью.

— Мне говорили, что из вашего окна видно Волгу, но я вижу только скособочившуюся уборную и булыжники во дворе.

— Когда мы жили в передней квартире, оттуда была видна Волга... Сюда мы перебрались две недели назад.

— Почему?

— Сейчас у нас очень туго с деньгами...

Я смотрел на сестру и не узнавал ее. Еще совсем недавно это была румяная певунья и плясунья. Теперь ее лицо пожелтело, красивые темные глаза ввалились... Бедная, несчастная, обманувшаяся.

— Как спал?

— Очень плохо... всю ночь воевал с клопами...

— Да, эта комната — настоящий клоповник. Мы-то за две недели привыкли, наша кровь им уж надоела, а на свежего человека, да еще из деревни, они набрасываются, как бешеные волки.

— Как вы тут живете?

— Так вот и живем... Но думаешь, одни мы так маемся? Тысячи людей в городе не живут, а мучаются...

— Так переезжайте в село: там хоть можно спать на соломе и сене, ходить в лес за ягодами и за грибами.

— Одними ягодами да грибами сыт не будешь... В деревне надо крестьянствовать, а Николай к этому не приучен с малых лет.

Хотелось сказать: «Зачем же ты вышла за такого пентюха? Какие богатые красавцы сватались к тебе, но ты всех разогнала... вот теперь и казнись в этом клопином улье»... Но «пентюх» находился в комнате в ожидании завтрака, да и не хотелось растравлять сердечных ран сестры.

— Мама сказала, что на Троицу будет ждать нас втроем.

— Ничего не знаю... Если на этих днях окажутся новые подряды, то может быть поедем... А если нет, трудно нам будет: в деревню надо везти гостинцы, а нам сейчас не до гостинцев. Спасибо добрым людям, что не отказывают в займах.

— Что ты раскудахталась о трудной жизни — сердито буркнул Николай. Это были его первые слова за день. О, как он был неприятен для меня в эти минуты! Выжал все соки из сестры меньше, чем за год и еще злится, когда она жалуется на нескладную жизнь. Кто виноват в этой жизни? Только он! Конечно, была виновата и сестра. Ее вина была в том, что она отбросила хорошее и подобрала плохое.

Пирог сестры с изюмом и клюквой был очень вкусный — стряпать она умела. Молча попив чаю, Николай собрался куда-то уйти. Сестра пошла его проводить. Я остался в комнате один. Открыл окно, но со двора потянуло сильным запахом из деревянной, дырявой, покосившейся уборной. Окно пришлось закрыть, чтобы ко всем огорчениям, пережитым за вчерашний день, за ночь и за это утро, не добавлять новых грустных переживаний.

Сестра вернулась расстроенная.

— Пьет? — спросил я.

— Пьет, — ответила она с тяжелым вздохом. — Сколько раз находила на тротуарах — грязного, раздетого, обобранного... Все мои девичьи наряды в ломбарде... Сейчас пошел к знакомым подрядчикам — занять денег. Умоляла — не напиваться, чтоб ты не видел этого безобразия. Поклялся, что не будет пить, но всем его клятвам — грош цена: не в первый раз он клянется и дает зарок... Сказала ему, что надо чем-нибудь порадовать тебя за гостинцы, с которыми ты мучился целый день. Обещал повести в Струковский сад. Если сдержит слово, то только из-за тебя, чтоб ты мог рассказать о нем родным что-нибудь хорошее, кроме плохого... Ну, ладно об этом. Расскажи что-нибудь о Виловатове. Много ли угнали из нашего села на Японскую войну?

— Только одного Акимку Мошкова. У нас много картин о войне. Я хожу в волость за газетами и журналами. В нашем доме собирается много народу. Читает всегда Павел. Дядя Петруха во время чтения всегда спит. А когда брат перестает читать, старик сразу просыпается и говорит: «Занятно»... Весь народ смеется.

— Насчет «ливорюции» не поговаривают? Николай ходит на какие-то собрания, где ругают царя...

— У нас был раз пять студент Петя Бухарцев, дьяконов сын. Тоже говорит, что царю не сдобровать, если он не облегчит жизнь.

— А что думают об этом мужики и бабы?

— Когда говорит Бухарцев, все плачут.

— Значит, согласны с ним?

— Да.

— На свадьбах и на гуляньях пляшешь?

— Пляшу, но все деньги отдаю маме.

— Почему, не оставляешь себе? Ведь это твой заработок.

— Дед и бабка говорят, что в семье ни у кого не должно быть ничего своего... Кто бы, что бы ни заработал, отдавай старшим...

— Когда я в девках ходила полоть свеклу, я оставляла деньги себе... За работу с восхода до заката солнца нам платили 20 копеек. Я копила деньги для нарядов. Так бы надо делать и тебе.

— Ты была уже большая, уже невеста, а я — мальчишка. Дед говорит, что таким карапузам денег давать нельзя, что деньги могут испортить человека, если он их полюбит с малых лет.

— Но ты, кажется, не особенно их любишь?

— Совсем не люблю.

— Я знаю: ты добрый.

— Вчера дал человеку две лепешки, а он обжулил меня.

— Может-быть был голодный, без работы?

— Сказал бы об этом.

— Голодные очень стеснительны.

Сестра разговаривала со мною, как со взрослым и это нравилось мне. Часа через два вернулся Николай, повеселевший, хотя и не пьяный: вероятно раздобыл денег.

— Давайте пообедаем на скорую руку и поедем в город.

Сестра была довольна, что муж впервые сдержал клятву ради меня. На обед были мясные щи, сваренные вчера, мясо, белый хлеб, чай с пирогом. Я надел кремовую сатинетовую рубашку, привезенную с собой. Сестра еще утром разгладила ее утюгом. Перед уходом в город она причесала меня:

— Какой ты кудрявый, весь в отца.

Мы поехали в Струковский сад. Такого я еще не видел за свою восьмилетнюю жизнь: широкие липовые и кленовые аллеи, площадки, тропинки, яркие клумбы. В саду гуляло много нарядной, веселой публики. В красивых будках продавали фруктовую воду в бутылках. Пробки при откупоривании издавали выстрел, красивая жидкость, пенясь с шипеньем лилась из горлышка в стакан.

Рядом была Волга во всей своей красе. Мы сидели на скамейке и любовались пассажирскими пароходами, суетливыми буксирами, медленно плывущими плотами, множеством лодок с катающимися.

В центре сада, под навесом в виде полукруга играл оркестр духовой музыки. Сердце мое трепетало. Вот то, ради чего можно жить в Самаре, смирясь со множеством изъянов городской жизни. Мы пробыли в саду часа четыре, пили шипучую воду, мечтали когда-нибудь прокатиться на пароходе... Домой мы вернулись перед вечером — усталые, проголодавшиеся, но счастливые.

8. Разлука

В понедельник с утра, после ухода Николая на поиски работы, сестра занялась стиркой белья. Полоскать белье она пошла на Волгу. Я пошел с ней. На берегу было много лесных складов. На воде стояли баржи, прикрепленные к коротким толстым столбам железными цепями.

В этот день и в этом месте я почувствовал с особенной остротой горечь жизни, когда человек не может из-за бедности исполнить свое заветное желание. Неподалеку от нас пробегали небольшие, уютные, двухъэтажные пароходики, заполненные взрослыми и детьми.

— Куда они едут?

— На «Барбашину поляну» справлять маевку.

— Там наверно очень хорошо?..

— Не знаю, раз люди едут, значит хорошо...

— А мы только глядим... Смотри, какой идет большой пароход, розовый.

— Это «Самолетский».

— А навстречу ему зеленый.

— Это «Русь».

Волга жила полной жизнью: буксиры, беляны, плоты, большие и малые пароходы, нефтянки скользили по ее широким водам. От больших пароходов катились к берегу закругленные водяные валы и тогда мостки для стирки белья начинали подпрыгивать и колыхаться.

— Вот и мы с тобою развлекаемся, — сказала с горькой усмешкой сестра, — не на пароходе, так на мостках.

* * *

До Троицы оставалось пять дней.

— Домой поедешь один, — с грустью сказала сестра. — Провожу тебя, сама посажу. Передашь всем поклоны. О нашей плохой жизни маме не говори, она ведь не хотела, чтоб я выходила за Николая.

В течение этих дней я ничего не видел нового. Выйдя на улицу, я садился на желтую скамейку и с тоскою прислушивался к пароходным гудкам... Часто разговаривал с сестрой.

— Когда начнешь ходить в школу, учись старательней, чтоб стать человеком и выйти на хорошую дорогу. Отец думает сделать тебя артистом, но мне это не нравится. По моему нет лучше учительской должности: всё лето свободен, можно насадить яблонь, слив, вишен, завести пчел. Хорошего учителя уважает весь народ, все ему кланяются еще издали. Это — не священник, от которого торопятся убежать... Встретился поп — не жди удачи...

В субботу утром сестра попросила меня снять рубашку. Я сказал, что она чистая.

— Вижу, но я хочу зашить в ее подоплеку «красненькую».

Так называлась десятирублевая бумажка.

— После Троицы Николаю обещают хорошую работу. Под будущие заработки он занял 10 рублей. Повезешь их в гостинец семье. Деньги у тебя никто не украдет: воры шарят по карманам.

Перед закатом солнца она повезла меня на конке к вокзалу. Там купила большую французскую булку и оставив меня на платформе, ушла куда-то навести справку насчет отправления поезда.

Булка была удивительного вкуса, мягкая, душистая, но от тоски я потерял аппетит. Я заранее жалел мать, которая ждет троих, а встретит одного. Мне было жалко сестру. Она была неграмотной — из-за того, что нянчила в семье младших детей. Главная ее забота была обо мне. Она любила меня больше всех братьев и сестер и когда мне кто-либо хотел смерти, готова была выцарапать тому человеку глаза. За такую доброту она могла быть счастливой, но жизнь ее сложилась печально. Вот скоро у нее родится ребенок. Что он увидит в клопиной клетке? Что даст ему отец-пьяница?..

— Сядешь в этот поезд, который стоит на первой линии, в зеленый вагон, — сказала она вернувшись.

— А билет?

— Ты еще маленький. Детский билет стоит 40 копеек... Вот тебе четыре пятака.

— Столько же дал мне отец, когда я ехал в Самару.

— Отец посадил тебя на товарный, а сейчас ты поедешь в почтовом. На рассвете будешь на своей станции. За тобой не выедут?

— Нет. Пройду четыре версты пешком. В Самаре в первый день я исходил верст двадцать.

— Ты теперь никогда не забудешь об этом. Ну, что ж давай прощаться... Не обессудь, если что было не так...

Я заплакал.

— Зачем ты это говоришь?..

Заплакала и сестра.

— Когда вырасту, не забуду тебя... помогу тебе..., — говорил я прерывающимся голосом.

— Спасибо, мой хороший братик... Бог даст тебе счастья... Он любит душевных людей... Для хороших Ему ничего не жалко...

— Ты тоже хорошая...

— Но глупая, а глупые сами виноваты в своих несчастьях... Когда приедешь еще?..

— Не знаю... А ты с Николаем всё-таки приезжай. О твоих песнях скучает всё Виловатое.

— Я все их забыла... Прежняя жизнь, как сон...

— В Виловатове вспомнится всё забытое.

Сестра ввела меня в вагон и оставила в первом купе, где сидели четыре молодых татарина. Билетов в прежнее время при посадке на поезд не спрашивали,

а то бы меня вероятно не впустили. Заливаясь слезами, сестра вышла на платформу. Я не пошел вслед за ней. Вот и закончилось мое гостеванье в Самаре. Я среди чужих людей. Три звонка. Поезд трогается.

— Баранчук, у тебя есть билет? — спрашивает у меня веселый татарин.

— Я маленький, мне можно ехать без билета.

— Сколько тебе лет?

— Девятый.

— Тебе надо было купить четверть билета. Контролер может высадить тебя на первой остановке... Плохо тебе будет... Залезай под скамейку и лежи там до проверки билетов. Мы засунем туда ноги, как будто там нет никого... Не сердись, если заденем тебя сапогами...

Я был благодарен догадливому татарину. Поспешно забравшись под лавку, я вдыхал приятный запах ваксы, которой были начищены татарские сапоги. Слышно было, как в купе вошел контролер, щелкая машинкой по билетам. К счастью, он не заглянул вниз, под сиденье. Я прятался до тех пор, пока он не проверил весь вагон.

— Вылезай! — крикнули мне мои благодетели. — Чем ты теперь угостишь нас?

— У меня есть французская булка и четыре пятака.

О «красненькой» зашитой в подоплеку я ничего не сказал.

— Да ты, оказывается, не скупой... Ничего нам не надо, оставь эти деньги себе. Куда едешь?

— До Марычевки.

— А мы до Бузулука. Перед Марычевкой тебя разбудим. Ложись вдоль стенки и спи. Вот тебе мешок вместо подушки.

— Какие они хорошие, — думал я, засыпая, — татары, а не хуже русских, даже лучше.

9. Подгорелые блинчики

Поезд пришел на Марычевку в пятом часу утра. Только что взошло солнце. Длинные тени протянулись по железнодорожным линиям от привокзальных строений и от душистых тополей. Накануне здесь, как видно, прошел дождь: земля и трава были мокрые. Роса казалась дымчатой. В отдельных крупных каплях, державшихся на прочных былинках, сверкало солнце. Багажа у меня не было. В кульке лежала половинка недоеденной булки для матери и четырехлетней сестренки. Я не стал искать попутчиков и сразу отправился домой.

По случаю большого праздника Прохоровская мельница не работала. В лесу было тихо, прохладно, пахло смесью цветов и деревьев. На опушках, перемежавшихся уютными небольшими полянами, зацветал шиповник. Здесь трава была густая, склонившаяся под тяжестью росы. Тонко и приятно гудели пчелы, трепетали прозрачные стрекозы, мелькали разноцветные бабочки, но больше было красных с черными пятнышками. Там и сям щелкали соловьи, по лесу разносилось грустное кукованье. Пение множества птиц сливалось в общий хор, веселящий сердце. Я радовался, что иду в родном лесу, по знакомым тропинкам и дорогам, вдыхаю дорогие каждому человеку запахи. Самара теперь казалась мне еще страшнее. Я даже не вспомнил о Волге и Струковском саде. Когда вошел в село, заблаговестили к заутрени. Я любил наш большой певучий колокол. Как-то на ярмарке я слышал в балагане песню:

«Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он»...

Утренний звон тоже наводил на многие думы... Во всех моих теперешних детских думах было преклонение перед всем родным, которое ничем нельзя заменить.

В селе перед каждым домом были врыты троицкие деревья. Улица была подметена. Чувствовался большой, радостный праздник. Уже завиднелся наш дом. Посреди дороги стояла какая-то женщина. Уж не мама ли? Вот она убежала, а через несколько минут снова стояла на дороге. Теперь я уже различал черты любимого лица. Из печной трубы поднимался голубой дымок. Пахло блинцами, которые так прекрасно умела готовить мать. Скоро подойду к дому. Мать опять убежала. Я догадался, почему она то появляется, то исчезает: налив блинного теста на сковороды, она спешит на улицу. А когда по ее расчетам блинцы уже готовы, возвращается снять их со сковород.

Я вошел в калитку. Мать навстречу.

— Один?

— Один...

— Горюшко мое... Стала выбегать с тех пор, как кугукнул паровоз на станции... Когда увидела одного, сердце чуть не разорвалось от тоски... Половину блинцов перепортила: прибегаю снять, а они уж горят... Ну, как там?..

— Живут.

— Ты похудел... Наверно не понравилась Самара.

— В селе лучше, чем в городе.

— Ну, путешественник, рассказывай! — весело крикнул отец, увидев меня.

— Ты, кажется, собрался к обедне?..

— Ну, хорошо, расскажешь после обеда... ты, кажется, вырос?..

— Пожалуй, посерьезнел, — сказал Павел.

Да, эта поездка на многое мне открыла глаза. Восьмилетний по возрасту я теперь казался самому себе взрослым человеком по пережитому опыту первого самостоятельного путешествия.

10. Заключительные строки

Добро и зло, свет и тени, радость и горе, находки и утраты, хорошее и плохое — постоянно чередуются в жизни. Много печального пережил я в своей первой поездке в губернский город, за 100 верст от родного села, но даже тогда Бог радовал меня хорошими людьми: господином в синем костюме с золотыми часами, девочками Елочкой и Христиной, булочником, давшим фунт белого хлеба за 3 копейки вместо 5, фонарщиком, посоветовавшим держаться середины улицы, четырьмя татарами, упрятавшими меня от строгого контролера под скамейку. Трезвость Николая при мне была большой жертвой с его стороны. Он повел меня в Струковский сад и даже раздобыл 10 рублей, чтоб порадовать родных. О сестре я уже не говорю: она мне казалась святой великомученицей.

Надо ли осуждать отца за то, что он посадил меня на товарный поезд? В этом сказалась его простота, доверие к людям, уверенность в моих способностях.

Заветное желание детства — прокатиться по Волге — исполнилось позже много раз и я могу повторить строки Некрасова:

О Волга, колыбель моя,
Любил ли кто тебя, как я?

Сестра советовала мне избрать учительскую должность. Я внял ее совету, окончил учительскую семинарию и в течение десяти лет был учителем.

Потом я стал писателем. Когда сестра овдовела второй раз, я позвал ее к себе в Москву и она много лет, вплоть до второй мировой войны, была моим Ангелом-хранителем.

— Таких сестер нет больше на свете! — часто говорил я о ней своим друзьям. Она же утверждала, что «Нет во всем мире таких братьев».

Когда меня мобилизовали в «народное ополче-

ние», сестра переселилась в Виловатое. Узнав о том, что я пропал без вести, она пала духом:

— Как я буду жить без Родиона?

За день до смерти, как мне потом сообщили в письме, она увидела меня во сне:

— Как будто с живым повидалась, — радостно рассказывала она окружавшим ее постель родственникам.

Сестра не умрет в моих воспоминаниях, доколе я живу на этой земле.

Июнь 1960 г.
Русская река. Калифорния.

МИЛОСЕРДИЕ

«Вы — свет мира» (Матф. 5:14)

Тесная трехоконная изба дрожала от ветра. Метель гудела в трубе, стучала в ставни, шуршала и гремела в холодных сенцах, проникая сквозь щели неплотных стен.

Отец плел лапти. Мать пряла. Сестра вышивала крестом полотенце. Старший брат читал книгу: «Приключение юнги Вильяма». Старая печальная бабка, похожая на монашенку, сидела на печке, приложив руку к щеке. Над столом висела семилинейная лампа с проржавленным кругом.

Я лежал на полатях вместе с другими детьми. Свешивая головы через перекладину, мы слушали трогательную историю о мальчике с разбитого корабля. Иногда порывы ветра налетали с такой силой, что все вздрагивали. Мать и бабка крестились. Брат, прерывая чтение, вспоминал строки:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.

То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.

— Не дай Бог заблудиться кому-нибудь в такую пору, — говорила мать, — ни пути, ни дороги... верная погибель...

Обычно, в такую погоду звонили в большой церковный колокол. Меня это всегда умиляло и радовало. Я знал, что если когда-нибудь буду застигнут метелью, колокол приведет меня в село. Но в этот раз колокольных сигналов не было слышно.

— Почему не звонят? — спросил я у отца.

Он поднял голову, остановив на минуту плетение лаптей, прислушался и сказал:

— Должно быть звонят, но ветер в ту сторону, потому и не слышно.

По совету бабки была зажжена лампадка. Старуха верила, что этот слабенький свет перед старыми темными иконами может способствовать спасению всех погибающих.

За дверью послышались шаги. Все с удивлением переглянулись. Думалось, что в такую погоду ни у кого из людей не появится желания высунуть нос на улицу. Только великая нужда могла заставить выйти из дому.

Открылась дверь. Вошла женщина, закутанная шалью и занесенная снегом. Сначала никто не узнал ее.

— Беда-то какая, — сразу заголосила она, — с а м о г о нет... Прохора...

Я знал, что когда говорят «самого», то имеют в виду хозяина дома. По голосу все узнали тетку Варвару. Их дом был недалеко от нашей избы. Ее дети были нашими сверстниками.

— Сказал, что беспременно вернется как можно скорее, а на воле вон что делается. Лошаденка плохая, не миновать беды.

— Колокола на улице не слышно? — спросил отец.

— Не звонят, а может и звонят, да разве в этакое светопреставление что-нибудь услышишь? Ох, головушка моя горькая... Петрухе не можется, в жару мечется... Кабы не нужно было лекарства, разве поехал бы на край света?

— А может быть он остался там до утра? — сказала сестра, прерывая вышиванье.

— Ни за что не останется, знаю я его, больной сын может каждую минуту помереть, а он с лекарством будет ждать утра? Об этом и думать нечего. Едет, коль не замерз и не застрял в сугробах... Никогда такой страсти за всю жизнь не видала... И надо же случиться такой беде...

— А чего ж ты теперь хочешь? — спросил отец.

— Посоветоваться пришла: может быть чего-нибудь придумаете, у вас не бабьи мозги.

— По-моему сделать факел, выйти на проулок и крутить, — предложил брат, — не слышно колокола, так увидит свет и будет держать путь на него.

— Факел? Да его задует в первую минуту, — усомнился отец.

— Господи. вразуми, — громко попросила бабка. Все притихли, что-то придумывая для спасения человека. В этой настороженной тишине еще злее показалась метель. Струи ветра проникали сквозь ставни и заледеневшие окна, колебля свет лампадки и тихо покачивая лампу.

— Не унывай! — весело крикнул отец. Бросив колодку с лаптем на лавку, он дружески скомандовал:

— Все одевайтесь и в проулок!

— А что ж мы там сделаем? — удивилась мать, — кричать громкими голосами — всё равно не услышит. Наш колокол в летнюю пору за пятнадцать верст слыхать, а теперь и его заглушила эта ужасть...

— Без крику обойдемся... сделаем что-нибудь другое... Видели на дворе розвальни с обмолоченными ржаными снопами?.. Удивительное дело: у меня как будто чуяло сердце, что они понадобятся: только сегодня привез их с гумна — прикрыть худую поветь, чтоб овцам было потеплее. Но овцы подождут, невзыскательные они у нас: собьются в кучу и согреют друг друга... Пашка, бросай книжку и бери четверть с керосином. Снопы хоть и сухие, но будет еще лучше, если мы их сдобрим керосинцем.

Я слез с полатей и поспешно оделся. То же сделал племянник Ванька, годом моложе меня. Все оживились, повеселели.

— Вы идите, а я с малышами дома останусь и буду молиться, — сказала бабка.

Отец зажег фонарь, в который была вставлена керосиновая «моргушка» — маленькая лампочка с узким фитильком без стекла.

На небольшом дворе метели негде было развернуться. Она только с шипеньем обдавала нас пригоршнями колючего мелкого снега, стараясь сорвать шапки и платки с голов.

Снопов в розвальнях было больше тридцати. Каждый был облит керосином. Лошадь запрягать не стали, решив довезти сани на себе. Открыть ворота было очень трудно, так как возле них уже намело сугроб. Пришлось пустить в ход деревянные широкие лопаты. Перед тем, как выехать со двора, в снопы воткнули двое вил.

На улице было страшнее, чем во дворе. Тьма, свист, снежные круговороты... Резкий ветер, свирепо хлеставший нас по лицам, проникал под одежду, заставлял держаться друг за друга, чтоб не потеряться. До проулка было рукой подать, но сейчас путь до него показался очень долгим. В ясную летнюю пору отсюда открывался вид на простор лугов, отдаленную гряду леса и белую колокольню в том селе, откуда теперь должен был ехать дядя Прохор. Теперь над этим про-

сторомъ — мело, гудело, сыпало, валило с ног, заживо хоронило всё живое.

— Ну, Господи, благослови, помоги нам вызволить человека из беды! — сказал отец и поддел вилами сноп.

— Загородите от ветра.

Шесть человек окружили сноп, наклонившись над ним. С большими предосторожностями брат чиркнул спичкой под снопом, который сразу загорелся огромным факелом. Мы испуганно отпрянули прочь. Отец поднял сноп вверх. При свете пламени видно было беснование метели, которая вытягивалась лентами, завивалась в спирали, или вдруг принималась бросать в нас охапками белой колючей массы. С того момента, как загорелся сноп, метель стала еще злее. Она как будто неистово, с визгом, кричала нам:

— У-у!! Не перехитрите!..

— Пашка, давай другой, зажигай от моего! — — скомандовал отец.

Теперь пылали два снопа. Огненные искры, вплетаясь в гриву метели, окрашивали ее в рыжий цвет. Искры танцевали вместе со снежинками, летели вверх, кружились, исчезая в бездонной мути.

В проулке было четыре дома. Увидев необычный огонь и заслышав голоса, люди выходили наружу. Узнав, в чем дело, они присоединялись к нам, таща со своих дворов всё, что может гореть.

Молодой мужик Василий, недавно отделившийся от семьи, принес старое ватное одеяло, которым покрывал лошадь в холодные зимние ночи. Так как он работал на железнодорожной станции, то у него был запас мазута, хранившегося для разных надобностей. Смочив одеяло мазутом, он принес его на вилах к нашим саням и зажег от горящих снопов. С треском, воем и шипеньем загудело сильное пламя. Это был огненный шквал.

— Господи, спаси! Господи, не погуби! — молилась Варвара. Моя мать и другие женщины поддерживали ее своими молитвами.

— Ничего не слышно оттуда? — несколько раз спрашивал отец. «Оттуда» — означало — со стороны лугов.

— Кроме жалобной музыки — ничего, — отвечал брат и все догадывались, что он говорит о метели.

Василий стал усерднее махать горящим одеялом. Пламя усилилось.

Каждому хотелось услышать о признаках жизни в царстве белой смерти.

Что-то, похожее на конское ржание, почудилось мне.

— Едет! — крикнул я, — слышите? Ржет Буланка!

Люди притихли, прислушиваясь.

— Ошибся, сынок, — печально сказала мать, — показалось это тебе...

— Едет! — настаивал я, — неужели не слышите?

Снова все затаили дыхание.

— А ведь Родька не ошибся: кто-то едет... теперь слышу и я, — поддержал меня отец.

Вскоре до нас донесся протяжный заливающийся голос:

— А-я-я-я-яй!

Ему ответил хор голосов:

— П р о х о р... Н е д о б е ж к и н!.. А-ууу!..

— Ау! — откликнулся голос издали.

— Господи, Господи!.. Он, его голос... Да как же это?.. Чудо Господне!.. Спасли! — заметалась возбужденная, радостная Варвара.

Ветер сорвал шаль с ее головы, растрепал ей волосы. Женщины пытались покрыть ее, но ей было не до того. Она не чувствовала холода, ее радость была сильнее опасений простуды.

Уже слышно было понукание Прохора измученной Буланке. При свете снопов и одеяла уже виднелось что-то медленно движущееся, занесенное снегом.

Варвара метнулась навстречу, за ней последовали моя мать, сестра и другие женщины.

— Сколько осталось снопов? — спросил отец.

— Четыре! — крикнул брат.

Как святого вели женщины под руки измученного Прохора. Его борода была в снегу, брови заиндевели. От него и от Буланки валил пар.

— Братцы, кто вас надоумил на это? Я... я... уж и не знал, как...

Он не мог больше говорить: слезы прервали его слова.

— Чего ты?.. Ну, Бог с тобой!.. Теперь уж нечего убиваться, — утешала его Варвара, — дошли наши молитвы до Бога... все тут за тебя молились...

— Петруха жив?

— Жив! Лекарства ждет!..

— Привез! — радостно крикнул Прохор, — как всё ладно вышло... О себе в степи не думалось... Хотелось Петруху вызволить от смерти... Буланку тоже было жалко... Натерпелась она бедная муки...

Варвара подошла к лошади и стала смахивать с нее снег. При свете огня были видны добрые печальные глаза лошади, которые как бы говорили: «Разве я не понимала, что падать нельзя, когда дома нас ждут с нетерпением и страхом»...

Одеяло всё еще горело. Василий нес его, как огненное, победное знамя, когда все собравшиеся торжественно провожали Прохора и Варвару до их дома.

— Ребята, а вы ничего не замечаете? — спросил отец.

— Замечаем! Метель утихает! — крикнул брат, — наверное она рассудила так: «Зачем мне понапрасну тратить силы, коль я не заморозила этого мужика и его Буланку?»

Счастливый общий смех был ответом на слова брата.

1958 г.

ЖАЛОСТЬ

Я жалел нищих, сирот, безродных стариков и старух, но больше всего девиц, не вышедших замуж. В двадцать лет их уже называли засиделыми, вековухами, перестарками. У их подруг, с которыми они когда то проводили весенние ночи в играх и песнях, уже были дети, а они всё еще ждали женихов без надежды когда-либо дождаться.

Девченки, на которых они еще недавно смотрели, как на зеленую мелюзгу, подросли, похорошели, завели ухажеров, стали невеститься.

Всеми отвергнутые держали себя деланно развязно, как будто не случилось ничего страшного, вместе с новыми подругами водили хороводы, усиленно белились и румянились, появлялись на всех «вечерках» — разряженные, пахнущие дешевым туалетным мылом, но парни смотрели на них с полупрезрительной снисходительностью, называя их перезрелыми дынями, потрескавшимися на корню и годными только на завтрак голодным птицам.

Когда в церкви происходило венчание очередной счастливой пары, забракованные стояли неподалеку от аналоя, полные еле скрываемой грусти, а иногда напускного веселья, как бы давая всем понять, что счастье не в раннем замужестве, а в продолжительном и беззаботном девичестве.

Я смотрел на них и мое мальчишеское сердце сжималось от тоски и недоумения.

— Почему их никто не берет замуж?.. Чем они плохи?..

Своими переживаниями я делился с матерью, зная, что она поймет меня и вместе со мной посочувствует несчастным. К разговору о невышедших замуж я возвращался неоднократно в часы, когда оставался с матерью наедине. Это было чаще всего в лугах, куда мы ходили за щавелем, или в лесу, где мы собирали грибы и ягоды.

Однажды мы сидели на берегу реки, очищая собранные грузди от червивых черешков.

— Мама, — спросил я, — сколько тебе было лет, когда ты выходила замуж?

— Восемнадцать.

— Ой, — испугался я, — еще немного и ты бы стала вековухой. Неужто тебя никто не сватал?

— Обходили...

Мать вздохнула, задумалась, как-то сразу стала печальной, почувствовав обиду на всех тех, которые брезгали ею.

— Чем же ты не угодила женихам?

— Бедные мы были, ну и ростом я не вышла... Ведь всякому охота жениться на королевне, на писаной красавице, а я была — недомерком...

— Но ведь ты хорошо пела: все соседи говорят, что такой песенницы не было во всем селе.

— Из-за песен-то и польстился на меня твой отец, потому что и сам был певун.

— А сколько лет было ему?

— Девятнадцать.

— Значит, он был уже засиделым?

— Парни считались «старыми грибами» только после двадцати пяти лет. Двадцатилетний жених был в самом соку и смышленности в таком было больше, чем в безусом парнишке.

— Так что ты моим отцом была довольна?

— Ну, еще бы!.. Ведь он был не только моим подголоском в песнях, но и лицом красавец: кудри на картуз вьются, походка статная, лицо улыбчатое, всегда шутит, смешит людей до упаду, в работе ни один человек не мог его перегнать, а добротой он всё село удивлял.

— Как тебе повезло, мама. Я очень рад, что ты вышла замуж за отца. Ведь если бы он на тебе не женился, то и меня бы на свете не было и мы сейчас не сидели бы на берегу речки и не разговаривали...

Солнечный сентябрьский полдень, уже сделавший

несколько шагов в сторону вечера, был на удивление тихим и теплым. С деревьев бесшумно, со святой покорностью, падали золотые и огненно-красные листья.

Перебрав, очистив и аккуратно уложив в две корзинки грибы, мы решили закусить. Краюха серого пшеничного хлеба от воздуха и тепла покрылась по разрезу черствой пленкой и даже слегка запылилась в сумке. Мы разломили ее пополам. Мать от своей половинки отделила мне. Я от своей отломил ей.

— Ну, вот, не обидели друг друга, — засмеялась она.

Обмокнутый в воду хлеб казался вкуснее всякой праздничной стряпни.

В прозрачной воде играла рыба. Темноспинная, она плавала стадами, ловя крошки, которые мы ей бросали. Иногда, поодаль от берега, слышались всплески, оставляя на поверхности реки расходившиеся круги.

— Лес задумался, — сказала мать.

— О чем?

— О скорых переменах.

— Разве он умеет думать?

— Он ведь живой, а раз так, то значит и думать умеет... Ему есть о чем подумать: впереди холодная осень и долгая лютая зима.

Птиц почти не было слышно. Только изредка там и сям трещали сороки. Одна даже прилетела совсем близко и, не боясь нас, уселась на золотистую березу, под которой мы отдыхали и разговаривали.

— Что ты, мама, думаешь об Анютке Ермохиной? Почему ее никто не берет замуж?

— Потому что и в длину и в ширину одинаковая: на круглую булку похожа. Женихи думают: «А вдруг все дети уродятся в нее?.. Ведь тогда их шариками и колобочками прозовут — стыда не оберешься»...

— Ты тоже маленькая, но отец не побоялся на тебе жениться?..

— Я уж тебе сказала, что меня песни из беды

выручили. Ермохина плясать ловка, а на песни — не горазда.

— Пляска тоже хорошее дело.

— Народ больше любит песни: их можно петь и в молодости и в старости, а плясать старому человеку — только людей смешить...

— А если ей «калбуки» повыше сделать — не в вершок, а в четверть? Тогда и она будет казаться высокой...

— Все будут смеяться, что девка на ходули вскарабкалась. Людей не проведешь, они всё приметят.

Мне нравилась Ермохина Анютка — кругленькая, веселая, ласковая. Такой девкой брезгать? Удивительные теперь на свете люди, привиредливые теперь женихи! Будь я в годах, я бы не посмотрел на ее маленький рост! Она сама про себя выкрикивает, когда пляшет:

Не гляди, что я мала,
Я девченка — удала!
Мне бы шляпу и калоши,
Еще б лучше я была!

— Машку Саблину тоже никто не сватает.

— Потому что рябинки на носу. И как не доглядели отец с матерью, когда она в детстве оспой болела? Щеки и лоб — чистые, розовые, а нос, как сморчек, а ведь он на самом виду, ведь его каждый человек видит раньше всего.

— А я даже ни разу не приметил, что у нее на носу ямки.

— Потому что тебе только двенадцать лет: до твоей женитьбы еще очень далеко... А вот когда начнут пробиваться усики, когда справишь сапоги со скрипом и картуз с лаковым козырьком, тогда всякую корявинку на девичьем лице приметишь.

— Она же добрая, а бывают без рябинок и корявинок, а злые, как ведьмы.

Нет, определенно, с народом творится что-то неладное, — думал я. — Разве может помешать дружной, согласной жизни некрасивый нос?.. Куда же девать людей с такими носами?.. На базаре продавать?.. Кто их купит?.. Я искренне страдал за всех обойденных, пренебрегаемых, презираемых, осмеянных, заклейменных дурной славой.

— А если б Анютка и Машка были богатые, люди не посмотрели бы на малый рост и рябинки?

— С хорошим приданым и колоду можно просватать.

— Разве это правильно?

— Знамо, неправильно, но что поделаешь с людьми, если они с начатия жизни такие?

— Но ты — не такая?.. Я — не такой?..

Мать улыбнулась и ласково потрепала мои темные кудри.

— Кабы нам с тобой дали волю — распоряжаться людьми, мы бы всех вековух приказали выдать замуж за писаных красавцев!.. Ведь правда? — Да уж раздоказали бы всем привередам!..

Мать засмеялась.

— Но бодливой корове Бог рог не дает!

— Скажи, чем Катька Аристова не угодила парням?

— Своей породой: в их семье дедушка был мешком из угла ударен...

— Разве это страшно?

— Когда человек с сумасшедшинкой?.. Не больно хорошо.

— Но ведь таким был дедушка. Чем же виновата Катька?

— Люди теперь стали боязливые, думают: «А вдруг и на нее будет накатывать, как на деда?»

— А на них не накатывает, если они так думают? Они и про Аленку Бугрову славу пустили, а девка вон какая: и ростом не мала, и нос не рябой и дед не сумасшедший... Почему же ее не сватают?..

— На язык чересчур бойка. Скажи ей слово — она тебе выпалит пять, скажи пять, она протараторит — двадцать пять. Не девка, а бахчевная трещетка, какой птиц пугают. Жениховы родители думают: «Введи такую в дом, так в ушах будет звенеть с восхожей зари до закатной»...

— Ну, и люди развелись на свете! Ничем им не угодишь, всё им не так и не этак... А сами-то лучше?..

— Люди на себя никогда не смотрят, они видят только чужие червоточины.

Я вспомнил в эту минуту о книге, которую читал недавно вслух старший брат. В книге описывался гарем султана со множеством жен. Значит, можно жениться не на одной, а сразу на десяти или двадцати! Значит, если бы нашелся добрый человек, он мог бы собрать в своем доме всех засиделых...

— Мама, скольких лет можно жениться?

— Если поехать за разрешением к «алхирею», то семнадцати с половиной.

— Значит, мне можно жениться через пять с половиной лет?

— Да, если бы ты захотел.

— Мама, я хочу у тебя спросить... Только ты не смейся. Это очень серьезное дело...

— Уж не хочешь ли жениться на какой-нибудь вековухе?

Я почувствовал, как по моему лицу разливается краснота. Меня прошиб пот, хотя уже веяло прохладой и на том месте, где мы сидели, вытянулись длинные тени от деревьев.

— Ты, мама, угадала, но не всё... Я бы хотел жениться не на одной, а на всех сразу... Можно?..

— Никак не мыслимо, сынок!

— Ведь в книге написано о многих женах!..

— Так это у нехристей: у татар и турок, а мы — крещеные... Да если б и вышел такой закон: «Бери жен, сколько хочешь», — неужто ты женился бы на всех перестарках?.. Ведь тебе проходу не было бы от насмешек, все бы кричали: «Глядите, глядите, безусый командир Родька ведет свою беззубую роту!»... И в голове не держи таких мыслей. Я знаю: сердце у тебя жалостливое, это не плохо, но если жалеть всех старых девок, то разве хватит одного твоего маленького сердца?..

— Пожалуй, действительно не хватит, — подумал я. Слова матери столкнули камень с моей души. Мы взяли корзинки и пошли домой — счастливые отдохнувшие, любящие друг друга. На наши головы падали золотые листья осени. Треугольники улетавших на юг журавлей заставили слегка погрустить: значит, скоро опять дожди, холода, грязь... Но в ненастные дни как раз начинаются свадьбы. О, если бы в эту осень посчастливилось всем засиделым, вековухам и перестаркам!

1958 г.

ДУХОВИТАЯ

Сестра ухорашивалась перед старым зеркалом, на котором не осталось местечка, где бы можно было увидеть себя: всюду тусклые пятна. Над его узенькой, коричневой рамкой красовался широкий бант из вышитого полотенца с самодельными толстыми кружевами.

В трехоконной избе собралось много народу — своих и чужих. Тут же резвились кучерявые белые и черные ягнята, каких рисуют на иконах и божественных картинах. Со вчерашнего дня в избе появилась телочка — вся красная, с белым, неровным пятном на лбу.

По замерзшим окнам и по обшитой двери, от которой шел холодный пар, можно было догадаться, какой лютый холод на дворе. Входившие крякали, с

шумом скидали рукавицы и бросали на приступку возле печки.

Над столом висела семилинейная лампа. От ее жестяного, проржавленного круга падала большая тень на потолок. Чуть заденут за лампу и она долго качается, а вместе с нею двигается и круглая тень по потолку.

Топилась ржаной соломой маленькая побеленная голландка. Мальчишки и девченки сидели возле и пекли луковые головки. Соломы было навалено много. Ее толкали в печку большими пуками. Иногда пламя, завиваясь кверху, вылетало наружу. Разрумяненные огнем дети шарахались подальше и валились на солому, задирая босые ноги.

— Сгорите проваленные! — кричали старшие.

— Сами-то зажарятся — горя мало, а коль избу спалят, кто пустит в зиму зимскую?

Сестра торопилась на вечерки: просватали задушевную подругу Алёнку. Вчера был малый «запой». Сводили жениха и невесту. Девки пели величальную песню:

Вьётся, вьётся, стелется
По лугам трава шелко́вая.
Мил со мило́ю сходятся,
Целуются, милуются.

А сегодня просто соберутся жениховы товарищи и невестины подруги. Будут танцы под гармонь. Гармониста со станции позвали — чернобровый телеграфист, пиджак с желтыми кантиками, загляденье. В перерывы между танцами будет игра «в соседи», щелканье семечек и орехов. Шелуху нарочно не подметают, чтобы хрустела. Всем толпящимся у двери видно: вон сколько гостинцев принесли ребята, аж треск под ногами.

Зимой кому охота в сапогах да ботиночках мерзнуть, коль у всякого новые валенки припасены? Снимешь с печки, сунешь ноги в середку, а там — горячий дух. Так хорошо, что сразу в дремоту клонит. А на вечерки в валенках не пойдешь: от них ни топота, ни хруста по ореховой скорлупе.

Мать беспокоится:

— Вот простудишься и зачи́вреешь. Мы в старину об этом не думали, а теперь гляди-кось, какая мода пошла: в ботиночках, диви́ Троица, ай Петров день.

— От пляски, тетка Аграфена, не простужаются, — успокаивает Степан Кожанов.

Он сидит на полу и свертывает козью ножку — маленький, бывалый, громогласный старый солдат. К нам за газетами приходит — на цыгарки.

— Степан, где ты такой табак достаешь? — спрашивает мать, — прямо дух захватывает.

— Табак всему миру известный: «Кременчугская полукрупка»...

— Почему-ж, когда другие курят, и горя мало, а от твоего грудь к спине прилипается?

— Потому что другие курят, только добро портят, а я эту струю через все кишковы́е завёрты пропускаю... Ну, известное дело, человечья внутренность — не диколонная лавка, а, как наука доказывает, и столичные студенты в песнях играют, — «сугубая химия»... Поневоле грудь к спине прильнет.

— Ой, слава Богу, что про диколон заговорили: чуть не забыла брови помазать и платочек подушить, — обрадовалась сестра.

«Диколон» и «путру» ухажер подарил — Алешка Миронычев. Картинка парень. Лицо — яблоко «Хорошавка»: круглое, розовое. И ростом, и статностью, и русыми кудрями вышел. С весны до осени щиблеты со скрипом каждый день жесткой щеткой наваксивает. У кого зеркала нет, подходи и глядись. Зимой лаковые сапоги в валяных калошах с отворотами. А самое главное: своя лавочка. На вывеске написано: «Г Л А Н Т И Р Е Я». А весь народ говорит: «Антирелья».

Солдат Степан, когда про войну рассказывает, тоже всё про «антирелью» толмит.

Подруги сестре завидуют:

— Ой, Танюшка, замуж выйдешь, лавочницей будешь.

Сундук с нарядами в сенцах. Выскочила, ничего не накинув. Мать опять трепыхается:

— Скорее ты там... Стенки трещат от мороза, а ей и горя мало.

Вбежала, дверью хлопнула, холод по полу волной катится.

— Ух, как завернуло! — с какой-то радостью говорят мужики, показывая на белые крутые кудри мороза. Навстречу им из печки огненные завитушки.

В избе теснота, дружба, веселость.

Открутила сестра стеклянную пробку в виде рубчатого пряника, хотела «Персидской сиренью» подушиться, а тут непоседа, красная телочка с белым пятном как скакнет! Под ноги сестре, хвостом по зеленому платью шлепнула, диколон из рук вышибла. Расплескались ароматы по телочкиной спине. Шум, крик, смятенье.

— Проклятущая! — застонала сестра.

— Не унывай, ухажер еще подарит, — утешает Степан. А бабы советуют:

— Танюшка, платочком три... Ишь ведь нелегкая ее подвернула...

Окружили телку: мать, сноха Прасковья, соседки Акулина, Варвара, Настасья, да четыре девченки — одна меньше другой, да двое мальчишек. Все ладонями по надушенному месту трут, а потом себе голову гладят, да старательно так, будто на всю жизнь душистыми хотят остаться.

— Дурьи башки, не головы, а шубы трите, — ругает Степан, — голову в субботу вымоешь, и пропало добро, а шуба до скончанья века будет цветком пахнуть.

Подруга Маринка забежала.

— Ой, какой дух райский!

— Скорей о телку трись, около хвоста, — советуют бабы, — половину пузырька вымахнула.

Маринка — бой девка. Русая. Волосы туго косой стянуты, с боков душистым мылом натерты. Пятнадцать копеек стоит. На бумажке не то султан, не то царь заморский. Справа лев, слева львица. Мыло желтое, под верхней бумажкой другая, толстая, в четыре раза свернута: узоры для вышиванья крестом. Так все и зовут мыло: «Бодло́». Разве можно такой дорого́вью зазря умываться? Лицо, небось, и кислым молоком можно обра́зить: всю грязь отъест. Мыло для ду́ха покупают. Праздник ли, вечерки ли, доставай из сундука, поплюй и втирай, где хочешь. Таким манером одной печатки на десять лет хватит.

За окном гармонь, тени молодых и снежный хруст: парни прошли.

— В этакую стужу музыканят, знать пальцев не жалко, — сокрушается мать.

— Небось, нутряным жиром смазали, — успокаивает Степан.

— Да идите уж ради Бога, — шумят бабы, — Алёнка заждалась наверно, хороши, скажет, подружки: и глаз не кажут.

Уходят со смехом, шутками, как будто никакой беды не случилось. То-то сердце девичье: не вспять оборачивается, а вперед загадывает, как будто там одни радости судьбой припасены. Не ведает сердце, от какой малости порою всё рушится.

Думала ли сестра в тот трескучий вечер, что не к добру расплескалась «Персидская сирень»? Пришел и Алешка на вечерки — нарядный, в кремовой рубашке, в синем пиджаке, кудри такие крутые, как будто волосы сахарной водой смочены и горячим гвоздем закручены. А ведь природные. Даст же Бог такие кренделю́шки. Девки млеют:

— Ой, Танюшка, ну, истованный прынц хранцузский... Дай хоть вечерок с ним постоять.

А она возьми да и ляпни, не подумавши:

— Да хоть и на-вовсе забирайте такое добро: не один Алешка в Виловатке, есть и поприглядчивей его!

В сердце — другое было. А языку поозоровать захотелось, ну и брякнул.

Всё от слова до слова вошло в алешкину душу, будто искры на солому упали: заполыхало обидой.

— Про меня такие речи?.. Ну, погоди.

За весь вечер глазом не зы́ркнул на свою симпатью, будто и нет ее, и «Персидской сиренью» будто не от нее, а от других повеивает..

— Он задается, а я дура что ли? — шепнула Маринке, — да провались он со своими кудрями и скрипом сапожным, думает и правда — лучше его во всем свете нет...

Так началось. Гордость на гордость наскочила. До весны вороти́ла нос.

После сева новый дом строить принялись: пятистенный, голубой, с шестью окошками на улицу. Над крыльцом навес узорчатый, две колонки на манер завитушек. А когда новоселье справляли, братья маляры товарища привели. Ростом — под потолок. Глаза большие, черные, стоячие: воззрится на кого и час без миганья протерпит. Кудри не алешкиным чета: те будто соломенные, а эти с вороным отливом. Звать Николаем — царское имя. Самый уважительный святой тоже Николай: два раза в году празднуется. А фамилия — Касаткин. Лучше и не придумать. И еще неизвестно, что доходнее: торговля в деревне, или мастерство в городе.

Загорелось ретивое у приезжего маляра, а сказать о своем пожаре духу нехватает: застенчивый. Сваху нашел, рюмочку поднес, а та и растаяла: парня расхваливать принялась:

— И смиренник, и руки золотые, и дородностью на дворянина смахивает, а о красоте и толковать нечего: любая королевна с руками оторвала бы. За такого выйти — несметный клад найти.

Разомлело сердце у сестры. Без сумленья согласье дала. В тот же вечер с «запоем» поторопились, жениха с невестой свели. Песни величальные, танцы под гармонь в голубой горнице.

На улице — теплынь. Окна настежь. С болот майское кваканье, как раскаты громовые. Коростели́, выпи, кулики угомону не знают. Соловьи в тальнике над речкой и в садах за дворами от всего сердца стараются.

Широкая улица народом запружена. В горнице тридцатилинейная «молния», как газовый фонарь на станции: от света глаза щурятся.

Мечется Алешка. Сам не свой. В дом войти боится: у Таньки три взрослых брата. Они жениха нашли. Сопернику не поздоровится. Нашел Маринку, умоляет:

— Пойди, скажи, пусть откажется. Расходы по «запою» на себя беру. Отца и мать озолочу. Лавку на нее подпишу: хозяйкой будет.

Отозвала Маринка невесту от жениха, шепчет, уговаривает. Запылало лицо невесты: ведь любила и любит, остатки «Персидской сирени» до сих пор в сундуке на самом дне, под шелковыми и кашемировыми платьями, а на все посулы один ответ: головой крутит, дескать, поздно.

— Что же сказать?

— Скажи: «Девок много кроме Таньки»...

— Может передумаешь?

— Нет.

— Ой, Танюшка, как жалко-то его, прямо сердце разрывается.

— Иди, иди, другого ответа не будет.

Жениху стыдно, гостям от догадки неловко, чуют все: Алешка в секреты замешан.

— Хватит шушуканья! — приказали хором братья. А старший даже кулаком по столу громыхнул.

Выбежала на улицу Маринка. У крыльца Алешка подкарауливал. Словно клещами в руку впился:

— Ну?
— От ворот поворот!
— О-о-о!..
На всю улицу застонал: как будто кинжал в сердце по рукоятку всадили. Руки в новую рубашку из «цинделевского» спреневого сатина впились, с верху до низу располосовали. Зарыдал, застонал, закачался, от гордости ни следочка:
— Конец моей жизни на белом свете!..
В горнице всё слышно. Затрепыхалась невеста: неладное сделала, но поправлять поздно.
Всё своим чередом пошло: подруги с утра до вечера приданое готовят. Жених в Самару поехал — закупки делать. По селу только и разговоров — о скорой свадьбе. Дней через пять бабы у колодцев, как о невиданном друг другу рассказывали:
— Десять фунтов конфеток привез, «гребежовских», да боченок «Кагору», а невесте две печатки мыла — «Земляничное», мармеладом пахнет и «Мыло Молодости — Секрет Красоты» с грудастой бабой.
Свадьбу на Троицу справили. Свадебный поезд из пятнадцати подвод. На каждой дуге березовые ветки, цветы. Народу в церкви — не продерешься. Полыхают свечи. Пахнет травой — много ее под ногами, будто ковер пушистый.
Невеста в голубом шелковом платье, жених в голубой рубашке и в полосатой тройке. Оба красивые, чернобровые. Народ одним озабочен: кто раньше на коврик ступит. Подруги невесте с утра внушали:
— Не прозевай, Танюшка, а то всю жизнь на тебе будет ездить, вздохнуть не даст.
Может и не забыла бы, да такой случай вышел: повела глазами влево, а среди народа Алешка — бледный, худой, только глаза горят, как будто подсказывают: «Отрекись под венцом»... Сжалось от боли сердце, про всё забыла, а он, суженый-то ее, обеими ножищами первым на коврик ступил, даже притопнул.

«Плохо ей будет», — запало в каждого.
Веселая была свадьба: всю неделю до Петровского заговенья в горнице песни, танцы, топот, разливанное. Ни разу Алешка порога не переступил. Только возле окошек метался и казнился.
Молодые вскоре в Самару уехали, на углу Соборной и Полевой, в доме Медведевых комнатенку сняли. Перед окном широкая Волга, пароходы и буксиры, с гудками певучими, протяжными, грустными. Огласят берега, откликнутся эхом на той стороне, у села Рождествена, и что-то родное вспомнится: как весной, на лесных полянах хороводы водили, как по темным чащам разбредались, аукались, слово друг другу давали.
А тот зимний вечер, когда не телочку «Персидскую спрень» пролила, разве забудется? Так и осталась нечаянная кличка за белолобой: «Духовитая». Хоть бы взглянуть на нее.
Не повезло сестре в городе: как будто цветок с корнем из земли вырвали и на камень бросили. В женихах Николай берегся, не прикладывался к рюмочке, а теперь каждый день в глазах муть, ноги не твердые, язык заплетается. А в получку и совсем домой глаз не кажет: зайдет в трактир, надрызгается, скопы́тится, карманы и обчистят. Пойдет искать пропащего, а он в «части», в отделении для пьяниц.
К масляной девченка родилась, горя прибавилось: от постоянного трепыханья молоко в груди пропадать стало. Тоненькой былинкой девочка к свету тянулась. Диво, как Богу душеньку не отдала. Вместе с крошкой мать по городу слонялась. В каждой пивной пытала:
— Не видали моего?
— Видали. Начал тут, а где закончил, не ведаем.
Тянет груди худенький ангелочек Клавочка, а в них давным-давно ни капельки.
— За гордость Господь наказал. Так мне и надо. Сама свое счастье в колодец бросила.

Дошел слушок про Алешку, будто слово дал: не жениться.

— Такой не найду, а хуже не надо.

Вскоре война. Николая забраковали: от пьянства сердце совсем развинтилось. Алешка на передовые сам попросился. Не берегся человек. Смерти искал. И нашел. Через месяц пришла открытка в черной рамке: «Пал смертью храбрых».

Маринка (полгодом позже Таньки замуж по согласью вышла) как будто по неминучести в Самару поехала, а на самом деле — потужить, погоревать, поплакать вместе с подружкой задушевной.

В церковке, возле земской больницы, панихиду заказали по убиенном воине Алексее. Как запели «Со святыми упокой», грохнулась сестра на колени, лбом к полу приникла, затряслась, заголосила.

— Танюшка, — шепчет Маринка, — покрепись, совладай со своим сердцем...

— Силушки моей нету, Маринушка, я его болезного своей глупостью со света сжила и сама света не вижу...

Когда из церкви вышли, подруга утешает:

— Помнишь, что нам отцы и матери внушали — «На всё воля Божья»...

— И на гордость нашу?.. И на темноту душевную?.. И на слова колючие?.. Не гневи Бога, Маринушка. При чем тут Он, коль дьявол попутал, сердце супротивностью помутил?

— Приезжай с Николаем в Виловатку. Может там, подальше от греха, остепени́тся.

— Нет уж, когда человек под гору покатился, не остановишь.

— Ну, брось его.

— Сама набедила, а теперь в кусты?.. Нет уж, Маринушка, одно мне осталось: терпеть и каяться, без ропота, до могилы крест нести...

— Да ведь всё равно ропщешь.

— По душевной слабости, Маринушка...

Глаза к небу подняла:

— Алешенька, прости меня дуру неразумную, помяни в своих святых молитвах солдатских... Никогда не забуду твоего взгляда в церкви, когда под венцом стояла!

И в этот день не вернулся Николай с работы. Вместе с Маринкой его искала, раздетым и разутым в отрезвителе нашла.

— Вот видишь, подруженька?

— Ох, вижу, больше горя и не придумаешь.

А еще через год ухайдакали корыстные люди пьяного маляра: голову до мозгов прошибли. Снова панихида, снова слезы по тому и по этому, по своей молодости загубленной.

Теперь уж ничто не удерживало в Самаре. В родную Виловатку потянуло.

«Духовитая» коровой стала — красавица писаная — статная, смирная, круторогая, глаза умные, грустные.

Мать всегда с посоленым ржаным кусочком из стада встречала. А в этот вечер с самарской гостьей ждала. В конце села пыль заклубилась.

— Идет стадо!

Затрепетало сердце сестры:

— Узнаю ли?

— Узнаешь, она всегда первой идет, как поводырь.

Видит сестра: далеко от всех отделилась красная корова, как будто остальные не ро́вни ей.

— Признает ли душу скорбящую?

Как будто не корову поджидает, а подругу желанную.

— Ду-хо-ви-туш-ка, а к нам из Самары твоя зна-

комка приехала, — сообщает мать идущей впереди корове.

К калитке подошла. Остановилась. Справная, осанистая, чистая. И к хлебу не тянется. На приезжую смотрит. И вдруг ласково-протяжно:

— Му-у-у!..

Как будто сказать хотела:

— Узнала!

Не выдержала сестра: обняла рогатую голову, слезами облила:

— Ты счастливей меня... подоиться дашься?

И опять кроткое:

— М-у-у!..

В болотах, как и тогда, в предсвадебье, раскатисто стонали лягушки, из лесу доносилось грустное кукованье, в тальниках над речкой заливались соловьи.

— Господи! Да не сон ли всё это — моя жизнь горемычная, мои слезы горючие?

Молочные струи сначала со звоном, потом с глухим шуршаньем текли в ведро, а по лицу доильщицы бежали неудержимые, прозрачные ручейки.

Полное ведро надоила. Не пошевельнулась Духовитая, словно раскаивалась за ту далекую младенческую шалость, по вине которой была пролита алешкина «Персидская сирень».

Подошла мать.

— Ну, что ты себя изводишь? Когда будет конец этой сухоте?.. Слышишь, как птицы заливаются? Всё радуется, а ты прочернела от думы.

— Не говори, не говори, мама... Больно тут... тяжко...

И руку к сердцу приложила, вздохнула со стоном, слезы фартуком вытерла:

— Ну, что ж, видно так надо... по заслугам.

1951 г.

ПЕСНЯ

Я был молод, здоров, только что женился. У меня вышли в свет уже две книги. Все журналы охотно печатали меня. Я был признан критикой, как «правдивый бытописатель, верный заветам Глеба Успенского». Чтобы доставить удовольствие жене, я решил повезти ее на свою родину, в Самарскую губернию. Отец к этому времени уже умер, но была жива мать, которая давно уговаривала меня жениться.

— Старое мясо не уваришь, старого жениха не уженишь, — часто повторяла она последние пять лет — женись, сынок, пока не поредели волосы и не выпали передние зубы, пока ты не стал привередливым и разборчивым. Старому жениху — и то не так, и другое не этак. Ему и ангел во плоти не угодит. Твой отец женился на мне, когда ему было девятнадцать, я на год моложе была. А ведь не плохо прожили жизнь, хоть бедность и сокрушала каждую минуту, но при согласье да хорошем нраве и бедность не страшна. Самое главное — совет да любовь.

Как же было не порадовать старушку, потерявшую к этому времени всех сыновей, погибших при трагических обстоятельствах и оставивших по куче ребятишек?

Мы решили поехать поездом из Москвы до Нижнего, пароходом добраться до Самары, а оттуда сто километров проехать поездом.

И вот красивый белый теплоход бывшего общества «Кавказ и Меркурий», раньше называвшийся «Двенадцатый год», а теперь переименованный в «Семнадцатый», бесшумно бежит вниз по Волге, перегоняя плоты и буксиры с караванами барж.

До этого я всегда путешествовал по Волге четвертым классом и, в редких случаях, третьим. В этот раз я мог позволить себе небывалую роскошь: прокатиться вторым классом. У меня была принята третья

книга, за которую я получил три четверти гонорара. По тому времени это были большие деньги.

В свои прежние поездки по Волге, начиная с пятнадцатилетнего возраста, я всегда смотрел с завистью на «Верхних» (так я называл пассажиров первого и второго классов). Вход «нижним» на верх был воспрещен, а если они всё же пробирались туда, то должны были придавать своей внешности культурно-аристократический вид: получше одеться, побриться, причесаться, начистить до блеска ботинки, надушиться и принять независимо-гордый вид. Проскальзывали они туда незаметно, в те часы, когда не предвиделось проверки билетов.

Я всегда был бедным, скромно одетым и никак не мог походить на «верхнего». Теперь у меня было три костюма: белый, синий и серый, шелковые рубашки, новая шляпа, замшевые туфли, много модных галстуков.

О, какое приятное чувство легкости, непринужденности и естественности испытывает человек, когда ему не приходится ежеминутно думать об изъянах одежды и обуви, о бросающейся всем в глаза бедности, когда не нужно маскировать нищету развязностью, апломбом, нахальством или юродством. С каким сладким чувством гордости и самоуважения открываешь двери, закрытые для миллионов!

Теплоход вышел из Нижнего солнечным воскресным утром. Остановок он делал очень мало, вниз по течению летел, как стрела, вздымая большие водяные валы, на которые с криком и смехом устремлялась катающаяся в лодках молодежь.

В каждом селении на берегу виднелись толпы нарядно одетых людей. Они махали пассажирам руками, платками и фуражками. С теплохода им отвечали тем же. Особенно были трогательны приветствия детей. Вот девочка-нянька ведет за руку карапуза, который, как видно, только вчера или позавчера сделал

первый шаг в своей жизни. Но и он машет рученкой, щурясь от яркого солнца и слепящих бликов на воде.

Там и сям, поближе к отмелям, снуют рыбаки, ставя или проверяя снасти. Теплоход бежит, не боясь мелей. Всюду мутное, могучее половодье. Иногда мы проскальзываем узкими проливами между берегом и лесистыми островами. Слышно, как в лесу кукуют кукушки, поют соловьи, звенят иволги. Нас затопляет аромат цветущих деревьев. Пассажиры с палубы тянутся сорвать зеленую ветку. Каюты пусты. Широкие балконы заполнены чистой публикой. Гуляют парочками, целыми толпами, стоят, облокотившись, на лакированные перила, сидят на белых скамейках. Тут же закусывают и пьют чай. Знатоки Волги, как экскурсоводы, могут назвать каждую деревушку, каждый поселок и рассказать, чем он прославился в древнее или новое время. Все с нетерпением ждут, когда теплоход причалит к пристани, чтобы там накупить всякой снеди: пирожков, ватрушек, курятины, жареной рыбы, стерлядок, свернутых в колечки.

И хотя у каждого не мало съестных запасов, захваченных из дому, и хотя к услугам пассажиров обильный выбор блюд в местном ресторане, где можно заказать и ароматный рассольник с почками, и пикантную окрошку с льдинками и густым слоем свежей сметаны, и заливного судака, и жареного розового поросенка с гречневой кашей, но таков уж русский пассажир, путешествующий по Волге, что не может он пройти мимо кушаний, заманчиво красующихся на широких лотках, в чистых кастрюлях, в глубоких жаровнях. Как можно сохранить равнодушие между рядами торговок, приветливых, румяных, услужливых, добрых?

Пусть уже девять лет, как слово «товарищ» стало непременным при обращении к кому-либо, здесь, на пристанских рынках, своя конституция.

— Господин хороший, отведайте моей стерля-

дочки! Коль по нраву придется, купите на дорожку, а не понравится, не взыщу.

Не хочется обидеть и других, предлагающих моченые антоновские яблоки, душисто-золотую, прозрачную воблу своего копчения, горячие сдобные лепешки на сметане, гречневые крупяники с творогом. В сумках, в кульках, в пакетах, в газетной бумаге, в карманах — полно покупок.

Теплоход уже дал два гудка. Через минуту раздается протяжный, густой, внушительно-предостерегающий и отечески созывающий третий. Раскрасневшиеся, счастливые, нечаянно задевая друг друга, со смехом и криками бегут пассажиры по трапу, а капитан уже отдает приказания. И вот теплоход отваливает. Теперь за всеми столиками на балконе пассажиры угощают друг друга.

Многие ли из живущих на земле могут похвастаться частыми ощущениями счастья, когда не думаешь ни о чем тяжелом, когда душа поет жаворонком, когда всё в мире кажется целесообразным, когда все люди, независимо от национальности и происхождения, кажутся братьями?

Такие моменты можно перечесть по пальцам. И вот как раз тогда, на волжском теплоходе, в конце мая 1926 года, я переживал такой момент. Всё во мне пело. Всё мне казалось прекрасным, значительным, полным глубокого смысла и величия — и пассажиры, и просторы Матушки-Волги, и ее берега с городами, селами, деревнями, с куполами церквей, видными издалека, с народом, живущим на этих берегах, каждая лодка, каждый буксир и каждый бакен.

Я мало разговаривал с женой. Мы только ходили с ней по балкону, сидели на скамейке в носовой части теплохода и молча любовались окружающим. Когда впереди стало слишком свежо, мы перешли на корму. Это было перед вечером, в первый день нашего путешествия. Я взглянул вниз и увидел там множество простых людей мужчин, женщин, подростков. Кто сидел, кто лежал, кто закусывал. Слышались разговоры о Волге, о ее далеком и недавнем прошлом. Всё это были, так называемые, «палубные пассажиры», то-есть, такие, которым администрация теплохода не обеспечивает места: где притулился, там и располагайся на всю дорогу. Но иногда, чтобы разместить удобнее принятый на пристани груз, таких пассажиров прогоняют с их мест и никто на это не обижается: на то ты и «палубник». В хорошую теплую погоду каждый палубник спешит занять место на корме. Здесь почти никогда не дует, так как все ветры принимает на себя носовая часть, отсюда хороший вид и долго не скрывающаяся из поля зрения панорама окружающей Волгу местности.

Я вспомнил свои недавние путешествия «внизу» и странное чувство охватило меня. Моя радость заволоклась облаком смущения. Мне стало неловко не только перед теми, кто в данную минуту находился внизу, а перед всем русским народом, трудящимся в поте лица, питающим своими соками верхушку общества, но никогда не имеющим возможности — полюбоваться жизнью с верхушки.

— Ты посиди здесь, а я схожу вниз, — сказал я жене.

— И в своем белом костюме, в желтых, начищанных до блеска, ботинках и в широкополой серой шляпе отправился к народу. Я предчувствовал, что в первый момент моя внешность будет помехой в установлении добрых отношений с палубниками, но переодеваться не хотелось.

— Здравствуйте, друзья! — сказал я, появившись на корме.

Не сразу эти люди ответили на мое приветствие. Они хотели знать, с какими побуждениями я спустился сверху. Пристально поглядев на меня и не увидев на моем лице подвоха, затаенной хитрости и тонко маскируемой насмешки, они с достоинством, без ма-

лейшего низкопоклонства, медленно ответили почти в один голос:

— Здравствуй!

Я быстро окинул глазами всех, кто здесь находился. На середине кормы сидела крестьянка лет сорока пяти, в бордовом платке, с двумя чернобровыми дочерьми, похожими на нее. На матери был кубовый сарафан с мелкими цветочками. Дочь, которая казалась постарше, была в сатиновом розовом платье со множеством разноцветных отделок на подоле. На младшей была голубая ситцевая юбка и белая кофточка. Головы обеих сестер были повязаны белыми батистовыми платочками.

Рядом с ними расположился блондин лет тридцати, с косым пробором, похожий на приказчика сельской лавки, торгующей красным товаром. На его коленях лежала фуражка с белым верхом и лаковым козырьком.

У борта справа, облокотившись на плетеную корзинку, сидела круглолицая молодка с необыкновенно ярким румянцем на ядреном лице. Она была в малиновом праздничном платье и в шелковой полушалке канареечного цвета. За нею полулежали, положив головы на борт, два деревенских паренька-подростка, как видно, товарищи, едущие на заработки. Один с серьезными грустными глазами казался робким. У другого вместо глаз светились черным блеском два уголька и на всем его лице было написано: «Не унывай, приятель, со мною не пропадешь».

У левого борта сидел еврей лет пятидесяти с пушистой огненной бородой и с большими синими глазами, в которых читалось не то удивление перед премудростью Творца, не то что-то неразрешимое, на что он уже давно не может найти ответа. Глаза, как лесные озера осенью, были полны грусти, но эта грусть не отпугивала, а притягивала, как магнит. Хотелось подойти к нему и сказать: «Не надо печалиться».

Добродушный татарин средних лет, в старом черном бешмете, ел копченую душистую воблу и запивал ее чаем. Были тут и другие инородцы, но большинство палубников составляли русские. Память не сохранила всех лиц, помню только, что народу было много и народ всё был простой, трудовой, не избалованный ни шумными успехами, ни богатством, ни счастьем, которое сваливается с неба.

— Благодать-то какая! — сказал я, указывая на Волгу.

— Нам это не впервой, мы на Волге родились и выросли, а которые из Москвы да из Питера, ну, им, конечно, в диковинку, — протараторила румяная молодка.

— Ишь ты какая бойкая! — обрезал ее лысый старик с черной окладистой бородой. — Я в три раза поболе твоего на свете живу, сотни раз проплывал Волгу от Рыбинска до Астрахани и назад, и рыбу в ней ловил и тонул в бурю, и плоты гонял, знаю каждый ее затон, каждую косу, каждый островочек, а надоела мне она? Приглядела́сь? Нет! Каждый день и час гляжу на нее, как на диковину, как на жену любимую, иль, пуще того, как на дитя, что под старость на утеху родится.

Молодка смутилась и надвинула на лоб канареечную полушалку.

— Я тоже с пятнадцати лет путешествую по Волге и всегда с каким-то особенным душевным трепетом, — поддержал я старика.

Все глядели на меня с некоторым недоумением, не зная о цели моего визита на корму.

— Волга, конечно, главная река в России, недаром ее Матушкой прозвали, — изрек прописную истину блондин с приказчичьим обликом, — но как не все дети свою мать уважают, а есть которые даже отрекаются от своей родительницы, то и род людской не с одинаковыми понятиями в отношении пользы и красоты обиходной.

Чернобровые девушки с почтением взглянули на приказчика, вероятно подумав: «Какой умный!»...

— С верху-то, небось, лучше на нее глядеть, виднее... Зачем же вниз спустился? — спросила крестьянка в кубовом сарафане.

— К вам потянуло.

Черноглазый паренек толкнул в бок своего товарища:

— Филька, слышишь? Нами господа интересуются, а ты говоришь...

— И ничего я не говорю, — буркнул товарищ.

Молодка, оправившись от смущения, опять сдвинула со лба полушалку:

— Когда листократы наедятся до отвала жирного да сладкого, их завсегда на капусту тянет...

— Ну, и сорока, ну и трескотуха, — покачал головой старик. — Как ты можешь, не узнавши человека, обижать его?

— А чем я его обидела?

— Как это чем? А «листократом» обозвала?..

— Какая ж это ругань? Господа-дворяны в старину всегда листократами назывались... Об этом и в Библии написано.

— А ты читала ее?

— Мне это без надобности. У меня муж псаломщик, скоро дьяконом будет.

— А вот ты-то похожа не на дьяконицу, а на такую, которая каждого ни за что, ни про что оконфузит.

Мне не хотелось, чтоб разговор закончился ссорой.

— Милая моя, — обратился я к будущей дьяконице, — внешность часто бывает обманчива. По вашему виду и по вашей бойкости никто бы не сказал, что вы из духовного звания. Не будем говорить о том, кого к чему потянуло — от сладкого к капусте или от капусты к сладкому. Еще неизвестно, кто за свою жизнь съел больше капусты — вы или я... Меня удивляет вот что: плывем мы по Волге почти целый день... Кругом такое раздолье, такая красота... Каждое сердце, как соловей поет... Но по моему это мало. Надо, чтоб запели и уста. Да не кое-как, а хором. Разве нет у нас таких песен, которые по душе каждому человеку? А коль мы всю дорогу будем только о своем житье-бытье друг другу рассказывать, на нас Волга-Матушка обидится. «Какие это, — скажет, — люди? Ни одной песней меня не порадовали»... Волга любит, чтоб над ее просторами песня разливалась.

Мой горячий призыв задел не одну сердечную струну. И так, как звенят струны на гуслях, зазвенели они сейчас в каждой душе на корме. Я слышал этот звон, я чувствовал его. Все лица оживились. Глаза загорелись тихими огоньками благоговения, какое появляется на лицах, когда человек приближается к святыне. Полулежавшие подростки сели, пристально устремив на меня глаза. Бойкая молодка стала кроткой. Чернобровые сестры шепнули матери: «Ты, мама, обязательно»... Я это понял, как желание дочерей, чтобы мать обязательно пела. Приказчик откашлялся и надел на голову фуражку с белым верхом, отчего стал более интеллигентным на вид. Лысый старик расчесал пятерней свою черную бороду. Голубоглазый еврей два раза кивнул мне головой, всем сердцем одобряя мое предложение. Татарин выбросил кожуру и кости от воблы за корму и отодвинул чайник. Все на миг отрешились от житейских забот.

— Какую же! — тихо спросила крестьянка в кубовом сарафане.

— По-моему: «Ой, да ты калинушка, ты малинушка»... Ее вероятно все знают, — сказал я.

— Еще бы не знать, — согласилась со мной молодка.

— А кто будет запевать? — задал я вопрос всем, находившимся на корме.

— Вы, конечно... И спрашивать нечего, — стали раздаваться голоса.

— Хорошо, я согласен, только давайте петь дружнее, душевнее, без отказа.

Раза два кашлянув для прочистки голоса. я запел:

«Ой, да ты, калинушка, ты малинушка»...

Я немного побаивался, как боятся за первый опыт: удастся ли?

С тех пор прошло много лет. Но всякий раз, когда я вспоминаю тот майский день, клонившийся к вечеру, на теплоходе: «Семнадцатый год», горячее чувство радости и печали переполняет мою душу. Что радует меня? Сознание, что колыбель русского народа — Волга-Матушка выпестует в веках много миллионов русских патриотов с чистой, широкой, беззлобной, песенной душой. А глубокая моя печаль оттого, что я могу только вспоминать о Волге, о ее необъятных разливах, о ее берегах, городах и селах, о народе, с которым я общался, разговаривал по душам и пел русские, хватающие за душу песни... Удастся ли мне попеть их там, на родине, хотя бы еще раз перед закатом жизни?..

Хор подхватил конец запева и стройно, сильно, с чувством пропел:

Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой...

У крестьянки в кубовом сарафане было бархатное контральто, у ее дочерей голоса были тоже низкие, грудные, сильные. Голос молодки звенел серебром. Приятно пел приказчик. Товарищи подростки тоже не молчали. Старик волгарь пел басом. Пели даже еврей и татарин, что очень умилило меня.

Ой, да не спускай листов
Во сине море...

Это был мой новый запев, а хор опять подхватил:

Ой, да во синем море
Корабель плывет.

На корму стали сбегаться люди. Очутившись возле поющих, они не могли оставаться только зрителями и слушателями, а в ту же минуту становились участниками.

Ой, да как на том корабле
Три полка солдат,
Ой, да три полка солдат
Молодых ребят.

На кормовой части балкона собралась вся чистая публика первого и второго классов. Впереди стояла моя жена в светло-сером костюме. Она пела, уговаривая жестами остальных «верхних» присоединиться к хору. Сначала многие из них смущались, боясь обвинения в некультурности, в нарушении пароходной дисциплины, в дурном тоне, но песенная стихия с каждой минутой становилась всё более могучей и властной. Дружеская атмосфера отметала, как шелуху, все страхи и опасения. Пропев только одну строку, человек становился свободным от предрассудков и чувствовал себя птицей, парящей над просторами Волги. Свободные от вахты служащие прибежали принять участие в песне. Сверху подпевал басом капитан, внизу пели тенорами, басами, баритонами — лоцман, матросы и толстый буфетчик. Пел весь теплоход.

Ой, да как один-то из них
Богу молится,
Ой, да рядовой солдат
Домой просится.

Теплоход шел близко к берегу. Толпы народа в прибрежном селении махали руками, что-то кричали. Я сделал знак, приглашая и береговую публику присоединиться к песне. Меня поняли: хор увеличился сотнями голосов.

Ой, да господин майор,
Отпусти домой,
Ой, да на побывочку,
На недолгую.

Нет верха и низа, — думал я, — песня снесла все перегородки, спаяла души чем-то, что крепче стали, цемента и бетона.

Дирижируя и запевая, я поворачивался лицом во все стороны. На многих ресницах сверкали слезы восторга и сыновней причастности к великому, дорогому и вечному, что называется Р О Д И Н О Й.

Ой, да на единую
На неделюшку,
Ой, да ко жене молодой,
К отцу с матерью.

Когда песня была спета, бойкая молодка в канареечной полушалке, теперь вся в слезах, громко сказала:

— Господи! Ой, Господи, как хорошо!.. Милый человек, спасибо-то вам какое... Впервой в жизни вижу такое: всех на песню подмыли — и пароходских и береговых... Простите меня, что я с первого-то разу вроде как на смех вас подняла. Думаете, это со зла? Да ни в жисть... Просто язык у меня такой болобонистый... Муж-то меня песочит, песочит. Ему, конечно, конфузно, что во мне нет ни единой капельки поповской святости, а чем я виновата, что такой уродилась?..

— Вы еще молодая, подтянитесь, — сказал я ей в утешение.

— Дал бы Бог.

На лице еврея тоже были следы слез. Я не знал, чему это приписать. Подойдя к нему поближе, тихо спросил:

— Вам грустно?

Он схватил мою руку.

— Спасибо... спасибо... Не всякому это дано... Я вас понимаю... я вижу насквозь ваше сердце...

— Кто же это вас песням-то научил, да не коекак, а по-нашему, по-крестьянскому?

— Родная мать, приволжская крестьянка Аграфена. К ней из Москвы в гости еду.

— А как же на верху-то очутился? — допытывалась крестьянка, переходя на ты.

Народ не расходился, вероятно думая, что дело не ограничится одной песней.

— Первый раз я там... да как-то, без привычкито, не по себе... Чего-то как будто не хватает... К вам потянуло.

— За это спасибо. Одет ты хорошо, по культурному, наверно должность хорошую занимаешь?

— Можно сказать, совсем без должности.

— Ой, спаси Господи, — испугалась крестьянка, — откуда ж деньги на хорошую одежу берешь?..

— А это вот как получилось. Я хорошо знаю крестьянскую жизнь, потому что вырос и до двадцати лет жил в деревне. А когда приехал в Москву, знакомые стали уговаривать: «Пишите рассказы о деревне». Попробовал, написал, понес в редакцию. Приняли, попросили писать еще. Вот так, совсем нечаянно, стал писателем и выпустил в свет несколько книг. А за это деньги дают.

— Ты гляди-кось... ведь лучше этого ничего не придумаешь. Никто над тобой не властен, от каждого тебе почет и уважение, все перед тобой картуз снимают, а ты себе и в ус не дуешь. А перышком-то по бумаге строчить всё-таки вольготней, чем, к примеру, топором стучать, иль землю лопатой ковырять...

— Ты, мать, совсем заговоришь нашего писателя, — упрекнул крестьянку старик, и, обращаясь ко мне, сказал:

— Очень мы все довольны, что такой человек, как вы, писателем стал. Первое дело: раз вы крестьянин, то и писать будете о крестьянах, а второе дело: раз вы песню нашу любите, среди песен деревенских ро-

дились и выросли, то у вас не повернется язык говорить неправду о деревенской жизни. Недаром деды и отцы внушали нам: «Песню поешь — правду говоришь».

— Давайте петь еще! — стали раздаваться голоса.

Много песен было спето в тот вечер.

После «концерта» все пассажиры теплохода считали меня своим человеком: со мной заговаривали на разные темы, расспрашивали о моем прошлом, зазывали к себе, угощали. Капитан теплохода пригласил меня в свою каюту.

— Я очень рад за пассажиров. Жаль, что вы сходите в Самаре. Как было бы хорошо, если б вы были с нами весь рейс. Может быть прокатитесь до Астрахани и обратно до Самары?

— К сожалению, никак не могу: я уже дал телеграмму матери о дне и часе приезда. Старушка будет огорчена, если я нарушу свое обещание.

— Понимаю вас.

Когда я выходил с теплохода в Самаре, меня провожали приветствиями, пожеланиями счастья, здоровья, успехов в жизни. Мне было грустно. Вспомнил пословицу: «Кабы не встречались, да не прощались, то бы и с горем не знались». Но было и что-то хорошее в душе. Пусть я никогда не встречусь с этими людьми, но будут встречи с другими, такими же хорошими, как эти. Я знал, что всем им грустно расставаться со мною, но и они утешатся другими радостями, другими людьми, которые займут мое место.

В переполненном зале первого класса самарского вокзала пришлось долго ждать поезда. На родной с детства станции Марычевке мы были в 11 часов вечера. Нас встречали мои сестры и племянники. Домой приехали в 12. Многочисленные родственники собрались в доме младшей сестры. Там же была мать.

Столы были накрыты для угощения. Я обнял свою семидесятилетнюю старушку и запел вместе с нею:

Ой, да ты калинушка, ты малинушка,
Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой.

1948 г.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

В середине января 1941 года ко мне, за город, неожиданно приехал писатель Давид Маркович Хаит. Мы издали кланялись друг другу, но за много лет не сказали ни слова. Тем непонятнее в первый момент был его визит. Но вскоре всё объяснилось.

— Не удивляйтесь, — сказал он, — о вас всюду идет слава, как о хорошем чтеце, а это в советских условиях деньги. Предлагаю вам поехать вместе со мною на одну из окраин страны. Вас, вероятно, интересует, какими способностями обладаю я в роли чтеца... О, конечно, не такими, как вы, но вместе с вами сойдет... Свою третьесортность я буду компенсировать организационной работой.

Я нуждался в деньгах и охотно дал согласие Хаиту. Стали думать, куда поехать, какие районы еще не «обслужены литературными выступлениями». Хаит принес с собой большую карту Советского Союза. После всестороннего ее изучения решили двинуться на Северный Кавказ, начав с Краснодара.

Выехали через день. Денег с собой захватили в обрез, надеясь быстро подработать на месте, устройством целого ряда вечеров. У Хаита были радужные предчувствия. Меня с самого начала беспокоило ожидание чего-то нехорошего.

В Краснодаре нас встретила слякоть на улицах: шел мокрый снег, падая на землю не хлопьями, а тя-

желыми комками, разбивающимися при падении на крупные брызги.

О номере в гостинице нечего было и думать: за многолетнее путешествие по Советскому Союзу никогда не удавалось получить хотя бы малюсенькую отдельную комнату: вечно всё занято.

Хорошо, что в каждом, даже захудалом городишке, есть «Дом Крестьянина». Там всегда можно получить койку в общежитии на 60, 80, 100 человек.

Все ли представляют, какое это неудобство? Койки стоят близко друг к другу. От одного соседа пахнет потом, другой храпит, третий во сне кричит. Вентиляция плохая. Курить не полагается. Но мучимые бессонницей, думая, что все спят, начинают дымить. Некурящий, если он даже спал, моментально просыпается: на спящего табачный дым действует удручающе. Кашель. Хождение в продолжение всей ночи в уборную.

Краснодарское общежитие человек на 40. Заснуть не могу от звуков, запахов, грустных мыслей: «Как мало нужно человеку для радости и покоя, но и этого малого власть не хочет дать народу»...

Утром все вещи нужно сдавать в камеру хранения. Перед ней очередь. Всё неспрятанное под замок, исчезает. И опять делается невыносимо грустно: почему страсть к воровству так развилась в последние годы?.. Ответ один: потому что нигде ничего нет.

Вспоминается пятиведерный самовар в буфете, на станции Рузаевка. Вы подходите, просите чаю. Вам наливают стакан, кладут сахару, мешают, но чайной ложки не дают. А если сахар не размешался, должны подойти к одной единственной ложке, привязанной к буфетной стойке стальной цепочкой. Анекдотично, но факт. Почему додумались до этого? Потому что все ложки разворованы.

В довершение всех бедствий — клопы, как неизбежное зло всех советских общежитий. Хаит похрапывает, а я ворочаюсь с боку на бок. Утром встаю с головной болью. В умывальной комнате холодно. О теплой воде для бритья нечего и мечтать.

После завтрака в общественной столовой идем в Культпросвет Областного Совета. Знакомимся с заведующим — флегматичным молодым человеком. Когда сказали ему, что приехали из Москвы с благой целью: обслужить культурно окраину, заведующий с гордостью заметил:

— Не думайте, что у нас нет своих писателей... Есть и романисты, и драматурги, и поэты...

— Так, значит, по-вашему, мы приехали сюда зря? — спросил Хаит.

— Я этого не говорю, попробуйте что-нибудь устроить, но имейте в виду: сейчас ни один клуб не располагает средствами для культурно-просветительной работы, по распоряжению правительства введена самоокупаемость... Вывешивайте афиши, делайте объявления, продавайте билеты... Прежняя масленица кончилась... Бывало завклубами не знали, куда девать деньги, а теперь не знают, где достать один рубль...

С тяжелым чувством вышли мы из Культпросвета. В какой клуб толкнуться? Знают ли нас в этом городе, как писателей? Мы, правда, захватили все свои книги, но ведь не будешь их показывать каждому встречному и поперечному: «Вот, смотри, из Москвы приехали, приходи на наш вечер»...

Пошли в самый большой клуб железнодорожников. И здесь администрация встретила нас холодно и недружелюбно. Но всё же договорились о выступлении через три дня. Повесили у входа большую, красочную афишу, нарисованную еще в Москве.

Все три дня жили тревогой. Хаит уже истратил все свои деньги и занял пятерку у меня. Вместо завтрака, обеда и ужина ограничивался чаем с хлебом.

Настал вечер нашего выступления. Как и в день приезда, шел мокрый снег. Это не предвещало ничего хорошего. Пришли в клуб за час до начала. Огром-

ный, неуютный зал. Холодно. Пустынно. Страшно. Волнуемся. Ждем публику, а публики нет. К половине 9-го собралось 7 человек. Пришлось отдать обратно деньги, хотя мой партнер настаивал на выступлении. Отозвав меня в сторону, он сказал:

— Помещение бесплатное. Выручку разделили бы пополам. Три с полтиной в нашем положении — большие деньги. У меня уже кружится от недоедания голова... Чем будем платить за «Дом Крестьянина»?.. Если все вечера провалятся, как доберемся до Москвы?

— Не будем себя унижать. Поверьте: выступление перед семью слушателями страшнее безденежья: о нас пойдет по городу слава, как о нищих, которые рады каждой копейке...

— Но что же нам делать?

— Надо что-нибудь придумать...

— Легко сказать: «придумать» — не арканом же ловить публику на улицах и тащить в клубы...

В ту ночь я не сомкнул глаз: придумывал выход из бедственного положения... К утру придумал. Заранее уверенный в успехе всех будущих вечеров, растолкал спящего Хаита:

— Проснитесь!.. Мы спасены!.. Мы богачи!..

Он пришел в себя не сразу:

— Что с вами?

— Я изобрел средство для обогащения!..

— Шутите?

Так как все в общежитии еще спали, «открытием» пришлось делитсья на ухо, шепотом, чтобы утром на нас не поступила жалоба, как на злостных нарушителей порядка.

— Помните ярмарки в больших торговых селах?.. Помните карусели, а возле каруселей «балаганы»?..

— Помню.

— Помните, как после каждого сеанса все артисты выходили на помост, пели, плясали, кричали, заманивая публику?..

— Ну, помню... Какое отношение имеет это к нашим выступлениям?

— Мы также, как балаганные артисты, должны заманивать публику... Мы еще до начала вечера должны показать товар лицом!..

— Заведующему клубом?..

— Не заведующему, а публике.

— Но ведь в городе нет ярмарки, нет каруселей и балаганов.

— И не нужно, обойдемся без балаганов... Будем ходить в заводские и фабричные цеха во время перерыва и устраивать бесплатные короткие выступления, чтобы заманить на платные...

— Родион — ты маг и волшебник!.. Как гениально просто!.. Не мертвая афиша, а живое общение с массами!.. Начнем сегодня же!.. Для первого опыта двинемся на маргариновый завод!..

За завтраком я дал Хаиту еще пятерку. В предвидении больших заработков мой партнер заказал себе бифштекс за три рубля.

В фабрично-заводской комитет маргаринового завода мы явились веселыми, уверенными в успехе. Начальство, видя наше хорошее настроение, сразу настроилось на почтительный лад. Мы изложили план действий. К нам отнеслись доброжелательно, но предупредили, что рабочая масса литературой не интересуется и раскачать ее — дело не легкое.

— Попробуем, как говорят, попытка — не пытка.

— В час добрый, — напутствовало нас начальство.

И вот мы в самом большом цехе маргаринового завода. Обеденный получасовой перерыв. Рабочие закусывают в «красном уголке». Кто сидит, кто стоит. Пьют молоко из бутылок, принесенных из дому, заедая серым домашним хлебом. У некоторых бутерброды. Кое-кто лакомится яйцом, сваренным вкрутую. В цеховом буфете продается простокваша и ситро. Принятие пищи занимает не больше десяти минут.

Закурили. У большинства — махорка, — крепкая, едучая. Свертывают козьи ножки из газетной бумаги, как тридцать и сорок лет тому назад, в глухих деревнях. На вид почти все тощие, невеселые.

Войдя, здороваемся.

— Здравствуйте, — отвечают собравшиеся с некоторой настороженностью.

— Товарищи, — начинаю я, — мы — московские писатели. Приехали в ваш город, чтобы устроить целый ряд вечеров для рабочих. Решили начать с вас, но ваша администрация говорит, что вы совершенно не интересуетесь литературой.

Сквозь толпу протискивается пожилой седоватый человек с черными сверлящими глазами.

— Кто вам это набрехал?.. Может они ничем не интересуются, а мы всегда до научности привержены...

— Мы в этом никогда не сомневались. Было бы странным, если бы рабочие всем известного, краснодарского, маргаринового завода не интересовались литературой... Но вы, конечно, думаете, что мы на вечерах читаем по книге что-нибудь такое, от чего клонит ко сну... Нет, нет, не думайте этого. Все свои рассказы мы читаем наизусть. Есть у нас и грустные вещи, но больше всего веселых... Если хотите, я сейчас прочту вам что-нибудь коротенькое...

— Просим! — раздаются голоса.

Прочитал проверенную во многих аудиториях картинку из крестьянского быта.

Во время чтения то и дело раздавался смех. Мне дружно и долго аплодировали. Попросили рассказать что-нибудь еще. До начала работы успел прочесть еще две вещицы — тоже легкие, веселые. На прощанье сказал:

— За двадцать минут многого не расскажешь, а на вечере будем развлекать вас столько, сколько пожелаете...

— А где ж достать билеты?..

— Не прозевать бы...

— Василий Мироныч, вы возле клуба живете, захватите и на мою долю три билета...

Когда мы вышли из цеха, Хаит стал душить меня в объятиях: — Родион!.. Изобретательный Родион!.. Мы спасены!..

К вечеру готовились три дня. Побывали в нескольких цехах. О нас пошла слава, как о «весельчаках-юмористах».

Инженерно-технический персонал мы не «заманивали», надеясь на то, что интеллигентная публика заинтересуется писателями и без предварительной рекламы.

Заводской клуб — новый, чистый, уютный. Когда мы пришли, все места были заняты. Это сразу окрылило. Стало радостно, интересно жить. Темой нашего вечера была : «Любовь и Дружба». В афише, на щите перед входом в клуб объявлялось, что вечер будет состоять из трех отделений: в двух отделениях — выступления писателей, в третьем — ответы на записки и вопросы.

Я открыл вечер приветствием собравшимся «От союза советских писателей» и предоставил слово Давиду Марковичу Хаиту.

Он начал с рассказа «Встреча», который пользовался исключительным успехом во всех аудиториях.

Гражданская война. Крымский фронт. Красный командир Михайлов серьезно ранен. Его молодая жена, студентка медицинского факультета, тоже на фронте, в качестве сестры милосердия. После ранения мужа она теряет его. Отовсюду ползут слухи, что он умер. Окончилась война, но супруги Михайловы не нашли друг друга. Она молода, красива. Кончает медицинский институт. В душе теплится искорка надежды на свидание с мужем. Проходят пять лет. «Значит, действительно погиб», — решает она. Выходит замуж за военного. Родится дочь. Годы бегут. Девочка поступает в музыкальную школу. Муж всё время получает повышения по службе. Он уже командир ди-

визии. Жена носит фамилию первого мужа: она «Доктор Михайлова». По постановлению правительства заслуженные работники медицины награждаются орденами. Список награжденных опубликован в «Известиях». В числе награжденных орденом Ленина — доктор Анна Сергеевна Михайлова.

Через неделю к ней приходит незнакомец с седой бородкой. В передней, на вешалке, он видит командирскую шинель с ромбами. Девочка лет двенадцати, похожая на мать, спешит с музыкальной папкой на уроки. Уютная квартира. Налаженная жизнь. Атмосфера благополучия. Почувствовав это, посетитель решает скрыть свое имя. Он называет себя другом погибшего командира Михайлова. Анна Сергеевна приглашает его в гостиную и просит рассказать побольше деталей о ранении мужа, о его последних минутах жизни. — Умирая, он повторял ваше имя.

После полуторачасовой беседы посетитель уходит с решением: никогда не нарушать душевного покоя этой женщины. Вечером он уезжает в свой город за четыре тысячи километров. Смотрит в окно. Плачет и радуется: «Так надо... Она счастлива с другим... А это самое главное»...

Слушатели сразу догадываются, что этот неузнанный, благородный командир и есть Михайлов. Рассказ, как всегда, и здесь вызвал слезы всей аудитории. Слушатели восхищались поступком Михайлова.

Писателю искренно аплодировали. Наступила моя очередь. После советско-финской войны из уст в уста передавалась трогательная легенда, которую использовали многие писатели. Я читал ее на вечерах в первом, «слезовом» отделении. Тема — военно-бытовая.

Счастливая пара. Он летчик. Она — инженер-химик. У них прелестный мальчик. На курорте в Сочи летчик знакомится с артисткой, влюбляется в нее. Развод с женой. Редкие посещения сына.

Советско-финская война. Летчик присылает с

фронта своей второй жене-артистке такое письмо: «Я ранен. У меня ампутирована правая рука и обе ноги. Это письмо пишет по моей просьбе медсестра. Посоветуй, что мне делать: устроиться в дом военных инвалидов или вернуться к тебе».

— Обрубок мне не нужен, — решает артистка. Она идет к первой жене, читает ей письмо летчика и заявляет: «Если он дорог тебе, бери. Я от него отказываюсь».

Первая жена пишет бывшему мужу письмо, каждое слово которого свидетельствует о ее безграничной любви, преданности, самоотверженности: «Ты дорог для меня и для сына в любом виде, мы будем счастливы — посвятить тебе нашу жизнь. Не страдай, что артистка отказалась от тебя. У нас ты отдохнешь душою».

Война окончена. Однажды вечером кто-то стучит в квартиру первой жены. Она и сын открывают дверь. Перед ними — целый и невредимый родной человек. Он остается здесь навсегда.

На следующий день в газетах печатается указ правительства о присвоении летчику Ветлугину — звания «Героя Советского Союза». Ему отовсюду сыплются поздравления. Узнает и артистка, что он жив и здоров и вот уже несколько дней живет у первой жены. Звонит ему. Удивлена, что он не «кажет глаз домой».

— Мой дом здесь, — отвечает летчик.

— Но я люблю тебя, — уверяет артистка.

— Я знаю цену твоей любви. Больше мне не звони и не пытайся встретиться со мною!..

Оба рассказа — примитивно-безыскусственны. Но как они потрясали слушателей! Слезы аудитории свидетельствовали о моральной неиспорченности русского человека даже в советских условиях.

Второе отделение было сплошь веселым. Я читал свою автобиографию. В ней много грустного, но когда я ее рассказываю, публика всегда безудержно хохо-

чет. Мое грустное лицо во время рассказа только усиливает смех.

Вечер затянулся до 11. Так как утром всем нужно было идти на работу, то ответы на записки и вопросы были сняты с программы. Благодарностям не было конца. Мы заработали больше 500 рублей. Нам улыбнулась фортуна. Это было так неожиданно, что в некоторые моменты охватывал страх:

— Не перед бедой ли такая удача?

Когда шли домой, нас провожал инженер завода с семилетним сыном Ваней. Мальчик писал стихи. Взял мой адрес.

С этого вечера начались наши триумфы. Таким же способом, т. е., с предварительными зазывами, мы провели вечера в Медицинском Институте, в Институте виноделия и виноградорства, в акушерском техникуме, в ремесленном училище, в трех школах-десятилетках. Последнее выступление было в небольшом клубе промысловой артели швейников. Вечер должен был начаться тут же по окончании работы. Девяносто восемь процентов публики составляли женщины. Многие из них были обременены большими семьями. Проработав восемь часов, рвались домой. Другие останавливали их:

— Неужели не останешься послушать живых писателей?.. В кои-то веки приехали в наш город, а ты хочешь бежать домой?

— И рада бы остаться, да ведь там шестеро — мал, мала, меньше...

— Ну, задержись хоть на пять минуток...

Оставшись «на минутку», многосемейные просидели весь вечер.

После выступления благодарили:

— Спасибо, что вспомнили о нас. И наплакались и насмеялись досыта... Приезжайте почаще, не забывайте рабочего человека.

У каждой аудитории были свои особенности. Что

умиляло одних, иногда проходило незамеченным другими.

Неизъяснимое наслаждение доставляли нам выступления в вузах, техникумах, в средних школах. С какой жадностью слушала нас молодежь! Она впитывала в душу каждое слово, трепетала, волновалась, замирала от внимания, плакала, смеялась. От аплодисментов дрожали стекла в окнах.

Каждый шел на вечер с блокнотом и карандашом. Некоторые подавали по 15 записок самого разнообразного содержания. Вот некоторые, оставшиеся в памяти, вопросы:

— Может ли девушка первой объясниться в любви?

— Есть ли жизнь на Марсе?

— Можно ли по-настоящему любить несколько раз?

— Почему покончили с собою Есенин и Маяковский?

— Почему перестали печатать Демьяна Бедного?

— Как избавиться от чувства ревности?

— Порекомендуйте самые лучшие книги, какие должен прочесть всякий человек, если он хочет быть культурным.

— Осуществятся ли когда-нибудь межпланетные сообщения?

— Как нужно жить, чтобы на душе было всегда спокойно и радостно?

Из Краснодара мы направились в Армавир. Напротив вокзала белый двухъэтажный дом с вывеской: «Гостиница».

— Попробуем? — спросил я у Хаита.

— Бесполезно.

— А может-быть здесь повезет?

Зашли. Показали документы. И что же? Нам был предоставлен лучший номер во втором этаже. Не верилось такому счастью. Вошли в комнату. Четыре больших окна. Две кровати. Диван, мягкие кресла,

большой письменный стол. На окнах голубые шторы с кремовой подкладкой. На полу ковер. Вошедшая девушка объяснила нам, что этот номер всегда бронируется для партийных работников.

— Вы наверное тоже из обкома партии?..

— Нет, мы писатели из Москвы?..

— Писатели?..

Девушка не знала, что сказать не то от удивления, не то от почтения к нам.

— Будете лекции устраивать?

— Вечера... Литературные вечера...

— Разве это не всё равно?..

Мы хотели поговорить с девушкой, но в дверь кто-то постучал.

— Пожалуйста.

Вошел энкаведист в военной форме: шинель, голубая фуражка с малиновым околышем. Девушка испуганно выскочила за дверь. Мы замерли от испуга: «Неужели всему конец?.. За что нас хотят арестовать?»...

Но энкаведист смущенно улыбается. Это уже хороший признак: значит, пришел по какому-то делу...

— Простите, что побеспокоил вас...

Те, которые приходят, чтобы арестовать, не просят прощения, — думаем мы.

— Пожалуйста, пожалуйста... Садитесь... Как вы узнали, что мы приехали в Армавир?..

— В краснодарской газете было напечатано, что оттуда вы едете к нам... Надолго?..

— В зависимости от обстоятельств, от успеха литературных вечеров...

— Нам бы очень хотелось, чтобы свой первый вечер вы устроили в клубе НКВД.

Что может ответить советский человек на такое предложение, равносильное строгому приказу?..

Пусть на сердце скребут кошки, пусть знаешь, что с тобой разговаривает представитель карательных органов, но всеми силами стараешься, чтобы он не

заметил твоих искренних переживаний... Мы оба деланно улыбаемся, говорим, что это для нас большая честь...

— Наш клуб свободен через три дня.

— Ну, вот и хорошо: за эти три дня мы отдохнем после краснодарских выступлений... Постарайтесь, чтобы собралось побольше публики...

— Об этом не беспокойтесь: будет полный зал.

По уходе энкаведиста прежде всего глубокий вздох облегчения у меня и Хаита. Смотрю на него: он мокрый от волнения.

— Вытрите пот с лица, — говорит он мне.

— К добру это или не к добру, Давид Маркович?..

— Конечно, к добру: за выступление мы, конечно не возьмем ни копейки, но попросим письменный отзыв... в каждом клубе, куда мы придем, этот отзыв будет отгонять у администрации всякие страхи насчет нашей неблагонадежности...

— Но с каким чувством мы будем их развлекать?..

— Забудьте об этом, Родион Михайлович... Не давайте волю своим чувствам, когда выйдете на сцену... переключитесь на почтительный тон... думайте о том, что перед вами лучшие люди страны...

— Но ведь из моих близких друзей сослано более тридцати человек...

— А из моих более сотни, и всё-таки я буду улыбаться.

— Хорошо, буду улыбаться и я.

До вечера в клубе НКВД мы ничего не предпринимали. Ходили по городу. Увлекались мясными пирожками из «отходов» мясокомбината. Они готовились в небольшом помещении на главном бульваре, продавались по 50 копеек за штуку. Мы заказывали сразу по полдюжине.

Завели знакомство с работниками местной газеты. Они отнеслись к нам по-дружески. В газете была напечатана теплая заметка о нашем приезде и о буду-

щих вечерах. Смеялись, когда мы рассказали о своем испуге при встрече с энкаведистом.

Зрительный зал клуба НКВД в Армавире человек на 500. Сцена небольшая. Все места в зале заняты. Половина женщин — матери, жены и дети «оперативных» работников. Есть старушки, одетые по-деревенски. Воображение рисует: молодой крестьянин убежал из села от раскулачивания, чтобы замести свои прошлые грехи, вступил в партию и даже пролез в НКВД. Мать старушка замаливает грехи сына, а он преуспевает до поры, до времени, пока кто-нибудь не докопается до подробностей его биографии.

Чтобы обезопасить себя, мы изгнали из своих выступлений всякий политический элемент. Лирика, быт, юмор, шутка — доходят до каждого сердца. Энкаведисты слушали так же, как интеллигенты, рабочие, учащаяся молодежь. Нам дружно аплодировали. В антракте окружили плотным кольцом, излияниям восторга не было конца.

Во втором отделении раскатисто смеялись. После вечера пообещали прислать справку на следующий день в гостиницу. Сдержали слово. В справке была отмечена полезность таких вечеров и высокий художественный уровень программы.

Мы связались с местной радио-станцией. Ежедневно в отделе местных новостей сообщалось, где мы сегодня выступаем.

Газета взяла у нас интервью о целях наших литературных турне и попросила поделиться впечатлениями о советском слушателе.

В Армавире мы дали 14 вечеров. Все они прошли с большим материальным и художественным успехом. Хаит все деньги немедленно отсылал телеграфом в Москву, оставляя себе гроши. Я был предусмотрительным и большую часть заработка оставлял при себе.

Мой партнер стал прибегать к займам.

— Я расплачусь с вами в Сочи, где у нас будет не меньше 50 выступлений.

Сумма долга росла, приближаясь к пяти стам рублей. Писатель успел переслать своей семье уже больше трех тысяч. Его удивляло, что я держу деньги при себе.

— Неужели ваши домашние не терпять нужды?..

— Но нельзя же вдали от Москвы оставаться без копейки... А вдруг что-нибудь случится?..

— Что может случиться с нами?.. Мы завоевали славу, зарабатываем деньги, о нас пишут и говорят по радио...

— Вот это-то и пугает меня... Не перебарщивайте, Давид Маркович, с рекламой и саморекламой... Я всё время жду какой-то беды...

— Глупости!..

Местный партийный комитет решил устроить банкет в нашу честь. В концертном зале партийного дома были накрыты столы на 200 персон. Собрался цвет партии. Сначала говорились речи. Нас благодарили, как писателей, вышедших из народа и несущих свои знания и таланты народу. Мы ответили на приветствия благодарностью. В литературном отделении были только веселые номера. В заключение я пел под аккордеон народные песни и частушки.

После ужина начались танцы. Хаит окончательно потерял голову: объяснялся в любви молодым женщинам, хвастался своими литературными успехами. Но я никогда не был так обеспокоен, как в этот вечер.

Нас, конечно, приглашали почаще приезжать в Армавир. Многие записывали наши адреса, обещая писать.

Отсюда мы поехали в Майкоп — столицу Адыгейской области. Там нас поразила пустота в продовольственных магазинах и скудное питание в столовых. В новом городском театре было безлюдно на прекрасной постановке: «Бешеные деньги» Островского. Я

насчитал всего 70 человек. Выразил сочувствие гардеробщице, когда она подавала мне пальто.

— Горим, товарищ, — печально призналась интеллигентная на вид женщина, — здешней публике театр не нужен, а вот на «Лилипутов» валом повалят...

В Майкопе у нас было четыре выступления, в Туапсе — два. О Сочи думали, как о «Земле обетованной»: в этом городе в магазинах такое же изобилие, как в Москве. Все последние годы здесь не прекращается строительство. Проведена широкая автострада, обсаженная с двух сторон пальмами.

В первых числах марта здесь уже весна: цветут деревья, поют дрозды, радует безоблачное небо. Мы сняли номер в гостинице на берегу моря. Хаит пошел договариваться в Курортное управление о наших вечерах в санаториях и домах отдыха, а я сидя у окна и любуясь морской лазурью, писал письмо в концентрационный лагерь, на берегу Белого моря, своей приятельнице Нине Ивановне Филатовой: «Это не реальность, а какой-то красивый сон. Пение птиц, распускающиеся деревья, тепло, солнце, уютный номер гостиницы, белые паруса в синей дымке — всё это сплошная красивая сказка. Но почему душа не спокойна, почему нет уверенности за завтрашний день?.. Это чувство тревоги не покидает меня уже второй месяц»...

Днем были на выставке картин местных художников в здании новой галлереи, где много света и воздуха. Вечером пошли в городской, недавно отстроенный театр, на гастроль казанской труппы. Шла пьеса Н. Погодина: «Кремлевские куранты». Игра и постановка хорошие, но публики почему-то и здесь очень мало.

Хаит днем договорился о сорока выступлениях по триста рублей за каждое. По шести тысяч на брата — это совсем не плохо. Я уже мечтал, какой справлю костюм, какое куплю пальто, какие приобрету книги...

— Ну, теперь-то вы успокоились или нет? — с самодовольной улыбкой спросил мой партнер, помахивая копией контракта.

— Не совсем... Сердце никогда не обманывало меня...

— Вам просто нужно обратиться к доктору... Хотя почти уверен, что завтра, когда принесу вам 25% обусловленной суммы, все ваши тревоги сдует, как мякину ветром...

— Дай Бог.

Долго не мог заснуть в чистой, удобной постели. Утром Хаит пошел получать аванс, а я сел заполнять очередные страницы дневника. Через час за дверью послышались тревожные шаги. Сердце сжалось. Он вернулся осунувшийся, зеленый, с газетой в руках.

— Радуйтесь... Мы погибли...

— А почему же мне нужно радоваться?..

— Потому что вы всё время каркали, что должно случиться что-то страшное... Вот оно...

Он бросил мне последний номер «Правды».

— Где?..

— На третьей странице...

«Писатели приехали!» — Маленький фельетон. Около ста газетных строк. Подписано Львовым. В фельетоне издевательства по адресу тех, кто неумеренно восторгается «Московскими писателями», устраивает им банкеты, рекламирует каждый их шаг. Достается и писателям за «самохвальство, развязность, очковтирательство». Нас называют чуть ли не Хлестаковыми, которые разыгрывают из себя «всезнающих гениев», способных отвечать на любые вопросы аудитории.

— Договор с нами расторгнут... нам нечего здесь делать...

В дверь постучали.

— Войдите.

Служащий гостиницы подал телеграмму из Москвы.

— «Немедленно возвращайтесь» — Групком Советский Писатель.

— Но у меня нет денег на дорогу, а вам я должен уже более 500. Надо срочно организовать вечер в таком месте, где не читают московских газет и не знают о нашем позоре... Пойду побегаю...

Часа через три вернулся.

— Выступаем сегодня в кустпромартели сапожников... Гонорар 75 рублей на двоих... Спасибо и за это... Как раз на два билета до Москвы...

Можно представить, с каким чувством шли мы в клуб сапожников. Публика собралась в «красном уголке». Тут же стол с газетами. Во время выступления смотрю, какие здесь газеты... Если есть «Правда», то вечер могут прервать, ничего нам не заплатив. Но слава Богу: дотянули до конца без всяких скандалов. Во втором отделении старались смешить публику, а сердце скребли все лютые звери. Уехали в ту же ночь.

Дома меня встретили слезами. В тот же день пришли знакомые писатели — посочувствовать, узнать, что мы сделали предосудительного на Северном Кавказе.

— Абсолютно ничего... Мы честно трудились, давая публике максимум удовольствия... Экзекуция «Правды» не заслужена нами...

— А не арестуют за это? — волновались родственники.

Вскоре в групкоме писателей состоялось общее собрание, на котором нас подвергли жесточайшей критике...

Пришлось выступить в самозащиту и ответить резко Петру Скосыреву, яростнее всех нападавшему на нас.

Его выступление было омерзительно-подхалимским:

— Всё, что печатается в «Правде» не подлежит

критике, сомнению. Своей развязностью в провинции вы бросили тень на всю писательскую общественность!..

— Мы не пьянствовали, не занимались воровством, не развратничали. Если нас хвалили, значит, мы заслужили похвал... Мы несли массам радость... Писать о людях, не видя их поступков, просто бесчестно, а поддакивать таким писаниям — просто мерзко!.. Ваше усердие, товарищ Скосырев, достойно иного применения!

— Я отказываюсь что-либо отвечать на выпад товарища Березова, — крикнул Скосырев, — если человек осмеливается нападать на «Правду», то вполне заслужил ее фельетона!..

— Я нападаю не на «Правду», а на фельетониста Львова, который по вашему мнению не способен на ошибки!..

Нам, конечно, вынесли порицание с предупреждением. Последствия пасквиля были весьма печальны для обоих. В продолжение четырех месяцев мы не могли устроить нигде своего вечера. От нас не принимали никаких материалов в газеты и журналы. Во втором Московском Университете мы уже совсем договорились о выступлении, но в последний момент заведующая культурно-просветительным отделом спросила:

— А это не о вас была заметка в «Правде»?

— О нас.

— К сожалению, мы не можем выпустить вас перед студентами: вы скомпрометированные люди.

Я был рад, когда меня мобилизовали в «Московское ополчение»: конец остракизму, и я могу пригодиться, как пушечное мясо!

1955 г.

ЖИЗНЬ НУЖНЕЕ СМЕРТИ...

Мы шли к фронту по дорогам, разбитым танками и пехотой. Задние не видели передних: пыль была непроницаемой, как осенний туман. Тонкая, невесомая, беловато-желтая она мягко окутывала наши головы, лица, гимнастерки, черные обмотки на ногах и походную сумку за спиной со всем необходимым, что полагается воину на марше. Тяжелые ботинки тонули в этой дорожной пудре по щиколотку. Когда ступни опускались на дорогу, слышалось что-то похожее на шипение и свист: это из под ног вылетала наша мучительница пыль.

Мы чувствовали, что солнце палит со всем усердием и яростью, на которые способен июль, но за вуалью из пыли его не было видно.

Грязно-соленый пот стекал со лба на виски, попадая в глаза и в рот. Хотелось мучительно пить. Вспоминались реки и озера, в которых мы когда-то купались, колодцы с деревянными срубами, квас из погребов, чаепития — дома, в гостях и на пикниках, вода со звенящими льдинками в графинах и ведрах... В мирное время мы не всегда ценили эти радости. Теперь каждый мечтал хотя бы об одном глотке.

Справа и слева тянулись посеревшие от пыли луга с некошенной пожухлой травою. Хотелось полежать на ней и забыться от этого изнурения, тоски, жажды, недоумения, тупой покорности.

Но мы шли и шли. Давила сумка, левое плечо оттягивала винтовка. Усталые ноги сбивались с ритма. Перед глазами были темные круги.

Чем мы утешались? Сознанием, что всему на свете, даже пыткам, бывает конец. Надо терпеть. Но хватит ли терпения до первого привала? Не разорвется ли преждевременно сердце?

Не виднелось ни одной деревушки, не слышно было собачьего лая, детского крика, шума летних работ на гумнах. Только луга, только равнина — запыленная, изнывающая под палящим солнцем.

Как терпелив, как вынослив человек! Какое упорство в этих ногах, на которых тяжелые, как гири, солдатские ботинки. А может-быть мы двигаемся только потому, что нам приказано идти, не думая об отдыхе? Может быть мы уже не люди, а механизмы — не смазанные, скрипучие, изношенные, но еще не утратившие способностей работать? О, нет, к сожалению или к счастью, мы люди и потому страдаем, мыслим, мечтаем об утолении жажды. Пить! Пить! Отдать полжизни за глоток воды! У механизмов такого желания нет.

Господи! Сократи эту мучительную дорогу! Пошли нам деревню с колодцем! Тогда начальство сжалится над нами и разрешит сделать привал: ведь наши командиры не из стали и гранита, они сами еле передвигают ноги...

Затаенные вопли были услышаны Богом: стали попадаться холмы, перелески, запахло березами и соснами, завиднелись избы, крытые соломой. Но почему не слышно никаких звуков жизни оттуда?.. Может быть это мираж, нарисованный нашим больным воображением?.. Нет, нет, деревня самая настоящая — перед избами палисадники, за ними фруктовые сады.

Раздается команда: «Вольно!» Первая наша мысль — о воде. Мы рассыпаемся, как брошенная кем-то горсть гороха — каждая горошинка катится в поисках влаги.

В деревне — ни души. Странная тишина наводит грусть. Калитки распахнуты, двери в избах открыты. Желтая кошка бежит испуганно через дорогу и, карабкаясь по стене, торопится на крышу. Прижавшись к черной печной трубе, она тревожно глядит на нас.

— Пойдемте сюда, — предлагает кто-то, — раз есть кошка, то может быть найдутся и люди!?..

Большой толпою входим во двор. Он выметен. Каждая вещь на своем месте. Крылечко с тремя ши-

рокими деревянными ступеньками как будто только что вымыто и радует своей янтарностью. Справа и слева за домом — плетневые сараи, а между ними невысокие воротца, за которыми виднеется фруктовый сад. Возле сараев буйно разрослись репейники. Кое-кто из нас валится в тень, более выносливые ищут воды.

И вдруг, точно привидение, из правого сарая бесшумно выходит высокого роста босой старик в светло-серой рубахе до колен, подпоясанный веревочкой. Длинная борода кажется серебряной, на голове — вперемешку золото с серебром, глаза теплые, голубые, приветливо-обрадованные. На синих ветхих штанах — заплатка на заплатке всех расцветок и это делает старика еще более приятным для нас.

— Дедушка, — одновременно вскрикиваем мы, — откуда ты? Что тут делаешь?

— Тутошний... для вас предназначенный...

— Для нас? А что же ты можешь нам сделать?

— Напоить вас всех, служивые.

— А где ж колодец?

— Зачем нам колодец, коль есть квасок?.. Заходите-ка сюда...

Он ведет нас в просторный сарай, где на двух коротких, толстых бревнах лежит большая бочка, покрытая соломенными матами. На перекладинах сарая висят всевозможные — большие и малые — пучки лекарственных трав. Их смешанный аромат напоминает что-то далекое и родное.

Вместо крана у бочки деревянная затычка. Под нею ведро. Старик осторожно вытягивает затычку и тогда темно-коричневая струя с мягким шипением устремляется в ведро. Когда оно наполняется почти вровень с краями, отверстие бочки плотно закрывается.

— Подставляйте свои посудины, касатики, — говорит нам отечески ласковым голосом старик.

Сверху в ведре густая, кремового цвета, пена.

Старик раздвигает ее старым жестяным, почерневшим от времени, ковшиком.

— Дедушка, мне с пеной! — просим мы.

— Что ж, это можно, ее вон сколько, — соглашается старик.

Кажется, что никто из нас никогда не пил такого редкостного кваса: в нем запахи черно-смородиновых и вишневых листьев, он напомнил всем мирное время и хозяйственный уют родных селений... И хорошо, что он не холодный, иначе наши ноги налились бы свинцом и мы не могли бы двигаться дальше.

Восторгам и благодарностям старику — нет конца.

— Что тебя, дедушка, заставило остаться в деревне, когда все убежали?

— Жалость... Перед войной думал о смерти, просил, чтоб пришла поскорее, а когда началось несчастье, решил: «Теперь и я могу пригодиться»... Нет ничего хуже, когда человека одолевает жажда. Вот я и сказал самому себе: «Буду солдатиков кваском поить»... Когда семья оставляла насиженное гнездо, звали и меня, но я ответил: «Мое место тут... Оставьте мне только железный бак для кипячения воды, а всё остальное забирайте»... Как ни уговаривали, как ни пугали страхами, на своем поставил: остался. Военные части проходят каждый день — и всех я пою квасом...

— Из чего ж ты его варишь, дедушка?

— Из корочек хлебных и сахарком сдабриваю...

— А где ж ты всё это достаешь, дедушка?

— Сами люди догадываются давать, служивые то-есть, защитники наши: кто ломоть ножом отрежет, кто половину своей порции отдаст, иной сухарями поделится... На сахарок тоже не скупятся. А вишневые и смородинные листья рядом — в саду. Варю по вечерам. Закваска всегда в запасе. Так вот и коротаю дни. Быстро они бегут...

— И не страшно, дедушка? Ведь неподалеку пушки ухают, над деревней тучи своих и вражеских самолетов пролетают, там и сям полыхают пожары...

— А чего бояться в такие годы?.. Слава Богу: пожил, всего повидал — и хорошего и плохого, пять сыновей и трех дочерей вырастил, шесть внуков сейчас за родину пошли воевать... Старуху за год до войны схоронил. Завидовал, что не вместе в могилу ложимся, а теперь не жалею, что остался жить, понял, что жизнь — нужнее смерти... Какой был бы от меня толк, если б я со своей Матреной в сырой земле улегся?.. Кто бы вас тогда духовитым кваском попоил, кто бы ваше изнуренье развеял?.. Нет, что ни говори, жизнь куда лучше смерти: от жизни польза людям... Живой порадовать может, а мертвый, что пень трухлявый — кому он нужен? Ну а коль шальная пуля сердце просверлит, иль пушка разорвет на части, что ж, верно так Бог судил... У каждого свой конец: у иного на постели, у другого — в служении, но конца никому не миновать...

Рассуждения старика успокаивали, примиряли с действительностью, ободряли. На его дворе вскоре собралась вся наша часть. Квасу хватило на всех. В благодарность все делились хлебом и сахаром — для новой бочки квасу, которая будет готова завтра.

Отдохнувшими, повеселевшими мы расставались со стариком, по сыновнему пожимая руку на прощанье.

— Как зовут тебя, дедушка?

— Сызмальства Павлушкой кликали, под старость Павлом Филимонычем стали величать. На Петров день восемьдесят один стукнул. Желаю и вам дожить до моих годов.

— Кое-кто может-быть и доживет, коль в войне уцелеет, но мало надежды на это, дедушка.

— Молитесь, Бог услышит, Он из огня вызволит неопалимым, из воды — неутопимым... Ему по любви и жалости к нам — всё возможно.

— Спасибо, дедушка, за добрые советы, за ласку, за доброту... Желаем тебе дожить до ста лет.

— А это уж как Он распорядится...

Старик указал рукой на небо.

Дальнейший переход не казался нам таким тягостным, как путь в первую половину дня. Все мы были под впечатлением встречи с чудесным стариком. Вера в смысл жизни омолодила его и наделила в изобилии духовной и физической силой. Многим из нас стало неловко за свое малодушие. Мы давали обещание — навестить эту деревню после войны, чтоб повидаться с нашим благодетелем.

* * *

С тех пор прошло много лет. Жив ли Павел Филимонович? Всех ли из нашей воинской части пощадила война? Вспоминают ли уцелевшие мучительный переход по пыльным дорогам, необыкновенный квас в опустевшей деревне и удивительного по своей доброте старика с белой длинной бородою? Удалось ли кому-нибудь осуществить желание — повидаться с ним?.. Вопросов много, но, увы, все они без ответа... Да и нужны ли ответы на них? Жизнь не стоит на месте, жизнь нужнее смерти.

1959 г.

ЦЕНИТЕЛИ СЛОВА

Меня умиляют простые рабочие люди,
Которые любят стихи, как детей и жену.
О каждой строке говорят они, словно о чуде,
В поэзии ценят — звучание, смысл, глубину.

Мозолисты руки, лицо огрубело от зноя:
В литейном цеху проработать весь день тяжело,
Но в искорках глаз что-то вечное и неземное,
Что с сердцем в союзе, что мир оценить помогло.

Заботы по дому, убийственно мало досуга,
Письмо не дописано — месяц на полке лежит...
Но любит он книгу, как самого лучшего друга,
На вечер поэзии за десять верст побежит.

Он плачет над словом, смешное прочтя, засмеется.
Пометки, словечки на узеньких книжных полях.
Он черпает мудрость, как чистую воду колодца,
Он с книгою рядом проходит свой жизненный шлях.

1958 г.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЖИТЕЙСКОЕ

СЕСТРА

(Повесть)

Художник Ветвинов приехал в гости к сестре ранней весною, в самый разгар половодья. Радостное чувство охватило его, как только он сошел с поезда на маленькой, желтой, давно некрашеной станции.

Утро было тихое, солнечное. На распускавшихся душистых тополях в станционном садике шумно каркали грачи, устраивая свое, запущенное за зиму, хозяйство. Паровоз встречного товарного поезда, терявшегося своим концом за водокачкой, у березовой рощицы, лениво выпускал свистящие струйки пара, как будто и не собираясь продолжать прерванного пути.

Приехавшего встретил муж сестры, Василий Кузнецов, худощавый, застенчивый колхозник средних лет, с белыми, как лен, прядями длинных волос. На нем был порыжелый пиджак с короткими рукавами, делавшими руки не в меру длинными и старая, черная фуражка с засаленным козырьком, протершимся по краю и слегка разлохматившимся. Чернота головного убора оттеняла худобу родственника и его бесцветные волосы. В бесхитростных, бледно-голубых глазах светилась почтительность к приезжему. Он несмело протянул для приветствия мозолистую, натруженную ру-

ку. Гость, не выпуская руки, потянулся к нему для поцелуя. Не ожидавший этого родственник — смутился, порозовел, поцеловался как-то неловко: два раза в одно место. Но после этого сразу осмелел.

— В хорошее время приехал, Сергей Иваныч, — начал он, — видишь — всякая тварь радуется... А вчера вечером, на твое счастье, рыбы поймали.

— Да? — весело откликнулся гость, — давно я не едал ухи с укропом, кажется, с самого детства.

— Покушаешь — и с укропом, и с лучком, и с лавровым листом, и с перцем... Укроп в саду лезет во-всю — самый душистый, апрельский... Лавровый лист Матрена еще с двадцать шестого года приберегла, тогда ведь всего было вволю, а перчиком в районной потребилке разжился, по знакомству: всем-то не дают, мало его почему-то теперь... Дай-ка свои чемоданы. До лодки придется прогуляться, а там — вся дорога водой. Ох, и разлив в этом году: ни одного бугорка не видно... Кто говорит — к урожаю, а кто — войной пугает...

— Не беспокойся, Василий Петрович, сам донесу.

— Ну, как же это можно?.. Вот когда я к тебе в Москву нагряну, тогда ты мои понесешь, а сейчас уж дозволь мне.

Пошли по узенькой тропочке — впереди Кузнецов с двумя желтыми кожаными чемоданами, за ним — гость. Чувство неловкости, что он идет налегке, заслонялось радостью приезда, душевным трепетом, понятным каждому, кто когда-либо возвращался в родные места. От умиления и радости снял серую новую шляпу и понес ее в левой руке. Теплый ветерок обвевал темные вьющиеся волосы.

Справа и слева от тропинки была еще не просохшая, черная земля. Воздух звенел трелями жаворонков. Мелькали желтые и красные бабочки.

Хотелось спросить: «Ну, как вы тут поживаете?», но побоялся, что родственник начнет жаловаться на непорядки новой жизни и это испортит настроение.

Подошли к лесу, сквозь который просвечивала водная гладь. Пахнуло свежестью — тем смешанным запахом весны, в котором можно уловить и аромат распускающейся вербы, и терпкость прошлогодних листьев, и дыхание оттаявшей земли и то волнующее, чем богата весенняя мутная вода.

На берегу лежало несколько опрокинутых лодок, привязанных цепями к деревьям. Каждая была на замке. В ожидании переправы, сидя на трухлявом бревнышке, скучали два плохо одетых, обтрепанных мужика. Бороды у обоих были нечесаны, рваные шапки удивляли живописной ветхостью. Ветвинову сначала показалось, что эта бедность — нарочитая, для показа. Ведь можно было все эти лохмотья и на шапках и на пиджаках притянуть нитками, заштопать... Но подумав, он решил, что должно-быть у этих людей нет не только тряпок для штопки, но даже ниток. Стало неловко за свою новую шляпу и серое пальто-реглан.

Один из мужиков тянул козью ножку, другой, с протянутой рукою, которая почти касалась лица курившего, упрашивал:

— Ну, оставь хоть на одну затяжку... Я ж тебе оставлял, когда был побогаче...

— С прибытием, Сергей Иванович, — приветствовали они Ветвинова, — на родину стало-быть потянуло?.. Ох, не такая она, родина-то, какой была в старинное время... Видишь, до чего обносились?.. Можно сказать, настоящие артисты из погорелого театра... Может захватишь, Василий Петрович? Грести подсобим...

— На всех места хватит, — с готовностью ответил Кузнецов.

Только теперь, по голосам, Ветвинов узнал оборванцев. Это были почти его однолетки, одноклассники по начальной школе — Митрий Карасев и Федот Лопатин.

— Табачком не разживемся по малости, Сергей

Иванович? — смущенно спросил Карасев, только что клянчивший оставить «на одну затяжку».

— К сожалению, не курю, ребята.

— Стало-быть такое наше счастье, — со вздохом сказал мужик, — как говорится, бедному — везде бедно...

Он подошел к самой хорошей лодке.

— Ваша, значит, эта, цветистая?

— Да.

Лодку отомкнули, сдвинули на воду, выдавив ложбинку на влажном песке. На голубых бортах с обеих сторон было аккуратно выведено белыми буквами название: «Лебедь».

— Хорошая у тебя посудина, Василий Петрович, прямо, можно сказать, господская, с нашими лохмотьями стыдно и залезать в такую, — сказал Карасев.

— А ты поменьше языком трепи, а побольше руками действуй, — заметил Кузнецов.

В лодке было три сиденья: у кормы, посредине и поближе к носовой части. Рваные колхозники уселись на среднем, хозяин — на корме, а Ветвинов на третьей скамейке — самой маленькой и самой чистой.

— Ну, Господи благослови, — сказали гребцы и вместе взмахнули голубыми веслами, отразившимися в воде, как в зеркале.

Сначала плыли руслом реки. Там и сям закручивались водяные спирали. Течение было стремительным, как будто под гору. Справа стояли стеною сероватые, еще обнаженные, осокори. Левый низкий берег был затоплен. Кусты выглядывали из воды своими верхушками, гнувшимися под напором большой воды.

— Давненько не заглядывали в родительские места, Сергей Иванович? — спросил Карасев.

— Ровно десять лет.

— О-го-го... Самые, можно сказать, каторжные годы... Видишь, что с нами стало за этот срок?.. В песне-то поется: «Кто был ничем, тот станет всем»,

а с нами наоборот вышло: были всем, стали — ничем...

— Не в песне, а в «Интернационале», — заметил сосед, — в песнях такого вранья не полагается...

— В теперешних-то?.. Еще не то услышишь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»... Это тебе похлеще «Интернационала»...

— А по какому случаю вы раскудахтались, товарищи, а ?.. Вы где — на воздухе или на земле? — строго спросил Василий Петрович.

— Да как будто на воде, товарищ Кузнецов.

— То-то на воде... Не видите кустов?..

— Как не видать?.. Ну, и пусть себе соками пропитываются.

— Младенцы несмышленые: да ведь под каким-нибудь кустом может рыбак очутиться, а по воде, знаете, как далеко разносится?.. Так что на моей лодке, при московском госте, прошу контру не разводить, а то еще в беду с вами встрянешь.

— Я думаю, Сергей Иваныч за эти десять лет не пошел по партийной линии и при нем можно говорить начистоту, — смутился критик.

— А почему ты знаешь?.. Я роднёй довожусь Сергею Иванычу, и то ничего не знаю.

— Да мы что ж?.. Мы ведь только шутим... Разве можно понимать наши речи всурьез? — испугался мужик.

— Ничего, ничего, говорите, не стесняйтесь, только может-быть немножко потише. Меня вам бояться нечего, а насчет других соображайте сами, — сказал Ветвинов.

— В Москве-то наверно всё другое: и люди, и одёжа, и дома, и разговоры, — не унимался бедняк-говорун, — а все говорят: «Равенство... равенство»... Брехня одна. Никогда на свете не было равенства и не будет.

— И оченно даже хорошо, — заметил сосед, — подумай-ка своей башкой, чтобы получилось, если б

все люди были одинаковые и ростом и толщиной, и красотой, и все бы жили в одинаковых домах и одинаково бы обувались и одевались, говорили, смеялись, пели и еда у всех была бы одинаковая... Господи, скучища-то какая бы властвовала на земной планиде... Люди на стенку полезли бы от такого равенства. А при теперешней картине не заскучаешь. Вот приехал из Москвы Сергей Иваныч, и сразу видно, что он из другого теста испечен —со всякими начинками, поглядеть, понюхать — приятно. А заглянули бы мы с тобою в Москву, все бы от нас шарахались, как от чумы. Вот в этом-то и состоит интерес жизни. Хочешь жить, как Сергей Иваныч, тянись, обмозговывай, как выйти на дорогу, заводи знакомства, не спи ночей, не валяйся байбаком, а шевелись, действуй... Ты думаешь, легко досталась Сергею Иванычу серая шляпа? Он может-быть три ведра пота пролил, чтоб добиться такой видимости...

В философии оборванца было много ядовитой иронии, сарказма, зависти, вынужденной примиренности с трагизмом жизни, но всё это преподносилось в форме шутки, от которой щемило в душе.

— Хватит об этом, — решительно крикнул Василий Петрович, — скажите, какая нелегкая занесла на этот берег?

— Пробовали клад поискать.

— Нашли?

— Какое там...

— Может искали не там, где надо?

— Там, да не повезло... Хотели зайцами в Ташкент податься, но с поездов без билета гонят, а под вагонами ездить не умудрены.

— Так что же вы думаете — приехали в Ташкент и сразу зажили, как господа? — сердито допрашивал Василий Петрович.

— Там, по крайности, можно нагишом ходить, а на короткие ситцевые штанишки как-нибудь разжились бы...

— А жена и дети?

— У них свой разум, не пропали бы и без нас: мы им не добытчики сладостей. Разве только кое-когда руганью отведешь душеньку... Без этого не пропадут. А если поскучают малость, не беда.

Всё, что видел и слышал Ветвинов, наводило на него жгучую тоску. Какие два разные мира: столица и глухая, заброшенная, колхозная, нищая окраина России! Жители Москвы даже не представляют всего ужаса современных деревень. Большой и Художественный театры — с одной стороны и поиски мест, где можно ходить нагишом — с другой. Дорогие папиросы, магазины «Люкс», дворцы подземной дороги и жадная мольба — дать затянуться почти докуренной козьей ножкой, небывалая бедность, отчаянная безвыходность.

Деревья и кусты, залитые водою, остались позади. Теперь плыли по сплошному морю — по затопленным лугам. Завиднелась длинная лента села. Железные и тесовые крыши были вперемежку с соломенными. Десять лет назад в центре села возвышалась тринадцатиглавая церковь. Теперь ее не было. Село показалось окургузенным.

На рваную шапку «философа» села красная бабочка.

— Митрий, вот ты говорил, что в Москве от нас шарахались бы, как от чумы, а бабочка, должно быть, и нас за людей признала: видишь — на твою рвань уселась и хоть бы что...

— Ошиблась наверно, подумала, что я не человек, а бессловесный куст вербы.

— Слушайте, ребята, по дружбе вам говорю: не распускайте своих языков, не ровен час, наскочите на такого, что тут же сцапает, — сказал наставительно Василий Петрович.

— Хуже не будет, — огрызнулся Карасев, — ну, арестуют, что ж такое?.. А сейчас мы не арестованы?

Тогда над нами может-быть хоть кто-нибудь сжалится: табачку в тюрьму пришлет, страдальцем будет считать... А сейчас, по газетам, мы счастливые, зажиточные, а на факте — несчастнее козявок, что выползают весною погреться на солнышке... Козявки живут, радуются, а у нас из всех удовольствий только и есть, что бесплатный воздух, но когда много воздуха, сильнее сосет под ложечкой от голода...

Лодка, проскользнув над затопленным плетнем огорода, остановилась у толстого ствола распустившейся ветлы. Над деревом со звоном кружились пчелы.

* * *

Ветвинов вспомнил сладкую, сочную «хорошавку», бархатный анис, крупный апорт, крыжовник, сливы, красную и черную смородину, душистую малину этого сада. До коллективизации он каждое лето приезжал к сестре.

Здесь он родился, вырос, знал всех мужиков и баб. К нему относились с почтением, как к человеку, «выбившемуся в люди», к нему шли за советом, за книгой, им гордились, как первым, прославившим родное село. Молодежь любила смотреть на его картины, слушать его чтение, рассказы о прошлом и о других странах. Приезд известного художника, Сергея Ивановича Ветвинова, был праздником не только для Крутоярова, но и для всей округи. Учителя, священники, врачи из других селений приглашали его в гости, считая эти дни «незабываемыми».

Коллективизация всё изменила: на родине нельзя было ни отдыхать, ни работать. Он видел печаль на лицах, слышал жалобы, каждую минуту сталкивался с несправедливостью, самоуправством, неразумными распоряжениями. Говорить об этом с начальством было и бесполезно и не безопасно: его могли зачислить в число недоброжелателей новых порядков. Побывав в колхозе одно лето, он решил с тех пор проводить

каникулы в других, более спокойных местах — в подмосковных деревнях, в Крыму, на Кавказе, на Волге.

Но в этом году почему-то неудержимо потянуло в родные края. Десять лет! Да это же целая вечность!.. За сестру он не беспокоился: ее муж был бригадиром-учетчиком. Сама она тоже работала в колхозе круглый год. Трое учащихся детей принимали участие в колхозной страде в летнее время. Семья зарабатывала достаточно трудодней, чтобы жить терпимо. Правда, с одеждой было плохо, как и у всех, но вот удалось сделать лодку и покрасить ее масляной краской. Уже одно это ставило бригадира в положение зажиточного. «У Кузнецова собственная лодка», — говорили про него.

* * *

Сестра несколько раз выбегала из дому, чтобы посмотреть с горы, не видно ли вдали голубой лодки. Заметив ее, она уже не могла уйти из сада. Предстоящая радостная встреча с единственным братом радовала до слез. Она плакала заранее, искренно жалея, что отец не дожил до славы своего сына, о которой он так мечтал. Еще в детстве, когда и учительницы и соседи пророчили вихрастому Сережке всемирную известность, отец хотел только одного: переселиться к сыну, когда он «выйдет в люди» и жить у него на положении дворника. Отец умер весною того года, когда осенью о впервые выставленных картинах Ветвинова появились восторженные отзывы во всех русских газетах и журналах. Это были пейзажи родных мест. Со многих картин были сделаны репродукции в красках. Художник прислал их родным и знакомым. Глядя на эти картины, многие узнавали ту или иную заводь, полянку, рощицу, извилины речки Зеркалки. Отец до этого не дожил. Мать умерла еще раньше. Сестра была на несколько лет старше брата. Они любили друг друга нежно и трогательно. Он баловал ее посылками из Москвы. Она слала ему ржаные лепешки на

сметане. В подробных письмах о колхозной жизни она старалась успокоить его. Мудрость сестры, готовность к самым неожиданным лишениям умиляла брата до слез. Когда у колхозников были отобраны коровы, он думал: «Как-то теперь она будет выходить из положения с тремя малыми детьми?»... Но от нее вскоре пришла весточка, в которой она писала: «Дорогой брат! Я очень рада, что теперь у нас нет ничего. От единоличного хозяйства у нас оставалась корова. Теперь взяли и ее. Никогда у меня не было так спокойно на душе, как сейчас. Почему? Да потому, что каждый малый, собственный пустяк тянет за душу. А когда нет ничего, то о чем беспокоиться?»...

Он присылал ей каждую статью о себе, вырезал каждую репродукцию из журналов. Она держала это в в особых папках, которые хранила на дне сундука и лишь изредка, по просьбе детей, доставала для осмотра.

Окончив только начальную школу, она много читала, интересовалась газетами. Она знала, что брат — не простой человек, а известный на всю страну художник. Ее муж был попроще, менее развит, но преклонения перед родственником у него было еще больше. Он считал себя недостойным целоваться с Сергеем Иванычем при встречах и разлуках. — «Кто я такой?» — спрашивал он и сам себе отвечал: «Никто, простой, сиволапый колхозник, а художника Ветвинова не знают только животные да люди, похожие на них»...

* * *

Как только лодка причалила к саду, наполовину залитому половодьем, художник услышал звонкое сестрино приветствие:

— С приездом, Сережа!

Она стремительно, как девочка, побежала к нему по наклонной тропинке. Он поспешил ей навстречу. Крепко обнялись. Первой заплакала она, а, глядя на нее, не утерпел и он.

— Ты ничуть не постарел, даже наоборот, помолодел, а меня наверно не узнаешь: я ведь колхозница...

— Ты стала еще интереснее...

— Значит, ты узнал бы меня на базаре даже в чужом городе?..

— Даже если бы население всего земного шара собралось в одно место, я и там узнал бы тебя в первую минуту...

— Ну, спасибо... А почему же у меня на сердце тоска?..

— Радость при свиданьи всегда немного отзывается тоской.

— Нет, сердце что-то чует... Наверное это наша последняя встреча...

— Что ты запела панихиду вместо здравия? — осердился Василий Петрович.

Карасев и Лопатин, поблагодарив, хотели удалиться.

— Подождите, — сказал художник, — вы же всё-таки трудились, гребли. Вот вам за труды.

Он дал им по пятерке.

— Премного вам благодарны, Сергей Иваныч, как были вы добрым сыздетства, так прежним и остались, дай вам Бог еще больше достатка, не приведи вам Бог таких лохмотьев, как на нас, а о разговоре в лодке забудьте...

— Забыть этого нельзя, но моя память безопасна для вас. Я буду помнить это для себя. Заходите как-нибудь поговорить о горе и радости.

— О радости будете говорить вы, а наша сказка горем начинается, горем и кончается, — махнул рукой Федот.

Когда они ушли, сестра сказала:

— Наверно всю дорогу не давали покоя?.. И как это они пристряли к вам?

— Ничего, ничего, москвичам это полезно.

— Да, Сережа, Крутоярова ты теперь не узнаешь:

всё разваливается, всё сходит на нет. Прежним осталось только небо, да, пожалуй, птицы: вороны, галки, воробьи, голуби, а люди, гумна, поля, луга, лес — всё другое...

Вошли в дом. В просторной кухне было чисто: пол выкрашен желтой краской, на столе — старая, но постиранная скатерть, возле порога — половик из зеленого камыша, на сосновых стенах — всевозможные плакаты, присылаемые Москвою — о пятилетках, займах, зажиточной жизни, о стахановцах. Положение колхозного бригадира обязывает ко многому.

Главная часть дома была разгорожена на три комнаты: зал и две спальни. В переднем углу стоял портрет косоглазого, лысого Ленина, по обе стороны от него репродукции картин Сергея Ветвинова. Большая стена справа была увешана множеством фотографических карточек всех родственников, но главным персонажем здесь был художник во всех возрастах, начиная с детского. Все карточки были в застекленных рамках — магазинных и самодельных — с фигурной резьбою, выпиленных на фанеры, сделанных из винтовочных пуль и патронов.

Зеркало на среднем простенке было в ржавых пятнах по углам. На подоконниках стояли горшки с цветами, захиревшими за зиму.

Скатерть с петухами, которой был застелен стол, напомнила замужество сестры. Тогда Сергей был мальчиком и в свадебном обряде выполнял роль «продавца невесты», требовавшего дорогого выкупа со сватов, приехавших за нею. Грозным воином, вооруженным толстой скалкой, сидел он справа от сестры, не соглашаясь ни на какие посулы и уступил только тогда, когда его шею обмотали отрезом голубого ситца на рубашку. Но когда сестру уже вывели из дому, чтобы везти к венцу, он, бросив ситец на пол, стал плакать, как раскаявшийся мелкий предатель, польстившийся на такую малость. Выбежав во двор, он крикнул во всеуслышание: «Отдайте, не нужна мне

ваша тряпка»... Все гости засмеялись, а сестра (он никогда не забудет этого) садясь в тарантас, оглянулась на маленького брата и залилась горькими слезами.

— Свадебная скатерть... Ты сохранила ее, — сказал он в раздумье, — о, как это было давно, но как живо воскресает в памяти...

— Слабый ты был тогда, не отстоял меня, — — вздохнула она.

Он сел за стол, взял угол скатерти с самым большим черно-красным петухом и заплакал. Она прижала его кудрявую голову к своей груди и, гладя, как маленького, стала приговаривать:

— Всё понимаю... Каждую твою думу чувствую... Мне ведь тогда учиться хотелось, а не замуж выходить... Я ведь не вышла... меня выдали... Но видно хотел Бог, чтобы я стала крестьянкой, а потом колхозницей... Не всем быть учеными... Да, прежнего не вернешь. А может-быть его и не нужно возвращать?.. У меня хорошие дети, все учатся на инженеров, добрый муж, а самое главное — ты — дороже всех и всего на свете...

— А у меня ты... одна ты, — всхлипывая, повторял брат.

Василий Петрович вышел из зала, чтобы не мешать излиянию чувств брата и сестры.

Узнав о приезде художника, стали собираться родные — кумовья, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы.

— Ох, чего же это мы сидим?.. Ты же голодный, — спохватилась сестра, — мы ведь еще наговоримся и наплачемся с тобою, ты же ведь не на день приехал?..

— Недели на три, пожалуй.

Родные здоровались с троекратными поцелуями, как на Пасху, хотя до Пасхи оставалось еще полторы недели, восторженно глядели в лицо приезжему, креп-

ко жали ему руку. Двоюродная сестра Настасья, ласковая и простодушная, поздоровавшись, призналась:

— А ведь я всё время за тебя трепыхаюсь, всё время слезно молюсь Богу, чтобы ты не свихнулся.

— С чего же это может свихнуться Сергей Иваныч?.. Ну, и брякнешь ты, Настасья, — зашумели на нее родные.

— Как это с чего?.. Знает вся Расея, во всех газетах и журналах только и разговору, что о нем... Разве мозги от этого не повредятся?

— Они ведь мозги-то, Настасья, крестьянские, привычные ко всему: сегодня — слава, а завтра может нагрянуть такое бесславье, что только все руками разведут, — сказал с улыбкою художник.

— Свят! Свят! Свят! — замахала Настасья руками, — спаси и сохрани, Господи, от вражьей напасти.

Родственницы стали приносить из кухни тарелки и кушанья, заливного судака, вилковой капусты, моченых яблок.

За стол садились с чувством радости, гордости за знаменитого родственника, в торжественном молчании.

— Перед ушицей не мешало бы «промочить» горло, но как Сергей Иваныч непьющий, то и нам неловко перед ним выказывать свою натуру, — сказал смущенно хозяин.

— Почему же я должен стеснять всех вас?.. Я не только непьющий, но и некурящий, но это не значит, что все вы из-за меня должны бросить курить.

— Ничего, воздержимся и от этого зелья, — выразил готовность молодой красивый племянник тракторист с кокетливым чубом на широком лбу, — люди пьют и курят, когда нет никакого интереса в жизни, а у нас в настоящий момент очень много не только интереса, но и содержания.

Родственники с уважением поглядели на молодого человека, который выражается так красиво.

Сестра принесла из кухни большую миску с ухою.

Сверху плавал мелко нарезанный укроп. Аромат весенней свежести затопил горницу.

— Давай перцу, как же это ты, Матрена, забыла о самом главном?

— Из ума — вон, — призналась она, убегая в одну из спален. Перец был под замком в сундучке.

— К чему эти причандалы? — говорили старики, показывая на тарелки, — всю жизнь ели из одной чашки, а теперь господский манер переняли.

— Теперь и коровы не едят из одной кормушки, — заметила Матрена, — значит, и нам нужно помаленьку к культуре приучаться.

— Выдумали какую-то «калитуру», а жизнь вконец испортили...

— Не будем об этом спорить, — сказал хозяин.

Уха была наваристая, сладкая, душистая. Ели новыми деревянными ложками.

— Откуда такое добро? — спросила Настасья.

— Всё будешь знать, скоро состаришься, — засмеялся хозяин. Он не хотел признаваться, что достал ложки по знакомству с заведующим районной потребилкой, как редкость. В последнее время во всех сельских лавках ложки продавались только железные, с острыми краями, заржавленные. Такую ложку страшно было взять в руки и еще страшнее — поднести ко рту.

Ели по-старинному: зачерпнув хлебово, ложку снизу вытирали кусочком хлеба, чтобы не запачкать старинную, свадебную скатерть, ко рту подносили не спеша, проглатывая бесшумно. Художник перенесся мысленно в детство, когда за большой стол усаживалось не менее пятнадцати человек. Сейчас было столько же. Все хвалили вкусную уху, радовались удачному лову рыбы.

— Это ты счастливый, Сергей Иваныч: иной раз целую неделю цедишь воду без всякого толку, а тут сразу как будто кто лопатой навалил, — ликовал хозяин.

После ухи ели разваренную рыбу и заливного судака с хреном. Капуста и яблоки были сочные, ядреные. После обеда пили чай, закусывая пирожками с картошкой, капустой и морковью.

Гостю задавали много вопросов о Москве: о жизни рабочих, о магазинах, развлечениях, метро, о благоустройстве столицы, о том, сколько осталось церквей от «сорока сороков»?

Под окнами стали собираться любопытные: стесняясь войти в дом, прислушивались к каждому слову, доносившемуся из горницы. Сидевшая рядом с художником Настасья шепнула ему на ухо:

— Секретарева жена прибежала шпионить, смекай, что говорить, чтоб потом не навешали всяких собак на шею.

— На это соображения хватит, — успокоил ее гость.

Засиделись часов до четырех. Хотя солнце было еще высоко, родственники разошлись, чтобы «дать покой» приезжему. Но ему захотелось пройти вместе с сестрой за село, на выгон, и навестить родительские могилы на кладбище.

— Вы можете идти на разгулку, а я проведаю, что творится в бригаде, — сказал Василий Петрович.

Первое впечатление от Крутоярова после десятилетнего отсутствия было тягостным: лишения, пришибленность, убогость чувствовались на каждом шагу. Доски в окнах вместо стекол, покосившиеся крылечки, ветхая одежда, облезлые стены домов, развороченные кровли — всё безмолвно стонало, плакало, жаловалось.

Сестра сказала, что дети вероятно не приедут в этом году на весенние каникулы: старший собирается с группой студентов в экскурсию, среднюю позвала подруга, а младший за время весеннего перерыва хотел подработать на костюм.

Дом Кузнецовых окнами выходил на церковную площадь. На месте бывшей церкви валялись осколки

кирпичей: церковь разобрали на фундаменты колхозных построек: свинарников, конюшен, коровников.

В бывших домах священника, дьякона и псаломщика жило колхозное начальство. Садики перед этими домами были запущены, оградки во многих местах проломаны. Чужие козы обгладывали кору сирени, акации и тополей. Если это замечали хозяева, то били животных чем попало.

— Ты в письмах успокаивала меня, а, по правде говоря, радостного очень мало, — сказал со вздохом брат.

— Партийцы говорят, что это временно, надо потерпеть.

— Сколько лет?

— Может — пять, а может — пятьдесят.

— А может-быть и сто?

— Кто их знает. Уж больно плохо со всякими товарами: нет ни у кого ржавого гвоздя и в потребилке ни за какие деньги не достанешь. Но диво: народ со всякими нехватками свыкся. Радости у людей нет, но рук на себя никто не накладывает. Вздыхают, сокрушаются, вспоминают старину и... терпят.

— Помнишь, в начале коллективизации я советовал тебе вести дневник всех мелочей колхозной жизни...

— Терпения хватило месяца на два, а потом забросила: так за день измотаешься, что никакой дневник не лезет в голову. Вот если бы какой-нибудь писатель жил всё время в колхозе и записывал каждый день всё виденное и слышанное, получилась бы интересная книга. Лет через сто ее читали бы, как «Тысячу одну ночь». Писатель бы описал, как постепенно всё рушится: постройки, планы, желания, религия, порядочность...

— Значит, религия рушится?

— А разве нет? Ведь сейчас великий пост, а кто об этом помнит? Кто его соблюдает? Кто молится? Вот скоро Пасха, но Пасхальный день ничем не будет

отличаться от нынешнего... Даже яиц забудут покрасить, правда, и красить-то нечем, и начальства побоятся: за цветную скорлупу насмешек не оберешься. Так уж лучше никого не дразнить.

— Но может-быть люди молятся Богу втайне?

— Старики и старухи. Молодежь растет без Бога, ее — бог: комсомол, спектакли, побольше жалованья.

— Неужели и твои дети такие?

— Немножко может быть получше, но ведь и они живут не на острове, ведь с волками жить — по-волчьи выть.

— Ты впервые говоришь со мной таким языком.

— Как же говорить с тобой другим языком, когда ты всё видишь своими глазами? В письмах я не хотела тебя расстраивать.

— А когда отобрали коров, ты тоже утешала меня, что без собственности лучше?

— Нет, это я и теперь повторю; чем больше собственности, тем больше беспокойства.

— Ты сказала, что порядочность тоже рушится.

— А то как же? Ну, скажи, как может человек оставаться порядочным, когда всё перевернуто вверх дном, когда всё смешано, спутано, оплевано, высмеяно, когда каждый думает только о том, как бы ему устроиться получше, когда человек не знает, будет он завтра сыт или нет?

— Ты очень хорошо говоришь. Не пробовала писать в газеты?

— О «достижениях на колхозном фронте»?.. Не повертывается рука, а, главное, душа. Учительницы всё время уговаривают меня, чтобы я записалась на заочные курсы.

— А что ты сама об этом думаешь?

— В пятьдесят лет на курсы?.. Поздновато, пожалуй. Пусть дети за меня учатся. Всё хорошо в свое время. Все в университет запишутся, некому будет в колхозе работать. Видишь эти пустыри, столбики, остатки плетней?.. Узнаешь, что это было?

— Неужели гумна?

— Да.

— Боже мой, как я любил гумна, в особенности, в пору сноповозки и молотьбы. Ведь на гумнах выростали многочисленные башни из пшеничных снопов. А шум дружной работы, а тарахтенье веялки... Я ведь помню: работали по всей ночи и не уставали.

Впереди расстилалась ровная степь. Она казалась гладкой, покрашенной в зеленый цвет: трава только что пробивалась, снег сошел недели две назад.

Подошли к кладбищу. Когда-то оно было обнесено изгородью и рвом. От изгороди не осталось и следа. Ров во многих местах завалился, сравнялся. По кладбищу бродили телята. Деревянные ограды на некоторых могилах были разворованы. Кузнецовы поставили металлическую: привезли по знакомству с мельницы. Внутри ограды когда-то была скамеечка. Ее похитили.

Художник помнил, каким было кладбище раньше. На многих могилах были посажены цветы, к крестам прибиты жестянки с надписями о покойниках. Теперь кладбище напоминало лесную вырубку: только кое-где торчали сгнившие основания крестов.

— Для чего растаскиваются кресты?

— Не догадываешься? Прежде печи топили кизяком, но для кизяка нужен навоз, а где его возьмешь, когда во дворе одна коровенка? А зимы у нас, сам знаешь, лютые. За каждую срубленную палку штрафуют, сажают в тюрьму. Чем же людям согреваться? Ну, вот и жгут всё, что только может гореть. А если нечего жечь, мерзнут.

— Ну, а жестянки с крестов для чего приспосабливают?

— Ведра, посуду чинят.

Кресты в ограде Кузнецовых уцелели и надписи не были отодраны.

— Я не уверена, что с наступлением новых холодов всё это останется на месте.

«Здесь покоится прах рабы Божией Аграфены Ветвиновой. Родилась в 1860, скончалась в 1920. Мир праху твоему». Таких же размеров жестянка была и на другом кресте. Отец художника, Иван Ветвинов, родился в 1851 и скончался в 1925 году.

Брат и сестра опустились на колени перед оградой. Каждый молился молча.

* * *

Из села послышался какой-то странный шум: как будто кого-то били и кто-то вступался за жертву. Детские голоса сливались с голосами молодежи и стариков. Кто-то голосил, кто-то ругался.

— Что это может быть? — спросил брат.

— Голоса приближаются с того конца. Похоже на шум кулачного боя, но в колхозные времена кулачные бои прекратились. Что же это такое? Я слышу знакомые голоса. Слушай, можно разобрать слова.

«Простите меня, люди добрые, пять душ погубила я», — донеслось до кладбища.

— Ведь это Наталья Пояркова, про нее давно все знают, что она сокрушается из-за абортов. Хочешь поглядеть?

— Невеселые картинки для первого дня, но раз уж приехал в царство печали, то надо быть готовым ко всему: пойдем, — сказал художник.

Они быстро вышли с кладбища и поспешили к бывшей церковной площади.

С конца села бежали взрослые и дети: никто не хотел пропустить редкого зрелища.

— Куда бежит народ? — спросила Матрена у спешившей старухи.

— Говорят, какая-то баба умом рехнулась: никакого удержу нету.

— А почему ж ее выпустили на улицу?

— Сама выскочила, никто совладать не может — у таких, говорят, неуемная сила.

Народ спешил, как на пожар. Дети на бегу падали, расшибали носы, но плакать было некогда.

— Она ведь нам дальней родственницей доводится, — сказала Матрена. — У них шестеро детей. Беременеет она каждый год, а при теперешней жизни не до оравы: с полдюжиною трудно управиться. Ну, вот ей какая-то знахарка и посоветовала — вытравлять младенцев хиной. Один раз она чуть Богу душу не отдала. Это было как раз при последнем аборте. С тех пор задумываться стала. Каждый день — вздохи, слезы, сокрушение. А тут еще монашка-черница подлила масла в огонь: внушила ей, что это равносильно убийству. Пять абортов — пять убийств. Бог за это не помилует. После этого бедняжка совсем пала духом. Прошлым летом мы с ней на прополке проса работали. Я рядом с нею шла по полосе. Глядя на нее, сама настрадалась. Полет, полет, упадет на землю и начинает голосить: «Маленькие вы мои, убитые голубяточки! Никогда мне не замолить греха за ваши душеньки»... Уж я ее по всякому успокаивала: «Ведь не по своей воле ты это сделала, нужда тебя заставила, и ведь не живые они были, а только в зародыше»... — «Не говори, Матренушка, они уж под сердцем трепыхались»... — «А муж знал об этом?»... — «По его уговору и душила их всякий раз несусветной горечью».

Визжавшая толпа бежала к площади. Слышались возгласы:

— Ох, и злая!

— Кирпичинами кидается!

— То плачет, то пляшет!

— Сюда бежит! Удирайте, а то поймает и горло перегрызет, сумасшедшие любят кровушку, вместо кваса локают!..

Брат и сестра увидели кружащуюся посреди улицы, полуобнаженную женщину с распущенными черными волосами.

— Всем, всем в аду кипеть, не мне одной: все убивали своих младенчиков!

На вид ей можно было дать лет тридцать семь. К высокому лбу липли волосы. Красивое исхудалое лицо было в темных пятнах — не то синяки, не то — земля: от кружения она часто падала на что попало. Старухи крестили рты, боясь, что через них войдут бесы из этой женщины. Многие сокрушались:

— Какой позор: теперь кто возьмет замуж старшую дочь? Каждый скажет: «Она из сумасшедшей породы»... Вишь как она к избам жмется, от стыда слезами заливается...

— А муж-то где, Никифор-то?..

— В поле с утра уехал, а как раз после его отъезда на нее и накатило.

— Говорят, к нему верхом поскакали, того и гляди нагрянет.

Художника удивляло, что люди боялись подойти к больной и увести ее с улицы. Для всех это было, как развлечение.

— Матрена, подойди ты к ней, она вероятно узнает тебя. Уведем ее к нам.

— Здравствуй, Наташа, — сказала тихо и ласково Матрена.

— Смотри, она тебя сейчас огреет чем ни попадя! — зашумел народ.

— Матренушка, сестричка моя золотая! Спасибо тебе за ласковые речи, только ты одна жалеешь меня, а все люди, как звери лютые...

Она упала на грудь Матрены и затряслась в рыданиях.

— Наплюй на них побольше, а сейчас к нам пойдем, у нас сегодня гость, брат Сергей из Москвы приехал... Вот он.

Художник подошел к Наталье.

— Красавчик ты мой, — радостно крикнула она, — с приездом брательничек, извини меня дуру растрепанную.

— Ничего, это не страшно, пойдем к нам, посидим, поговорим, молодые годы вспомним.

— Вот спасибо вам, золотые мои и хорошие, кабы не вы, эта орда всю душу из меня вымотала бы.

— Что с них спрашивать? Они сами не знают, зачем сюда сбежались, — успокаивала ее Матрена.

Брат и сестра повели больную к себе. Народ удивлялся, что недавнее буйство сменилось умиротворенностью. Некоторые были разочарованы, в особенности, те, которые только что прибежали:

— Говорили — рехнулась, а ничуть даже не заметно, только лицо испачкано, а говорит не хуже нас...

Толпа стала понемногу расходиться. Старшая дочь Натальи, ведя за руки братишку и сестренку, следовала за матерью поодаль. Когда подходили к дому Кузнецовых, из конца села послышался конский топот.

— Никифор скачет!.. Сейчас будет дело! — раздались выкрики. Кричавшие надеялись, что развлечение продлится.

— Никиша! — испугалась Наталья, — спрячьте меня, а то убьет!

— Руки коротки, никто не даст ему тебя! — решительно заявила Матрена.

— Ты чего вздумала озоровать, шкура?.. Хочешь, чтобы все на нас пальцем показывали? — зарычал муж, не слезая с рыжей лошади. Лицо его было запылено. От возбуждения или волнения — по щекам текли струйки пота, смывая пыль и делая лицо полосатым. Большие черные глаза метали молнии.

— Не расходись и не кипятись, — крикнула Матрена, — а сначала поздоровайся с гостем.

Сергей подошел к Никифору.

— Уж больно ты грозен, Петрович: вместо того, чтобы пожалеть, сразу начинаешь с наскока. Здравствуй.

Спокойный голос художника пристыдил сердитого мужика. Он начал плакаться на свою долю:

— Разве в нашем положении можно так распускать себя? И без того света не видишь, каждый день к тюрьме готовишься, а тут еще она со своими дурацкими убийствами... Забила себе в голову погибель, а сегодня вон всю семью оконфузила.

Матрена делала знаки Никифору, чтобы он не говорил об убийствах. Но сказанное мужем слово опять всколыхнуло только что успокоившуюся душу.

— Убивица не я, а ты! Ты всякий раз подзуживал меня на такое дело!.. Ты думаешь, сладко мне было глотать горстями хину? Попробовал бы ты эту закуску, не так бы запел...

— Перестанем об этом говорить, не будем снова собирать народ, вот придем к нам и обо всем потолкуем, — сказала Матрена.

— Если будешь озоровать еще, нянчиться с тобой не буду: оттяпаю башку и делу конец... В тюрьме сгноят, не жалко, а расстреляют — еще лучше: за один раз со всей теперешней маятой разделаюсь!

— Никифор, как тебе не стыдно? Я думал, ты человек с нервами, а ты, как истеричная девченка! — строго сказал Сергей.

— С нервами остались там, у вас, в Москве!.. Тут о нервах позабудь!..

— Ну, хорошо, хорошо, согласен с тобою... Пойдем в сад к Матрене, половодьем полюбуемся...

— У нас половодье не для любованья, а для того, чтобы с высокой кручи в него бултыхнуться...

— Можно, конечно, и это, — улыбаясь, охотно согласился Сергей.

Никто не заметил, как солнце скатилось к западу. Оно еще не скрылось совсем. Через улицу протянулись длинные тени от домов. С запозданием пригнали коров из стада. Коровы были тощие, заморенные. Сергей удивился, что их целый день держали в степи, где еще только пробивается травка, которую трудно ухватить коровьими зубами.

Пестрая корова Матрены, вбежав во двор, ринулась на крылечко, порываясь зайти в кухню.

— Видишь, как осмелели? — указала Матрена на «Пестравку», — готова из рук рвать, как волк.

Корове вынесли какого-то пойла, в котором плавали куски размоченного хлеба. Давно Сергей не видел такой коровьей жадности. Он провел Никифора и Наталью в горницу. Матрена вынесла из спальни старую голубую кофту.

— На вот, прикройся, а то как-то неловко. Я сейчас приду, только корову подою.

Наталья оделась и стала причесывать растрепанные волосы.

— Запомни: чтобы этого больше никогда не было! — стуча пальцем по краю стола, грозил Никифор, — мне уличного театра не надо, хватит других представлений!..

— Сейчас ужинать будем, у Матрены такие деликатесы, что и в Москве не сыскать — шутливым тоном говорил Сергей.

Вошел Василий Петрович. Увидя Наталью и Никифора, смутился. Ему еще на улице сказали, что Сергей и Матрена повели их к себе. Ему это было не совсем по нутру. «Уж лучше бы посадить за стол Карасева и Лопатина, чем сумасшедшую бабу и полусумасшедшего мужика»... Но о своих мыслях он не сказал ни Матрене, ни Сергею.

— Василий Петрович, — сказал художник, — сегодняшний день кажется мне вечностью... Столько нагляделся и наслушался за один этот день, что можно бы написать о нем большую книгу, которую так и назвать: «Один день в колхозе: «Твердая поступь»... Кстати, кто придумал такое название?

— Кто-то из райкомщиков. Нам до такого названия никогда бы не додуматься. Наши мужики предлагали «Красное Крутоярово», но начальство сказало: «Слишком шаблонно»...

За ужином Наталья чувствовала себя хорошо,

внимательно прислушивалась к разговорам. Опять собралось много народу — одни, чтобы поглазеть на москвича, другие, чтобы поудивляться на Наталью, которая сидит за столом, «как ни в чем ни бывало».

* * *

Из конца села пришла тетка Анна, восьмидесятилетняя добрая старушка.

— Здорово, Сереженька, с прибытием на родимую сторонушку. Ты всё хорошеешь, мой племянничек. А ведь я неспроста пришла, а в гости тебя звать.

— Небось, не сегодня, — заметила Матрена.

— А вот как раз и не угадала: сегодня, в эту же минуту, потому как дело есть больно важное — баньку для тебя истопили, чтобы всю московскую «калитуру» смыл хоть на короткое время и стал, как в старину, крутояровским мужиком. Я как услыхала, что ты прибыл, в ту же минуту говорю своим бабам: «Готовьте баньку для дорогого гостечка»... А наша баня, всякий знает, всем баням — баня, можно сказать, листократская, аль повыше подымай: царская... Дух легкий, топится по белому. В предбаннике пол из старинных сосновых досок. Веники кипятком ошпарены, березовые, мягкостью китайскому шелку не уступят... Как начнешь париться, кажется, будто ураган в березовой роще бушует: и аромат, и легкость, и все косточки бархатными делаются, как будто и нет их... Головку свою умную, талантливую, щелоком помоешь. Пойдем, голубок, порадуй свою тетку Анну, которая тебя на свет Божий из чрева матери принимала.

Художник не стал возражать и покорно отправился на другой конец села, чтобы доставить удовольствие ласковой родственнице. Шли медленно. Справа и слева москвичу кланялись пожилые и молодежь, поздравляли с приездом, спрашивали: «На долго ли?»

Извилистая улица показалась очень постаревшей за эти десять леть.

Пока дошли до тетки Анны, Сергей насчитал больше пятнадцати пустырей. Когда-то здесь жили богатые. Их раскулачили и сослали в Сибирь, а дома снесли как строительный материал для колхозных сараев.

Закат долго не угасал. В широкие переулки виднелась ровная степь. Грустно было на душе Сергея, но при людях он прятал свою грусть как можно глубже.

Баня действительно оказалась прекрасной. Для света хозяева дали старый фонарь: «Летучая мышь». Тепло, полумрак и шелест березового веника, мягкий щелок и чистый поло́к — напомнили детство, когда он ходил париться вместе с отцом. Тогда в бане было тесно. Люди не мылись, а только потели. Теперь он мылся не спеша. Это, пожалуй, была первая радость за длинный день: вместе с потом из тела уходила не только физическая усталость, но и всё то, что переполнило душу тяжелыми впечатлениями, начиная со встречи возле лодки и кончая историей с больной Натальей. Он мылся так долго, что хозяева даже забеспокоились и подойдя к передбаннику. тихо спросили:

— Моетесь, Иваныч?.. Ну, ну, в час добрый, спешить некуда, хоть и еще часика два поблаженствуйте: это ведь главная радость человеческая...

— Нет, нет, я сейчас.

После бани гостя потчевали солеными арбузами.

Семья родственников состояла из десяти человек: дядя, тетка, два женатых сына, две снохи и четверо детей. Гость оделил малышей длинными конфетками в бумажках. Дети сосали их очень долго, часто вынимали изо рта и смотрели, чья стала тоньше.

— У меня желтая сосулечка! — подпрыгнул черноголовый малыш лет пяти.

— А у меня зеленая! — похвалился его семилетний братишка с более светлой головой.

— А у меня малиновая, самая красивая! — по-

казывал всем свою конфетку рыженький мальчик, похожий на младшую сноху.

— А у меня «раньжевая», как пельсин! — хвасталась девочка, тоже рыженькая. Ей было года четыре.

— Вот какую красоту привез вам из Москвы дядя Сережа, — говорила тетка Анна, подкладывая гостю ломти арбуза, истекавшие темно-красным, холодным соком. — Поедете с ним в Москву?

— Поедем! — дружным хором ответили дети.

— Они только по годам малыши, а по разуму не хуже стариков, теперешняя жизнь развивает каждого куда скорее, чем в старину, — говорил дядя Евстигней, степенный старик с разлатой бородою, делавшей его лицо очень широким, добродушным, внушающим всеобщее уважение.

— Прежде-то мы, можно сказать, до самой свадьбы без штанов ходили, длинной рубахой, до пяток, голь прикрывали, ну и по разуму были, как полагается бесштанным: дикие, робкие, слово боялись при стариках вымолвить. А теперь четырехлетний карапуз знает и про Америку, и про Москву, и про северный полюс. Взять, к примеру, хотя бы эту четверку: да ведь они в профессора годятся, только не знаю, к лучшему это или наоборот?

— Умственное развитие современной молодежи, по-моему, всё же отрадный факт, население земного шара умнеет, — сказал художник.

— Умнеет — это верно, — согласился старик, — но вот добреет ли? А ум без доброты, как я слыхал, что сабля без ножен: того и гляди — поранит.

К дому кто-то подкатил на телеге.

— А ведь это, кажется, Василий Петрович, — удивился художник.

— Специально попросил у председателя подводу, чтоб подвезти тебя после бани, — сказал Кузнецов, входя в дом.

— Вот за это спасибо, я действительно чувствую себя немного утомленным.

— Вот какие времена настали, Сергей Иваныч: люди умнеют, а подвезти гостя не на чем, всё под надзором новых хозяев, — стал горевать старик.

— Об этом нечего толковать, Сергей Иваныч сам знает о нашем положении, — забеспокоилась вся семья, боясь, как бы старик не сказал чего-нибудь лишнего.

* * *

Почти целые дни Ветвинов проводил в саду, откуда открывался широкий вид на окрестности. За лугами, залитыми водою, темнели отдаленные холмы, виднелась серая башня элеватора. Когда-то в пейзаже родины были вкраплены там и сям колокольни белых церквушек. Теперь не осталось ни одной.

Набрасывая эскизы, художник не раз вспоминал замечание сестры о том, что всё рушится, в том числе, и религия. Была ли она глубокой, нутряной, искренней? — спрашивал самого себя художник. Вспоминая детские и отроческие годы в деревне, он приходил к печальному выводу, что христианство среди русского народа носило, по преимуществу, обрядовый характер. И Рождество, и Пасха, и Вознесение, и Троица праздновались по традиции со всей пышностью и яркостью, на какую была способна деревня. Но каждый праздник, зачастую, сопровождался дикими попойками, бесчинством, поножовщиной. У русского крестьянина было больше страха перед Богом, а не любви и доверия к Нему. Не поставлю свечки, не отслужу молебна, буду работать на Ильин день, — и непременно разразится кара. Так уже лучше угождать Творцу и святым, тогда и они будут добрее. Отношение русского крестьянина к Богу хорошо выразил сам народ в пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Русский мужик вспоминал о Боге только в страшные минуты, прибегая к Нему, как к Силе,

способной выручить из беды. Но вот уже много лет в тысячах русских деревень нет церквей и народ к этому привык. Старики еще молятся, а молодежь ничего не знает о Боге. Это самое страшное, что сделано большевиками, — думал художник. — Что будет с Россией, если коммунисты продержатся у власти еще лет двадцать? Полстолетие большевизма страшнее, чем триста лет татарщины: монголы не вели антирелигиозной работы на Руси, не стремились переделать душу русского человека. Страшно за будущее России: без Бога, без Христа, она может сойти на нет, исчезнуть, как могучая страна, распылившись на отдельные, враждующие между собою, области, как было в период удельных княжеств.

* * *

Зацвели яблони. С утра до вечера в саду звенели пчелы. Половодье постепенно спадало. Кое-где появлялись островки с бурыми пятнами от нанесенного на них мусора — ила, веток, листьев. Но яркое, горячее солнце подгоняло рост травы. С каждым днем островки становились всё шире и зеленее.

Часто в сад прибегали дети — поглядеть, как рисует художник. — В точности! — восторгались они, наблюдая, как на картине появляются деревья, вода, трава, отдаленные холмы.

В полдень художник любил бродить по степи, за селом. На горизонте переливался сухой воздух, превращаясь в полноводные, струящиеся серебром, реки. Они оставили глубокий след в сердце еще в годы раннего детства. Тогда не было сомнения, что это вода. Как часто он просил отца — поехать туда и покупаться, но отец с улыбкой отвечал: — До этой воды никогда не доедешь: это «полдни» бегут...

По зеленой траве бегали рыжие суслики. Встав на задние лапки, они подолгу стояли возле своих норок, радуясь солнцу, весне, теплу. Жаворонки не умолкали с утра до вечера. Движение по степным дорогам было слабое: за день пробежит несколько грузовых машин, да протарахтят две-три телеги — и всё. Жизнь замерла и здесь.

— Царство тоски, — думал художник, — и как это люди выдерживают здесь год за годом, в особенности, холодными зимами, когда всё занесено снегом, в избах темно, холодно и неуютно?

Он жалел всех, кто вынужден коротать здесь свою жизнь: простой народ, интеллигентных людей, любимую сестру. Не предложить ли ей переселиться к нему? Ведь он одинок. В Москве сестра наверстала бы многое в культурном отношении и помогла бы ему в хозяйстве. Для ее мужа тоже нашлась бы работа. И как это он раньше не додумался до этого?.. Хорошо бы переселить из Крутоярова не только родную сестру, но и всех близких и дальних родственников, Наталью и Никифора Поярковых, тетку Анну с семьей, двоюродную сестру Настасью, всех племянников и племянниц, но отпустит ли колхоз? Ведь теперь здесь ни один человек не может поехать без разрешения даже в больницу. Человеку, решившему переселиться, надо получить отпускную бумагу, иначе его нигде не примут на работу, не пропишут ни в одном городе. Как всё это нелепо, как страшно: взамен свободы, радости, сытости и тепла — рабство, безысходное горе, голод и холод...

Художник чувствовал, что трех недель ему здесь не выдержать. Каждый день растягивался в вечность. Даже, сидя в саду, он не мог забыть, что за плетневой изгородью уже другой мир, а прогулки улицей села не давали ничего, кроме отчаяния. На пятый день своего гостеванья он признался сестре, что хочет пораньше вернуться в Москву.

— Нагостился?.. Так скоро?..

В сестрином вопросе слышался упрек: «Не можешь потерпеть три недели? Как же мы терпим месяцы, годы, десятилетия?»...

— Не нахожу себе места от тоски, Матрёнушка.

— Это без привычки. Нам тоже сначала было невмоготу, а потом привыкли.

— Разве можно привыкнуть к неволе?

— Да, оказывается, можно. Как-то осенью старший сын, когда еще был дома, поймал чижика. Птичка всю зиму прожила в клетке. Весною мы ее выпустили, и знаешь что?.. Невольница не хотела свободы: она рвалась в клетку, залетала в комнату и терпеливо ждала, когда ее водворят на прежнее место. Когда мы закрывали дверь дома, она стучала клювом в окно, недоумевая, почему мы переменили к ней отношение. Мы хотели ей свободы, но она привыкла к неволе. Только на третий день она поняла, что свобода всё же лучше и улетела в лес... Я рассказала это для того, чтобы успокоить тебя: только в первое время ты будешь чувствовать себя в колхозе не в своей тарелке, а потом, как чижика, тебя будет трудно отогнать от колхозной клетки...

— Думаю всё же, что мне никогда не превратиться в чижика... Я не буду оставаться здесь на Пасху, потому что этот день в моей памяти остался днем света и радости. Когда я был в последний раз в Крутоярове, служили Пасхальную утреню и обедню, пели певчие... Была еще какая-то надежда. Теперь всё умерло безвозвратно. Пасха в разоренном колхозе — это слишком больно для меня. Не удерживай, сестра, а лучше подумай вот о чем: почему бы тебе с Василием Петровичем не перебраться ко мне?

— Хочешь выпустить на волю из клетки двух птичек?.. Не плохо бы, но думаю, что мужа не отпустят, он ведь бригадир, его отъезд сочтут дезертирством. А мы не стесним тебя?

— Как у тебя повернулся язык на такие слова?

— Спасибо.

— Не могу себе простить, что раньше это никогда не приходило в голову. Как отнесется к этому Василий Петрович?

— Кто же не хочет лучшего? Но не забывай: мы подневольные.

— Вот мне и нужно уехать в Москву пораньше, чтоб всё приготовить к вашему переезду.

— Раньше осени об этом и думать нечего. Сейчас идет весенний сев, а там уборка — самая горячая пора в колхозе.

— До осени не так уж долго ждать. Если терпели двенадцать лет, потерпеть шесть месяцев не так уж мучительно.

— Хорошо, не буду тебя задерживать, поезжай, но дождись хоть пирога со щавелем... Сейчас щавель очень мелкий, ведь вода только сошла, а мне бы не хотелось отпускать тебя в Москву без этого угощения. Помнишь, какой крупный и сочный щавель рвали мы в детстве, на полянах в «Вязовом углу»? В твоей сумке всегда были самые отборные листья. А как часто ты спрашивал у кукушки, сколько лет проживешь?.. А каким сладким казался нам хлеб, когда, возвращаясь домой, мы подходили к реке и, усевшись на берегу, мокали в воду зачерствелые пшеничные куски?.. Позже на эти поляны мы приходили за клубникой. Какая она была душистая. Какой радостной казалась жизнь. Какими ароматными и сочными были пироги со щавелем: ведь сахару тогда не жалели.

— Как хорошо я помню всё это. Ты нарисовала словами яркую картину детских лет.

* * *

Утром, проснувшись, художник не увидел дома сестры: чуть свет она куда-то скрылась. Выйдя в сад, он заметил на той стороне реки знакомую лодку: белую с голубыми бортами. Значит, сестра отправилась на поиски молодого щавеля. Он стал глядеть вдаль, не заметит ли кого-нибудь? Да, конечно, это она: в темной юбке, в розовой кофточке и в белом платочке. То и дело наклоняется до земли, значит, рвет ща-

вель. Но ведь он еще совсем крохотный. Сколько времени нужно потратить, чтобы собрать щавелю хотя бы на маленький пирожок! О, на какое терпение и самопожертвование способно любящее сердце!

Она вернулась в полдень.

— А всё-таки нарвала!

Это были ее первые слова, когда она переступила порог.

— Завтра утром испеку, а с вечерним поездом можешь ехать. Тесто затею из белой муки, какую ты прислал полгода тому назад, как раз хватит на пирог. Пусть будет белый, румяный, пышный.

— У тебя еще цела московская мука?

— Я ведь тратила ее только на блинчики. Давно собиралась прикончить остатки, но что-то останавливало меня: «Побереги»... Вот и хорошо, что не всё истратила.

* * *

Вечером обсуждали втроем план переселения в Москву. Василий Петрович был искренне рад предложению художника. Теперь всё зависело от правления колхоза.

— Думаю, что в октябре мы сможем распроститься с Крутояровым. Жалко будет оставлять могилы родственников, но их души не взыщут с нас за это: там, на небе они понимают, что в наши времена трудно усидеть всю жизнь на одном месте.

* * *

Пирог удался на славу: фарша было много, корочка была тонкая, нежная. Когда пирог остыл, сестра поднесла брату на тарелке большой кусок. Сочная зеленая масса, распространяя аромат, слегка вытекла из разреза. Попробовал и... закрыл глаза: прошлая жизнь со всеми ее радостями приблизилась вплотную, вспомнились отец и мать, зеленые лужай-

ки, поляны, грустное кукованье, всегда наводившее сладкую грусть, соловьиные трели, писк куликов, весенние лягушачьи концерты, поездки в ночное с отцом или со сверстниками, ловля рыбы, лесная уха... О, сколько радостей осталось в прошлом, о, как охотно он променял бы теперешнюю известность хотя бы на один год такой жизни, какая была тогда!..

— Спасибо, дорогая сестра, этот пирог вознаграждает за все здешние огорчения... Он отодвигает в тень всё настоящее и бросает яркий луч света на то, что было главным в нашей жизни.

— Я уложу в коробку восемь больших кусков. Если довезешь до Москвы, угости кого-нибудь, а будет аппетит, скушай всё без остатка в дороге.

* * *

Перед отъездом сходил еще раз на кладбище — попрощаться с родительскими могилами. Когда молился, стоя на коленях, какой-то внутренний голос подсказывал, что он покидает эти места навсегда. И от этого «навсегда» душа исходила слезами, как исходит соком срубленное дерево.

* * *

На станцию провожали сестра и Василий Петрович. Опять плыли в лодке, но уже не по сплошному половодью, а по извилистому руслу реки навстречу течению. Правила сестра, а Василий Петрович сидел за веслами. Художник изъявлял желание — погрести, но ему не дали.

— Поберегите свои руки для картин, — сказал наставительно Кузнецов.

Поезда ждали часа полтора. Всё время ходили по платформе и говорили, говорили... Казалось, что только теперь в памяти всплывает то, о чем нельзя умолчать. Всем хотелось, чтобы поезд где-то задержался.

Но время летело быстро. Вот раздался певучий паровозный гудок. У всех троих смертельной тоской защемило сердце. Начали заранее прощаться. Плакали, никого не стесняясь. В этих слезах было всё: и боль разлуки, и свидетельство горячей, взаимной любви, и опасение, что мечты о переезде в Москву могут разлететься пушинками одуванчика...

Художник возвращался домой в мягком вагоне. Сестре и зятю это льстило: вот какой у нас родственник — в первом классе едет! Когда вносили чемоданы в вагон, боялись, что поезд уйдет и поражались роскошью и удобством отдельного купе. Еще раз расцеловались и вышли на перрон, остановившись у окна.

— Пиши попрежнему, — просила сестра.

— А ты попрежнему аккуратно отвечай, но только теперь без «утешений», как было до сих пор... Помни: теперь я всё видел своими глазами....

Поезд тронулся мягко, без рывка. как будто поплыл, сначала совсем бесшумно и только через несколько мгновений стали чувствоваться ритмические удары на стыках рельс.

Сестра побежала за поездом, помахивая рукою. Брат отвечал ей из окна платочком. На повороте пути они потеряли друг друга. Он еще некоторое время махал платочком, хотя и не видел никого.

— Прощайте, родные края, прощай всё хорошее, что было в прошлом, всё страшное, что отняло радость у людей в настоящем!..

Под стук колес, под мельканье телеграфных столбов, думалось о том, что поездка к сестре была не напрасной: он причастился страданиями народа. Доколе это будет? Когда Господь сменит заслуженную всей страной кару на неизреченную милость?

* * *

Через два месяца началась война. Художника мобилизовали в армию. Он попал в плен. Четыре года

жил в лагере для беженцев. Переехал за океан. Связь с Родиною порвалась.

— Неужели никогда больше не увижу любимой сестры, никогда не попробую пирога со щавелем? — часто спрашивает он.

1954 г.

БЕЛЫЕ ФЛАГИ

Экспресс казался птицей: он не бежал, а летел, бесшумно скользя по рельсам, как по маслу.

Была весенняя пора. Леса одевались листвою. В лощинах сверкала вода от недавно растаявшего снега. На нежной зелени лугов светились искрами первые золотистые цветы.

В такое время хочется ехать и день, и два, и три. Люди жалеют, когда приближаются белесовато-розовые сумерки, а за ними застенчивая весенняя ночь. На западе долго дотлевает костер зари. Вот погасли последние угольки на горизонте и серовато-голубой пепел покрыл их, как одеялом. На смену засыпающему западу просыпается восток. Кажется, как будто кто-то невидимый раздвигает одну за другой прозрачно-кисейные занавеси, закрывающие дворец дневного светила.

Жизнь в поезде начинается с первыми лучами солнца. Люди просыпаются отдохнувшими, подобревшими, полными участия ко всем окружающим, жалея только о том, что новые знакомства были весьма кратковременны.

Нигде так легко не исповедуются люди, как в вагоне железной дороги. Каждому хочется поделиться пережитым, которое давит на душу тяжелым камнем. Чужому человеку можно открыть тайну, непроницаемую для близких: он не знает вашего имени, место-

жительства, он жадно слушает вас, коротая время, для него ваш рассказ, как страницы увлекательной книги. Выйдя из вагона на своей станции, он не будет помнить о вашем существовании, как не помнят о камне, брошенном в воду.

* * *

Кондуктор, поспешно пройдя по вагонам, громко предупредил, что скоро будет узловая станция: «Кинель». Несколько человек стали готовиться к выходу и заранее прощаться с теми, кто ехал дальше.

Молодой невзрачный человек, слегка прихрамывающий на правую ногу, стал нервничать, на что обратили внимание все, пробывшие с ним в поезде уже больше суток. Он то садился на угол скамейки, то стремительно вставал, как будто позабыв сделать что-то весьма неотложное и подходил к одному из окон. Ему уступали место, чтоб он мог лучше видеть всё время меняющуюся и как будто кружащуюся панораму окружающей местности. Но рассеянно взглянув в окно, молодой человек уже отходил от него, чтобы безотчетно подойти к другому, потом к третьему.

Соседи по купе заметили прежде всего, что их спутнику не по себе.

— Вам, кажется, нездоровится? — спросила пожилая женщина, приблизившись к нему в коридоре, когда он брался за ручку двери.

— Мне?.. Да... у меня скверно на сердце...

— Выпейте холодной воды.

— Вода в таких случаях не помогает...

— Не украли ли у вас что-нибудь из багажа?

— Нет... все мои вещи целы, но сердце не находит места... Через три пролета решается моя судьба и потому мне... страшно.

— Мы едем с вами вторые сутки, но вы не рассказали нам о том, что вас так волнует.

— Хотел, но не осмелился... Кому интересно чужое горе? У каждого достаточно своих неприятностей и неразрешенных задач...

— Пойдемте в купе. Поделитесь тем, что отняло у вас покой, освободитесь от бремени, непосильного для вас.

Голос женщины был по-матерински ласков, в ее добрых серых глазах было столько участия и неподдельной нежности, что молодой человек еле удержался от слез. Он был очень худ, черноволос, с впалой грудью, с густыми бровями, сросшимися на переносице.

— У меня дома такой же, как вы, сын, ждет не дождется меня... А я вот загостилась у замужней дочери и внучат.

— Ждет?.. Как это хорошо, когда кто-то кого-то ждет, — дрожащим голосом произнес молодой человек.

— А разве вас никто не ждет?

— Не знаю... Ничего не знаю... Хочется, чтоб ждали, но может быть... с некоторых пор... я им уже не нужен...

Две слезы выкатились из его темных глаз.

— Вы еще совсем молодой... у вас впереди вся жизнь — интересная, творческая, целеустремленная.

— Как видите, при своей молодости я уже инвалид.

— Это не помешает вашим исканиям, научной работе, успехам на благо всего человечества.

— Вы — удивительная утешительница. Я не утаю от вас ничего... Может быть что-нибудь посоветуете...

— Не только от меня, но и от тех, которые уже свыклись с вами за полтора суток. Друзья, у нашего юноши какое-то большое горе. Он ждет от всех нас доброго совета.

— Готовы к его услугам, — послышался голос, — но поезд уже замедляет ход. Все мы, кажется, едем дальше, а сейчас надо наведаться в буфет: эта станция славится необыкновенными пирожками.

* * *

Когда поезд пошел дальше, молодой человек начал свою повесть по настоянию доброй пожилой женщины. В купе, кроме нее и рассказчика, было еще три человека: молоденькая с задорно вздернутым носом белокурая девушка в школьной форме, как видно, ехавшая на весенние каникулы; миловидный священник в синей рясе, часто разглаживавший аккуратную русую бороду, которая прикрывала верхнюю часть груди и цепочку наперстного серебряного креста, выделявшегося своим сверканьем на ультрамариновой синеве рясы. Рядом с ним сидел широкоплечий, шумно-дышавший толстяк в распахнутом сером пиджаке и в расстегнутом наполовину жилете. По виду это был директор какого-то провинциального предприятия. Всё его лицо было в бугорках и в волосатых родинках. Он часто доставал из кармана табакерку с перламутровыми блестками и набив коричневым порошком нос, громко и сладко чихал, всякий раз приговаривая: «Не обессудьте, уважаемые». Школьница в такие моменты почтительно улыбалась, священник с опаской подбирал свою рясу, добрая женщина вздыхала и в этом вздохе чувствовалась укоризна.

Для молодого человека было ценно внимание спутников, приготовившихся выслушать его печальную исповедь.

— Мой отец железнодорожный служащий на станции, которую вы увидите через три пролета. Я единственный сын у родителей. В детстве и отрочестве был послушным. Школьные учителя не сделали мне ни одного замечания. Все шло хорошо до окончания средней школы в районном городе. Я был в числе пяти отличников нашего выпуска. Передо мною открывались дороги во все высшие учебные заведения. Но как в жизнь вклинивается что-то чуждое, постороннее, паиногда неожиданно рушатся все наши мечты и планы!

губное... Шаткий разум, взбудораженные чувства и неокрепшая воля подцепляются на удочку яркой приманки и русло жизни резко меняет свое направление. На другой день по окончании школы я пошел в городской театр на концерт приезжего вокально-танцевального ансамбля. В труппе было человек тридцать певцов и певиц и несколько танцоров. Театр был переполнен. Хору бурно аплодировали, а от стремительных виртуозных танцев все пришли в неописуемый восторг. И вот тогда-то, не иначе как лукавый, начал нашептывать мне: «Ты мог бы плясать не хуже этих артистов... Ведь ты же, как танцор, всегда выступал на школьных концертах и пользовался всеобщим признанием. Перед тобою открывается дорога к мировой славе, которую ты хочешь променять на скучные математические науки... Одумайся, пока не поздно: иди за кулисы и договорись о том, чтобы они приняли тебя в свою труппу»... И я пошел, познакомился с милой директриссой, сказал ей о своем желании. Меня попросили придти утром на пробу. Что было дальше? Следующий день можно было определить тремя словами: «Пришел. Попробовал. Удивил». Меня охотно приняли в труппу, которая, кроме гастролей по России, намечала план длительного заграничного турне. Это больше всего вскружило мне голову. «Заграница!»... Как неотразимо, как сладко-пьянящее это слово для всякого юноши! Увидеть Европу! Побывать в Америке, в Австралии, в Африке! Побродить по улицам Калькутты, Иокогамы, Рио де Жанейро!.. Разве всё это могут заменить скучные лекции физико-математического факультета?

В труппе у меня сразу появились друзья и завистники. Последних больше, чем первых. Но я решил, что ради будущего нужно смириться с этим неизбежным злом.

Вместо того, чтобы ехать домой и порадовать родителей успешным окончанием школы, я отправился на гастроли с вокально-танцевальным ансамблем. В

письмах я сообщал, что мне неожиданно представилась счастливая возможность — посетить Европу и Америку. Только в середине августа я приехал домой всего на несколько дней. Скрепя сердце, я поведал родителям о своих дальнейших планах на поприще не науки, а эстрады. Горю отца и матери не было предела. Им казалось, что я умер для них без надежды на воскресение. Уговоры длились все дни моего пребывания дома, но ничто не поколебало меня. В конце августа я распрощался с родителями, покинув отчий дом...

— Как блудный сын, — заметил священник.

— Да, да... так оно и получилось в дальнейшем... Жаль, что я не могу вдаваться в подробности, чтоб описать свои переживания на артистическом поприще в первое время. Много раз мое самолюбие уязвлялось так сильно, что я невольно в эти моменты вспоминал слезы матери и уговоры доброго отца. «Расплачивайся за их страдания», — говорил я с укором самому себе.

— Ваша нога не мешала вам танцевать? — слегка смущаясь, поинтересовалась пожилая женщина.

— В первое время мои ноги были в порядке... Это несчастье случилось позже... Из-за этого-то я и возвращаюсь теперь домой.

— Значит, это такое несчастье, которое можно вполне назвать счастьем для ваших родителей, а может быть и для вас, — изрек пыхтящий и часто чихающий толстяк.

— Это случилось на торжественном концерте, в присутствии многочисленной публики. Мое имя в программе значилось первым, как главного солиста. Аплодисменты всегда сопутствовали моему появлению на сцене. В тот раз они были особенно шумными и продолжительными. Я мог, высоко подпрыгнув, делать в воздухе несколько пируэтов, то-есть, полных поворотов всем телом. Многочисленные повороты на

полу всегда происходили под несмолкающие аплодисменты... А в тот раз... Никогда не позабуду этого ужаса и позора: у меня подвернулась нога и я упал, раздробив при падении щиколотку. Зал ахнул не от неловкости за меня, а от жалости ко мне. Товарищи подхватили и увели под руки за кулисы. Концерт продолжался, а я стонал и плакал в артистической уборной в ожидании кареты скорой помощи. Многие из моих поклонников ринулись за сцену. Меня утешали, ободряли, девушки плакали, выражая сочувствие...

— Подумали ли вы в тот момент, что это — Божье произволение? — спросил священник.

— Нет... такие мысли пришли значительно позже, уже на больничной койке. Из больницы я не написал родителям ни одного письма, чтоб не пугать их. Мне сделали операцию под местным наркозом. Я слышал, как хирург что-то пилил, что-то прибивал... На другой день от медицинской сестры я узнал, что как танцор, я умер... Меня навещали товарищи из нашего ансамбля, приносили цветы, но на их лицах я читал приговор: «Ты больше не солист, не партнер, не участник спектаклей»... Месяц я пролежал в больнице и два месяца ходил на костылях. Освободившись от костылей, я написал родителям длинное письмо. В нем были подробно описаны все события последнего времени: происшествие на концерте, пребывание в больнице, хромота на всю жизнь... Я просил прощения и приюта под родительским кровом... Я написал, что приезжаю через два дня скорым московским поездом... Наш домик в сотне саженей от станции с этой стороны. Окнами он выходит к железнодорожному полотну. Наискосок от дома — серебристый тополь. Вот какую приписку я сделал в конце письма: «Дорогие папа и мама, если вы прощаете меня и принимаете, как блудного, одумавшегося сына, пусть на нашем тополе будет вывешен белый флаг. Билет я куплю до следующей станции. В том случае, если не будет флага, я не выйду из вагона и

проеду дальше, чтобы поселиться временно в деревне Марычевке»...

Школьница едва успевала смахивать слезы. Слушатели приуныли. Подошли многие из соседних купе.

— И вот я боюсь: а вдруг флага на дереве не будет?.. Я не могу смотреть в ту сторону... Мое сердце разорвется, если тополь будет пустым...

— Вы не смотрите... Мы будем смотреть за вас, — сказал священник. — Я уверен, что мы увидим флаг на дереве. Разве отец и мать способны мстить? Сейчас они любят вас даже больше, чем любили в детстве... Они ждут вас. Вы потерпели крушение, вы для них раненный птенец.

— Всё это так, и всё же я боюсь... трепещу... я не уверен... Белый флаг будет символом примирения с родителями. Теперь я в полной их власти и готов исполнить все их желания. Я поступлю в университет или в архитектурную академию, я постараюсь наверстать почти три пропавших года... Как ученый, я могу попасть в Европу и в Америку, — не одним же артистам открыты двери за границу.

Волнение охватило всех пассажиров вагона: от одного к другому передавался рассказ о белом флаге, от которого зависит судьба молодого человека. Все были в необычном возбуждении.

— На какой станции он должен сойти?

— Если будет флаг, то на станции «Богатое», а если флага не будет, проедет дальше.

— Поезд уже миновал Грачевку. Минут через десять будет эта самая станция.

— Видите, он отвернулся от окна и закрыл лицо руками.

— Бедный, как его жалко... А чемодан всё-таки поставил возле ног.

— На тот случай, если отец и мать — простят...

— Как же не простить единственного сына, который пришел в себя после театрального дурмана? Кто бы из нас не простил? Все бы простили.

— А ему страшно.

— Потому что обличает совесть.

— Он трясется, как в лихорадке.

Пожилая женщина, первая обратившая внимание на его нервное состояние, теперь гладила его по голове, целовала его волосы, уговаривая:

— Не надо убиваться, голубчик, всё обойдется по-хорошему... Ты же чудный мальчик... Три года в театре — твой страшный сон, но ты проснулся.

Протяжно засвистел паровоз, заставив многих вздрогнуть. Пассажиры приникли к раскрытым окнам, стараясь издали разглядеть флаг. Все жалели молодого прихрамывающего человека, трепетавшего от неуверенности в родительской любви.

— Есть! Есть! — раздался радостный крик возле одного окна.

— Всё дерево в белых флагах! — закричали у других окон.

— У дерева стоит женщина с флагами, а на дереве какой-то человек, который принимает от нее эти флаги!

Тогда хромой юноша попросил дать ему место у одного из окон. И когда поезд поровнялся с деревом, крикнул:

— Мама! Папа!

Этот крик у всех перевернул души. Так вероятно кричали бы только воскресшие, вышедшие из-под могильных плит. Отец и мать, оставив дерево, поспешили к станции, всё еще держа в руках белые флажки. Толстяк в распахнутом пиджаке подхватил чемодан молодого человека. Священник благословил его. Школьница крепко пожала руку. Пожилая женщина по-матерински обняла.

. . . .

Стоянка на этой станции была очень короткая. Прозвучал резкий и длительный сигнал кондуктора. Поезд тронулся мягко, плавно. Родители и сын замахали приветственно флагами. Из окон замелькали белые платки. Промелькнул последний вагон. Уже никого не видно. Но все они там думали и говорили сейчас о нем — примирившимся с отцом и матерью.

1960 г.

ЧУТКОСТЬ

Я часто вижу худенькую трясущуюся старушку, с лохматыми седыми бровями, нависающими над черными точками печальных глаз.

Перед нею всегда два жирных бульдога — пучеглазых, слюнявых, добродушно-свирепых на вид. К их кожаным ошейникам прикреплены цепочки, которые крепко держит старушка детскими пальцами худых, прозрачно-бледных рук.

Собаки сильные, откормленные, с лоснящимися складками на шее. Они с хрипением рвутся вперед или в стороны, не считаясь со слабосилием своей хозяйки, которая боится их выпустить и потому вынуждена следовать за ними торопливыми, почти бегущими шагами. Своих питомцев и, как видно, любимцев она выводит погулять на глухую тропу вечно-зеленого парка, предназначенную для всадников, обучающихся верховой езде. Но всадников здесь почти никогда не бывает: на темном грунте дороги не видно следов конских копыт.

Я люблю эту тихую, широкую аллею в центре большого города. Идя по ней, я вспоминаю лесные тропинки родины, по которым бродил в годы юности.

Изможденная старушка и два ее жирных бульдога наводят меня на грустные размышления. Мне представляется, что она безнадежно одинока. Псы скрашивают ее бытие, им она отдает остаток жизни, всё свое дневное время и пенсионные деньги... Комната ее и все вещи вероятно пропахли псиной... Оттого, что на прогулках ей всё время приходится наклоняться вперед, она стала сутулой. Глядя на ввалившиеся щеки и выступающие скулы, на просторное бедное пальтецо рыжего цвета, висящее на узких плечах, как на крючке, я невольно думаю о том, что эти избалованные, беззастенчивые псы выпили все ее жизненные соки, оставив только кожу да кости. Но при всем том она, несомненно, счастлива: ее жизнь осмыслена, ее старческий досуг заполнен заботами о двух живых существах. К моим размышлениям о старушке примешиваются различные вопросы: почему она не отдает свое время какой-нибудь сиротке, цветам, поющим канарейкам?.. Почему ее любовь к животным избрала именно бульдогов с отвисшими, всегда чересчур влажными нижними губами?

В последний раз, когда аллея была пропитана запахами цветущих деревьев, предо мною предстала такая картина. Впереди идет элегантно одетый господин высокого роста. Возле него резвится смешной на вид, тщательно подстриженный серый пудель. Он то стремительно убегает вперед, то, как бы спохватившись, летит назад и уставившись на хозяина, ждет какого-то поощрительного или наставительного слова.

Но вот за мною послышалось тяжелое дыхание человека и хрипение каких-то животных. Оглянувшись, я увидел маленькую старушку с бульдогами. При виде свободно бегающей собаченки они решительно захотели того же. Слабые человеческие руки не могли их сдерживать: они рвались неудержимо вперед. Что оставалось делать их сердобольной хозяйке? Бежать за ними. И она бежала — качающаяся, потная, шумно дышащая, испуганная, что может не удержать замотанных на руках металлических цепочек, режущих ее пальцы.

Я остался позади. Элегантный господин оглянул-

ся. Поняв причину беспокойства бульдогов и сжалившись над старушкой, он подозвал пуделя и властно приказал ему идти с ним рядом. В собачьих глазах выразилось недоумение: — Идти шагом, по-человечьи? Возможно ли это?.. Но раз вы хотите, я подчиняюсь — из верности и послушания вам...

Пудель, хоть это было несвойственно его натуре, шел теперь, как воспитанный мальчик, которого ведет за руку строгая няня. Бульдоги тоже пошли медленнее. Дыхание старушки стало нормальным.

Как многообразны — жалость, внимание и чуткость человека к несчастным, с которыми мы сталкиваемся каждый день, — подумал я. Почему господин приказал своей собачке идти с ним рядом? Потому что пожалел старуху, которая могла испустить дух от непосильного для нее напряжения.

Вот они пошли рядом.

— Как зовут ваших собак? — спросил он.

— Джон и Джим.

— Это человеческие имена.

— Да, это имена двух моих сыновей, погибших в автомобильной катастрофе после возвращения с фронта...

— Ваши дети вероятно любили собак?

— Да... больше всего бульдогов.

Мне стало всё понятно. Чувство смущения охватило меня. Почему я ни разу не предложил своих услуг этой одинокой женщине? Разве я не мог бы изредка подержать сильных собак, чтобы дать возможность их старенькой хозяйке немного передохнуть, а не бежать, спотыкаясь, за ними? Почему я ни разу не заговорил с ней, не спросил о ее жизни?.. Господин с пуделем увидел ее впервые и сразу проявил человечность, а я лишь давал волю фантазии, рисовавшей неприглядные картины старушечьего быта.

Пусть это будет мне хорошим уроком на будущее. Не проникнув в душу, в ее святая-святых, можно легкомысленно осудить любого человека и приписать ему то, в чем он совершенно неповинен.

Теперь я смотрел на старушку, как на любящую мать, верную памяти своих детей, как на героиню, а не жалкое существо, пропахшее псиной.

1960 г.

СИРЕНЬ

Говорят, что зло сильнее добра, что оно летает на крыльях, а добро только ползает черепахой. Всегда ли так бывает? Не вырастают ли иногда крылья и у добра и не разит ли оно в таких случаях зло — молниеносно, наповал, без остатка?

Вскоре по прибытии американских войск в Зальцбург мой друг поступил на работу в одну из воинских частей. Работа была нетрудная, но обеспечивала материально: кроме жалованья он получал хорошее питание. После длительного недоедания на полуголодном пайке военного времени это было настоящим кладом. Многие, завидуя, называли его счастливцем. Раз в день он должен был подметать двор военного госпиталя.

Вначале ему почти нечего было делать: больных мало, а раз так, то и на дворе чистота. Но вот верхний этаж был заполнен солдатами из военной тюрьмы и сразу жизнь моего друга превратилась в мучительную пытку. Как только он кончал уборку, солдаты начинали выбрасывать из окон всякий мусор: бумагу, консервные банки, бутылки, остатки пищи. Они делали это с нарочитым усердием, чтобы прибавить работы уборщику. Он снова подметал двор, но солдаты не успокаивались и после этого. Другу не хоте-

лось выслушивать замечаний о плохой работе и поэтому теперь в продолжение всего дня он не присаживался ни на минуту. Это было соревнование выдержки с озорством. Но, к несчастью, его терпение лопнуло и он пожаловался сержанту на озорников. Тот немедленно поднялся на второй этаж и несколько минут распекал молодых людей за бесчинство и неуважение к человеку.

Друг думал, что всё пойдет по хорошему, но, увы, с этой минуты ему не стало житья. Получив выговор, солдаты не успокоились, а еще больше озлобились. Если раньше они разбрасывали мусор, чтобы досадить человеку, то теперь метились в его голову бутылками и другими тяжелыми предметами исключительно из чувства мстительности. Бывало к его приходу на работу двор был уже загрязнен. Теперь же мусор умышленно приберегался к тому моменту, когда уборщик показывался во дворе. Больные не хотели видеть того, кто пожаловался на них. Они выживали его со службы своей ненавистью. Что можно было придумать, чтобы разрядить атмосферу враждебности? Друг сделал для метлы длинную ручку, чтобы увеличить расстояние между собой и окнами и тем обезопасить себя от обстрела бутылками, но это не помогало: солдат было много, а он один. Они всегда могли улучить минуту, когда уборщик оборачивался спиной к окнам, чтобы нацелиться в его голову. На лице у него темнело уже несколько кровоподтеков. Он стал надевать на голову толстую шапку и одеваться в плотную куртку, хотя стояла весна и в каждом садике города благоухала сирень.

Когда я навестил его, он с болью в сердце поведал о войне со своими недоброжелателями.

— Прекрасное место, но придется его оставить, — закончил он свой рассказ.

В это время в раскрытое окно подул ветер. Откуда-то повеяло густым, сладким ароматом сирени.

— Надо помириться, — сказал я.

— Не представляю, как это сделать.

— Закажи в цветочном магазине букет сирени, но такой, чтоб он мог удивить каждого своим великолепием.

Заказ был сделан в тот же день. К утру цветы были готовы. Пышный, необхватных размеров букет был составлен из сирени разных колеров: белой, лиловой и розовой. Придя в госпиталь, уборщик поднялся на второй этаж. У двери палаты стоял часовой. Уборщик сказал, что хочет подарить больным солдатам букет сирени. Часовой тщательно осмотрел цветы. Не найдя ничего недозволенного, он распахнул дверь, внес букет в палату и торжественно поставил его на стол. Солдаты закричали:

— Какая красота!.. От кого?

— От него! — сказал часовой, показывая на уборщика.

Многие повскакали с коек и, подбежав к столу, стали с упоением вдыхать аромат сирени.

С легким чувством вышел уборщик во двор и взял в руки метлу, чтобы приступить к уборке мусора, но... убирать было нечего: в этот день и во все последующие солдаты бросали из окон только шоколад, конфеты, прессованные фрукты и много других ценных подарков. Ежедневно уборщик уносил домой большие кульки со сладостями. Утром из всех окон ему кричали:

— Доброе утро, джентлемен!

Когда он уходил с работы, его провожали выкриками:

— Добрый вечер, джентлемен!

Так легко, красиво и просто установился мир — прочный, искренний, желанный для обеих сторон.

1955 г.

ВСЕМ ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ...

— Умереть бы, — думала вслух сухенькая, сморщенная бабка Наталья, — кому я нужна? Только место на кровати занимаю.

В семье, кроме нее, было восемь человек: женатый сын Николай, сноха Варвара и шестеро внуков.

Жили в большой станице, возле реки, на зеленом приволье. За просторным кирпичным домом был широкий двор, за двором фруктовый сад — яблони, сливы, груши, абрикосы.

В царское время жизнь была осмысленной, наполненной неутомляющими заботами, постоянным душевным горением. Новая власть принесла неуверенность во всем, зависть соседей, настороженность, оглядку, тревогу за завтрашний день.

Дети учились в средней школе, получали хорошие отметки, с гордостью показывали родителям похвальные грамоты, но почему-то настоящей радости это не давало. «Раз отличники, значит, разлетятся в разные стороны», — думали отец и мать.

В колхозные годы семья хлебнула не мало горя. Сад отняли. От огорода отрезали половину. Николай был сослан в концентрационный лагерь на «Беломорканал», откуда вернулся незадолго до войны. До его ссылки мать была крепкой: никогда не хворала, бегала, как подросток, всех веселила шутками и песнями, а по вечерам подолгу молилась горячим шёпотом, не поднимаясь с колен, за старых и малых. Несчастье с сыном подкосило здоровье: больно щемило в сердце, ноги стали чужими, свя́занными, погасли задорные искорки в темных глазах, всё тело ссохлось, сжалось. Теперь тянуло на кровать, на теплую печку. Только в ясную, тихую погоду хотелось выйти на крыльцо — посидеть с меньшим внуком Ваней. Старшие часто казались глухими, когда старуха просила попить; ее вздохи и стоны вызывали сердитые замечания: «Неужто не можешь обойтись без этой музыки?»

Когда-то красивая, рослая, чернобровая теперь Наталья походила на морщинистую, пожелтевшую худенькую девочку с седыми лохматыми бровями. Брови у нее всегда были густыми. В молодости она смачивала их сахарной водой, чтоб не топорщились. В старости было не до красоты. И по мере того, как тело всё больше таяло от болезней и тоски, брови разрастались всё гуще, как разрастается возле заборов сорная трава, которую никто не выпалывает. Ваня называл бабушкины брови «дремучими». Он любил слушать истории о прежней жизни, облокотившись на ее колени и глядя на нее черными, всё впитывающими в себя, глазами. Когда она рассказывала, какой красавицей была в молодости, внук вздыхал с тоскою:

— Не понимаю, почему старость делает людей некрасивыми?.. Неужели я тоже буду огородным пугалом?

— Коль доживешь до моих лет, не миновать страхоты.

— А ты, бабушка, боишься умереть и лежать в могиле до скончания века?

— Всем хочется жить, внучек, как бы ни страдал человек.

— А почему ж ты всегда говоришь: «Умереть бы»...

— От тоски, от застенчивости... Не нужна я никому... Все только и думают: «Да когда ж освободится занятое место?»... Старики мешают молодым — болезнями, вздохами, бездельем, безобразным видом...

— По правде скажу, бабушка: ты мне ничуть не мешаешь.

— Потому что твоя душа еще не облипла грехами. Чистая она у тебя, святая.

— А можно, бабушка, сделать так, чтобы она всегда была такой?

— Трудно это, но если будешь просить у Бога чистоты, получишь.

— А ты, бабушка, целиком святая или только чуть-чуть?

— Ну, где там... грешница лютая...

— А я что-то не замечаю.

— По доброте своей.

* * *

Немцы заняли станицу поздней осенью. Сад был возвращен, но плодов на деревьях уже не осталось. В солнечные дни, когда бесшумно пролетающая паутина кажется спутанными шелковыми нитками, Николай ходил между деревьями, как в кругу многочисленных родных детей, вспоминая, какое дерево когда посажено, какие давало урожаи, чем болело... Редкие листья на деревьях — розоватые, багрово-красные, зеленые с черными крапинками — беспомощно падали от малейшего ветерка. Трава в саду при колхозной власти не выпалывалась. Высокая, пожухлая, корявая — она так живо напоминала о недавней беспечности властителей.

— Много придется поработать, но ничего, только бы здоровья, — думал Николай.

Фронт за станицу продвинулся на тридцать километров и там остановился. В ночное время стали беспокоить русские самолеты. Они делали над станицей круг, сбрасывали по нескольку бомб и возвращались на свою базу. При каждом налете разрушалось несколько домов. Были жертвы. Немецкое командование приказало в каждом дворе выкопать траншею с прикрытием.

Старшие дети Николая посоветовали сделать бомбоубежище в саду.

— Пока до него добежишь, может быть сброшено несколько бомб, — сказал отец.

— Но ведь о каждом налете предупреждают сирены.

Большинство членов семьи было за то, что траншею нужно сделать в саду. В работе приняли участие все, кроме бабки Натальи. Пятилетний Ваня подтаскивал доски для прикрытия, бросал землю на крышу, таскал сено внутрь. К вечеру убежище было готово. Спать легли с тревожным чувством, с уверенностью, что налета не миновать. В полночь неподалеку раздался взрыв.

— Бомбят! — крикнули разом дети и родители, — почему же не было сирены?..

Врассыпную, кто в чем был, бросились босиком спасаться. Дети убежали раньше, за ними отец. Мать выбежала последней, держа за руку Ваню. По небу шарили прожекторы. Еще и еще разрыв бомб...

— Господи, спаси и сохрани нас грешных по своей великой милости, — молилась Варвара. Ваня чувствовал, как дрожит ее потная рука, которой она держала его.

На бегу спотыкались, наскакивая на какие-то предметы.

— А как же бабушка? — спросил удивленным голосом Ваня.

— Думай больше о себе, — рявкнула мать таким тоном, как будто никогда не слышала о Боге и всю жизнь провела в волчьем логове.

— Всем жить хочется, — повторил малыш бабушкины слова.

— Всем? Неужто и девяностолетним? Она сама просит Бога о смерти!

— Потому что ее никто не любит.

— Было бы за что.

Мальчику стало так горько и обидно за бабушку, что он не мог больше держать свою руку в материнской руке.

— Пусти... я не маленький...

В траншее было просторно, пахло землей и сеном. Стенки осыпались. Песок попадал за ворот. С разных сторон ухали зенитки. Говорили шёпотом, делали предположения, в какие дома попали бомбы. Старшая дочь предложила:

— Давайте останемся тут до утра... Лучше безопасность, чем страх.

О бабке никто не вспомнил. Ваня молчал, подавленный безразличием родителей, братьев и сестер к старому человеку.

— Она теперь скучает, — думал он. Чтоб лучше понять ее состояние, он представил себя на ее месте: все убежали, а его, больного (ведь может же он заболеть) оставили на произвол судьбы... «Я бы обревелся от обиды», признался он самому себе.

* * *

Бабка Наталья, оставшись одна в большом брошенном доме, сказала:

— Оставили... Никому не нужна — ни сыну, ни снохе, ни внукам... Ваня, святая душа, вспомни обо мне... помолись за старую, несчастную, никому не милую...

Когда разорвалась неподалеку бомба, стало страшно. Палка, на которую она опиралась при ходьбе, лежала рядом с нею.

— Господи, помоги доползти до укрытия, где все наши...

С трудом спустила ноги с кровати. Держась за дверь, переступила порог. В раскрытую дверь сеней залетал ветер. От этого шуршали пучки лекарственных трав на чердаке, увеличивая страх. Жуть. Мрак. Беспомощность. Шустрые щупальцы прожекторов, задевая облака, превращали их в золотистые лужи. От выстрелов дрожала земля. Ужас сковывал движения. Старуха ничего не видела перед собою. Палка несколько раз выскальзывала из рук. Приходилось

становиться на больные колени и шарить ее в темноте.

— Господи, сохрани их всех, оставь в целости и невредимости Ваню, а если мне пошлешь эту кару, то вынь душу из тела сразу. Ты Сам всё видишь, Господи: я и без бомбы не человек, а если оторвет ногу или руку, что я буду делать?..

Долго плелась до убежища. Уже затихла стрельба, не гудят пропеллеры, не бегают белые лучи по небу, а старуха всё идет. Завыла протяжно, без всхлипываний, сирена: значит, улетели.

— Ты куда? — услышала она сердитые голоса, — не лежалось тебе на кровати?

— Наверно размяться захотелось, — съязвила Варвара.

Подбежал Ваня.

— Боялась, бабушка?.. В другой раз ты пойдешь со мною.

— Вздумай только, — пригрозила мать.

Домой торопились: надо скорей ложиться, вздремнуть хоть час... вероятно, за ночь еще прилетят...

В конце станицы что-то горело. Треска горящего здания не было слышно: значит, далеко.

— Полыхает Чекуновская мельница, — сказал Николай, — знали куда бросить бомбу.

Бабка шла сзади. Ваня вел ее под руку.

— За что на меня нападает Варвара? — спросила старуха внука, — разве я мешаю ей?

— Грешная она, — шёпотом объяснил Ваня, — и налетов боится...

— А другие разве не боятся?

— Не сердись на нее, бабушка, теперь тебе не будет плохо: я тебя не подведу.

— Разве Варвара допустит? Как она рассуждает? Тебе — жить да жить, а мне давно пора на тот свет... Я и сама знаю об этом, да с тобою жалко расстаться... Пожить бы еще немного... Может, война кончится...

Хочется узнать, на чем порешат, какая жизнь после этого начнется.

Вернувшись домой, торопливо разошлись по трем комнатам, спать легли, не разуваясь и не раздеваясь. Николай помог матери лечь на кровать в кухне. Укладывая ее, не удержался от упрека:

— Куда тебя поволокло?.. Чего ты боишься?..

— Жути... Вы — все вместе, а я тут одна. Над крышей гуденье, стекла дрожат, как в лихорадке...

— А разве в могиле будешь не одна?

— В могиле будет мертвое тело: ему уж ничего не страшно... А душа не заскучает: ее Господь заберет в свои владенья...

— Ты так думаешь?

— Прошу в молитвах об этой милости.

— Если будет второй налет, неужель опять поплетешься в траншею?

— Ваня обещал довести.

— Уж больно ты подружилась с ним... Не зря, значит, говорит пословица: старый да малый — ро́вни.

— Святой он.

Сын вздохнул. Мать не поняла, что крылось в этом вздохе: жалость, сочувствие, насмешка или беспомощность? В ответ она тоже вздохнула. В ее вздохе была любовь ко всем и желание моментальной смерти — без тяжких ранений и уродства.

Часа через два во дворе завыла протяжно собака. В собачьем вое была тоска и безвыходность. Когда всхлипыванья затихали, собака начинала скулить, как бы жалуясь на что-то, достойное сочувствия. Бабка проснулась.

— Свят, свят, свят, не к добру это.

Заплакали в разных местах сирены. Этот пугающий вопль переворачивал всю душу. Семья выбежала из дому через парадную дверь. У бабкиной кровати стоял Ваня.

— Бабушка, слышишь?.. Пойдем...

Из сеней донесся крик матери:

— Ваня, чего прохлаждаешься?.. Не слышишь — летят?..

— Сейчас... бабушке подсоблю...

Мать вбежала в дом и схватила сына за руку.

— Пусти!.. Без тебя знаю дорогу!..

— Так ты слушаешь мать?.. Для тебя бабкины кости дороже моего сердца? Ну, погоди, изуродует бомбой, будешь тогда знать... Кому ты будешь нужен? Милостыню калекам теперь не подают!..

Аэропланы уже гудели над станицей.

— Наплевать мне на вас обоих! — крикнула мать, выбегая из дому. Раздался леденящий душу вой. Бомба разорвалась очень близко. Дом вздрогнул. Задребезжали разбитые стекла. Сорвалась подвешенная к потолку лампа. Ветер зашуршал сброшенными на пол газетами.

— Ой, смерть моя! — донеслось со двора.

— Маму ранило! — крикнул Ваня, выбегая во двор.

— Бедняжка, не успела добежать из-за нас до укрытия, — сказала бабка.

— Тятя, ау!.. Маму ранило! Скорей идите сюда! — звал Ваня..

Бомба разворотила соседний дом. Кирпичи, разлетаясь, контузили Варвару. Она лежала на земле и выла от боли и ужаса, что новая бомба может ее доконать совсем.

Прожекторы, как огромные метлы, старались очистить небо от зловредного мусора. Неподалеку вспыхнули два пожара. Слышен был звонкий треск от горящих зданий. На дворе было светло, как днем. Доносились испуганные голоса пострадавших и сердитые приказания на немецком языке. Из траншеи прибежала вся семья.

— Конец... помогите... спасите, — стонала Варвара.

— Где болит? — спрашивали растерянно дети.

— Тут... слева...

— Ничего незаметно, — сказал Николай, — может-быть просто ушиблась?

Варвару внесли в сени. При свете пожара была видна разорванная кофта и черная вздутая рука выше локтя. Все метались, не зная, чем помочь.

— Господи, чем я провинилась перед Тобою? — плакала контуженная.

— Подумай, может и вспомнишь какую-нибудь провинность, — дружески сказал Николай.

Жена охала, хныкала, хрипела, но ничего вспомнить не могла.

— Плохая у тебя память, — продолжал Николай, — а вспомнить обязательно нужно... хоть в эту минуту... в хорошее время свои провинности не вспоминаются.

— Уразумела! — громко закричала Варвара, — каждое свое слово вспомнила: за мамушку наказал Господь... Поедом ела я старуху, кости ее древние, как собака грызла, лежать на кровати спокойно не давала, хотела, чтоб ее бомба ухайдакала, забыла, что всем жить хочется... Мамушка, великая терпеливица, прости меня окаянную Христа ради!..

Старуха склонилась над Варварой и стала дуть на ее руку, как дуют на детские ушибы.

— Господи, верни здоровье рабе Твоей... Шестеро детей у нее, муж, хозяйство... Прости меня, Господи, за то, что расстраивала я ее своим видом, из терпения выводила... Из-за меня она не успела убежать...

— Не ты меня, а я тебя донимала... Прости, мамушка...

— Бог простит... Я на тебя никогда не обижалась... Понимала я: много ты горя хлебнула, а при горе — не до святости... Поправишься, касатка... А что все окна и лампы в доме разбиты, не печалься: будет здоровье, вернется и достаток.

— Мама, теперь тебе лучше? — спросил Ваня.

— Чуть-чуть... Огонь в теле потухает, терпеть можно...

— А вот и отбой: улетели. Теперь больше не прилетят. Правда, тятя?

— По три раза, покамест, не прилетали... Сейчас поможем матери и пойдем на пожары посмотреть... Может, помощь людям нужна.

Варвару ввели в дом, где теперь дули сквозняки из разбитых окон. Старшая дочь положила мокрое полотенце на черную опухоль. Под больную руку подложили подушку. Лицо Варвары было спокойнее, чем всегда. Глаза светились радостью внутреннего прозрения. Губы шептали:

— Да... всем... жить... хочется...

1958 г.

ГОГОСЯ

«Се, оставляется вам дом ваш пуст.» — Матф. 23:38.

Он был молод, красив, знаменит. Поклонницы не давали ему прохода. Ежедневно он получал много восторженных писем в адрес русской газеты, на квартиру и через многочисленных знакомых. Старые и молодые писатели завидовали ему: в три года американской жизни он сделал себе имя и достиг таких успехов, о которых другие не смели мечтать. Его нашумевший роман: «Буря на Волге» был переведен на немецкий, английский, итальянский, французский и японский языки. На суперобложке американского издания был его портрет. Если у него просили на память карточку, он говорил:

— Купите книгу Юрия Хозарова: «Буря на Волге» по-английски и вырежьте.

Многие так и делали.

Когда он получил письмо из Мадрида с предложением крупного издательства — издать «Бурю» по-испански, жена сказала:

— Давай, созовем друзей и знакомых и отпразднуем это событие. Кстати, через две недели день твоего рождения. Знаешь, сколько тебе стукнет?

— К сожалению, тридцать пять, — вздохнул он, медленно покачивая головою, отчего два темных завитка на широком лбу с мелкими нехорошими морщинками превратились в вопросительные знаки.

— Почему, к сожалению?

— Старею, Наташенька.

— Стыдись! Славы в тридцать пять лет достигает не всякий. К сорока годам тебя переведут еще на полдюжину языков. Мне будет трудно справляться с потоками писем и газетно-журнальных вырезок. Придется нанять секретаря.

— Тогда уж лучше секретаршу...

— И, конечно, по твоему вкусу: блондинку с осиной талией и с родинкой на щеке? Ах, Юра, Юра!.. Ты неисправим... Анонимные письма бесят меня. «Доброжелатели» утверждают, что у тебя новый роман с какой-то невиданной по красоте львицей...

— Надеюсь, ты не придаешь значения этим грязным писулькам, на которые так падки русские эмигранты.

— Не хотела бы думать о них, но они так убедительны... Ты, как мне пишут, не стесняешься бывать с нею в общественных местах, а многим представляешь ее, как своего лучшего друга.

— Лучший мой друг, моя труженица и помощница — ты! Разве я когда-нибудь забуду твое подвижничество в Германии? Я сидел и писал роман, а ты ездила на велосипеде по бауэрам, меняя на продукты кружева и салфеточки, которые вязала до двух и трех часов ночи? Разве без твоего безропотного терпения, без твоей удивительной изобретательности я мог бы что-нибудь сделать?

— Старая хлеб-соль, обычно, забывается, Юра. Ты прекрасно знаешь об этом из литературы и житейского опыта. Нужно быть морально стойким, чтобы удержаться от соблазнов, окружающих знаменитого человека... Но с моральными устоями у тебя, к сожалению, крайне неблагополучно. Ты редко бываешь верен данному слову. Ты не помнишь о сделанных долгах. Ты считаешь, что все должны распластываться перед тобою в низкопоклонстве, комплиментах, восторгах. Ты как Хлестаков, страдаешь чрезмерным гиперболизмом. Тебе ничего не стоит очернить друга, наговорив о нем всяких небылиц не по злобе, а просто из желания блеснуть остроумием... Прости, Юрочка, что я говорю тебе об этом сейчас, когда получено приятное письмо из Мадрида. Но знаешь, что я заметила? По мере того, как увеличиваются тиражи и переводы твоей книги на другие языки, катастрофически растут твои минусы, провалы, пороки, грехи, безответственность... Слава портит тебя.

— Тогда давай покончим с литературой, порвем с друзьями и знакомыми, поселимся в лесу, сделаем убогий шалаш и превратимся в первобытных людей. Я отращу себе длинную бороду, буду охотиться, а ты варить пищу на костре, в чугунном прокопченном котле... Вместо шелка, найлона и шерсти ты будешь шить себе платья из звериных шкур, волосы твои сваляются в сплошной войлок, под ногтями будет жирный чернозем, наша кожа будет шелушиться от грязи, от нашего логова будет тянуть за версту запахами идиллической первобытности... Не правда ли — миленькая картина супружеского счастья Юрия и Наталии Хозаровых?..

— Зачем эти крайности?.. Слава Льва Толстого при жизни несравнима с твоей, но это не мешало ему быть человеком во всех отношениях... С каждым днем в моральном отношении он становился всё более могучим... У тебя же наоборот: ты считаешь, что тебе, как знаменитости, всё позволено. На каком основа-

нии? На том, что твоя книга, пока единственная, наделала шуму?.. Почему я говорю тебе об этом? Потому, что люблю тебя так, как не может любить ни одна львица, тигрица и пантера русской эмиграции... Кто бы из них согласился пережить всё то, что пережила я, терпя голод, холод и страх за будущее? Твоим поклонницам ты нужен только, как известный писатель Юрий Хозаров, им нужна шумиха о тебе, они нацеливаются на твои гонорары... А если ты заболеешь, поскользнешься, если удача изменит тебе? Останутся ли они с тобою? О, нет, им не нужны инвалиды, слабые, беспомощные, потерпевшие кораблекрушение... И вот сейчас, в эту минуту, скажи мне честно, если только в твоей душе осталась крупица порядочности, есть ли у тебя другая, так сказать, параллельная, спутница жизни, другой дом, куда тебя неудержимо влечет, другая семья, где тебе дышится легче, чем в моем обществе?.. Поклянись мне, не бегая глазами, смотри прямо и мужественно в мои. Если ты меня обманешь, пеняй на себя. Но запомни: твоя ложь убьет не только меня, но и тебя. Я верю в Божье возмездие... Мне страшно за тебя, Юра: без меня ты превратишься в прах, в пыль, в ничто, в никому ненужную, противную слизь... Но мое терпение не бесконечно. Я устала от твоего детского легкомыслия, от бездумного порхания по цветам жизни, от твоей преступной безответственности... Итак, я слушаю тебя.

— Наташенька, я был твоим... я — твой теперь... я буду твоим до гроба, как принято выражаться в этом пошлом мире...

— Честно и свято?

— Стопроцентно!..

— Ты, известный писатель, не мог найти другого слова, кроме этого противного, статистического, советского «стопроцентно»?.. Уже одно это казенно-вульгарное слово наводит на подозрения...

— Ты стала очень мнительной и придирчивой в последнее время.

— А кто в этом виноват?.. Но забудем всё, разъединяющее человеческие души... Значит, ты мой и только мой?

— Да, да, да, да, да...

— Попробую поверить, хотя в твоем пятикратном «да» — нескрываемое раздражение...

— Верь без всякой «пробы»...

— Хорошо, верю.

— Когда же мы созовем друзей?

— Давай сделаем это в день твоего тридцатипятилетия, через две недели. А за это время получше подготовимся: пошлем письма друзьям, позвоним кое-кому по телефону.

* * *

Накануне праздника жена решила навести порядок в квартире: повесить чистые шторы, поставить цветы в вазы, стереть пыль с картин и портретов. Убирая лишние вещи с письменного стола, раскрыла папку с фотографическими карточками. На одной был Юрий — худой, изможденный, болезненный. Снимок был сделан в Германии, когда создавался роман: «Буря на Волге». О, как памятно это тяжелое и всё же хорошее время. Наташа перевернула карточку. «Источнику моих вдохновений — моей единственной Гогосе — Юрий», — прочитала она. Г о г о с я... Так назвал ее муж в первую брачную ночь. Он долго жил на Кавказе, в Тифлисе, Гого — по-грузински солнце. Ласкательное «Гогося» — означает солнышко.

— Так я не называл и не назову никого и никогда, — сказал он ей, — запомни: «Гогося» у меня только ты, только ты греешь меня, как солнышко, только ты ласкаешь и радуешь меня светом своего сердца. Если когда-нибудь мой язык назовет так другую женщину, ты можешь покинуть меня, как изменника-предателя.

Прошло десять лет с тех пор, как они поженились

во время войны, при немцах, в городе Могилеве, куда попали вместе с отделом пропаганды Северо-Западного фронта. Он был влюблен в младшую сестру Олю, но писатель Костров, работавший вместе с ним, уговорил его жениться на старшей.

Нелады у молодоженов начались в первые же дни. Юрий страдал пристрастием к алкоголю. Выпив одну рюмку, он терял всякое самообладание, ему хотелось пить еще и еще... В хмелю он становился бесцеремонным, невменяемым, необузданным. Никто не мог остановить его. На него не действовали ни ласковые уговоры, ни строгие вразумления. В поисках спиртного он мог постучать в любой дом ночью. Если ему открывали дверь, он не просил, а требовал, грозя в случае отказа, разбить окна или поджечь дом.

Наташа знала, что муж талантлив и может написать много хороших книг. К его алкоголизму она отнеслась, как к кресту, посланному ей Богом, который она должна нести до могилы.

— Без меня он пропадет, закоченеет где-нибудь под забором или захлебнется в сточной канаве, — думала она, всеми силами стараясь отвлечь его от врожденного порока. Знакомые и друзья уговаривали ее оставить мужа, которого уже ничто не может исправить.

— Вы молоды, у вас вся жизнь впереди, зачем вам изнемогать под этим непосильным бременем? — говорили ей.

— Вы забыли о подвиге, о самоотверженности, — возражала она, — в уходе нет не только героизма, но даже обыкновенной человечности. Уйти не трудно, это сделала бы всякая на моем месте, но я не хочу быть, как все. Юрий хороший, талантливый, но больной... Разве сиделка покидает тяжело больного? Я буду для него нянькой, матерью, другом, сиделкой... Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы он создал книгу, которая была бы принята всем культурным миром.

Теперь, когда муж получил предложение издать

книгу и на испанском языке, Наташа считала, что ее цель достигнута: писатель Юрий Хозаров известен и любим во многих странах.

* * *

Стол был накрыт в зале с окнами на шумную нью-иоркскую улицу. Гости стали собираться к восьми. Поднимаясь в лифте на пятый этаж, встречались у дверей с Хозаровыми — нарядно одетыми, улыбающимися. Наташа сделала к этому дню гладкое шерстяное платье кремового цвета. Без всяких украшений, только с изящными золотистыми пуговицами на груди оно красиво облегало ее стройную фигуру. Коротко подстриженные, незавитые каштановые волосы делали ее похожей на подростка мальчика. — Какая она очаровательная, — думали о ней мужчины, а женщины втайне завидовали ее молодости, изяществу, обворожительной простоте и безыскусственности в обращении с людьми.

Юрий был в новом темно-синем костюме. Красный галстук усугублял черноту его глаз. Выражение лица именинника свидетельствовало о счастье, праздничности и самодовольстве, к которым примешана какая-то, нервирующая, тщательно маскируемая тревога... Но всё же он не мог скрыть радости, о которой пять лет тому назад не смел и мечтать. Тогда пределом его желаний была материальная обеспеченность хотя бы на неделю вперед. Теперь на его текущим счету в банке лежало несколько тысяч, квартира была обставлена со вкусом и роскошью, жене уже не нужно думать о завтрашнем дне, восторженные читатели с нетерпением ждут второго тома «Бури на Волге»... Он скоро будет закончен, и тогда снова издательства начнут осаждать его просьбами и предложением выгодных контрактов.

Мужчины, входя, шумно поздравляли виновника торжества, обнимали и целовали его, женщины целовались с Наташей. Среди приглашенных преоблада-

ли писатели, журналисты, художники, профессора, политические деятели.

В зале гости восторгались уютом и красотою обстановки. Женщин интересовало, где куплена та или иная вещь, справляться о ценах не позволял такт, а хотелось бы узнать, сколько всё это стоит?.. Мужчины, глядя на батарею бутылок и богато сервированный стол, потирали руки — пальцами вдоль пальцев, сопровождая этот жест подмигиваньем, сдержанным подвизгиваньем, покряхтываньем... В ожидании запоздавших разгорались жажда, аппетит, нетерпение...

— Ну, что ж, будем садиться, — предложил Юрий и зал наполнился веселым шумом, который всегда сопровождает усаживание гостей за стол: позванивают бокалы, шелестят платья дам, издают легкие вздыхающие звуки кресла и стулья, с языка срываются шутки, непринужденные восклицания, комплименты по адресу хозяев и друг друга.

Известный политический деятель преклонного возраста позвонил чайной ложечкой о бокал, призывая к тишине. Водворилось торжественное, настороженное молчание. На некоторых лицах можно было прочесть желание: «Только недолго».

— Я понимаю вас, друзья: за столом должно быть меньше слов и больше дела, а потому буду предельно краток. Нашему дорогому хозяину, Юрию Трофимовичу, тридцать пять лет. Впереди у него долгая плодотворная жизнь. Представитель новой эмиграции, он в свои молодые годы порадовал недюжинным талантом не только всех русских, в рассеянии сущих, но и всемирного читателя! Пусть с таким же успехом появляются на свет его новые страницы, главы, книги! Сердечно приветствуем его драгоценную, очаровательную спутницу и помощницу Наталью Аполлинарьевну! Предлагаю тост за их долгую, ничем не омрачаемую, полную творческих радостей, совместную жизнь!

Раздался звон чоканья. Многие, прежде чем выпить, высказывали отдельные свои пожелания или произносили обычную в таких случаях фразу: «За ваше здоровье, Юра и Наташа»...

Началось то, ради чего собрались все эти люди: еда, питье, беспорядочные разговоры — свои у каждой, сидящей за столом, пары. Всё это сливалось в общий гул, напоминавший шум русского толкучего рынка.

Через несколько минут раздался звонок в передней. Наташа побежала открыть дверь.

— Господа, телеграмма! — крикнула она, — узнайте, от кого?

Стали раздаваться предположения:

— От редакции русской газеты!

— От Фордемского университета!

— От общества: «Надежда»!

— Не узнали! От писателя Кострова из Калифорнии. Он желает нам больше любви и взаимной верности.

— Выпьем за любовь и верность, — предложила одна из дам, — это мечта каждой женщины, это — идеал, к которому мы стремимся, но, увы, как всякий идеал, едва ли достижим.

— Вся прелесть жизни заключается в стремлении к достижению, а не в самом достижении, — заметил молодой поэт, — то, что достигнуто, уже прочитанная страница, а ведь нас волнует не прочитанная половина книги, а та, которую мы еще не прочитали, следя с затаенным дыханием за развитием событий... Пусть наша жизнь будет захватывающей книгой, каждая следующая страница которой интереснее и неожиданнее предыдущих страниц!..

— Я бы добавила к этому: «и радостнее», — сказала дама, предложившая тост за любовь и верность.

До десяти часов вечера было получено восемь телеграмм от различных русских обществ Нью-Иорка, с которыми был связан Хозаров. В одиннадцать снова раздался звонок.

— Кто же это так запоздал с поздравлением? — недоумевали веселые, захмелевшие гости.

Вернувшаяся в зал Наташа медлила открывать телеграмму.

— Кто отгадает, получит в качестве приза бутылку шампанского! — весело сказала хозяйка.

— От какой-нибудь поклонницы! — крикнул поэт.

— А пожалуй, что и так, — согласились остальные.

— Вскрываю!..

Все затаили дыхание, почему-то предчувствуя что-то недоброе. Бросив взгляд на подпись в телеграмме, Наташа покачнулась. То, что хотелось ей сказать, застыло на губах, которые старчески-простуженно задрожали. Розовая и счастливая до этого, она сразу угасла, побледнела, сжалась. Первым ее желанием было — скомкать телеграмму и бросить в лицо мужу, но усилием воли она удержала себя ради гостей, которых пригласили на торжество, а не на семейную драму. Муж подошел к ней и взял телеграмму. «Предатель... убийца... лжец», — прошептала она еле слышно и вышла из зала. Гости не слышали ее слов.

— Неурочное сообщение о каком-то несчастье? — спросил политический деятель.

— Приветствие от какой-то идиотки, — смутившись, сказал Хозаров.

— Надо пойти к Наташе, — забеспокоились женщины.

— Лучше оставить ее на несколько минут в покое... Она сейчас вернется...

Хозяин старался быть непринужденным, но это ему не удавалось. Теперь уже ничто не могло восстановить нарушенного веселья. Все почувствовали неловкость, смущение, тяжесть в душе. Разговоры не клеились. Все реплики гостей казались в эти минуты деланными, фальшивыми.

Писатель вышел в кухню. Жены там не было. На краю стола лежала бумажка:

«Не жди... не ищи... к тебе никогда не вернусь»...

— Куда-то вышла, — сказал он упавшим голосом, вернувшись в зал, — может быть за шипучей водой?..

— Она попросила бы об этом кого-нибудь из мужчин, — зашумели женщины, — да и зачем покупать воду, когда мы уже собираемся уходить?..

— Да, да, пора идти домой!..

Юрий не стал задерживать гостей. Они выходили из-за стола и одевались с поспешностью, которую не могли скрыть. Прощаясь, благодарили «за чудно проведенный вечер»...

Все ушли. Вернувшись в зал, писатель прочитал последнюю телеграмму:

«В этот день я с тобою, мой ненаглядный. Живу надеждой — всецело принадлежать тебе, ни с кем не деля своего счастья. Гогося».

— Стопроцентная дура или гениальная самка, — злобно прошипел Хозаров, — да, да, самка, эффектная, неотразимая, но только самка — плотоядная и безжалостная, — говорил он, разрывая телеграмму на мелкие клочки.

Квартира сразу показалась чужой, неуютной. Пустые бутылки... объедки... окурки... пепел... смрадный воздух...

— Что делать? Позвонить знакомым?.. Поискать сбежавшую?.. Но слова в записке категоричны: «Не жди... не ищи... к тебе никогда не вернусь». Вот финал десятилетия...

Он вошел в спальню. На кровати лежали ее платья... Второпях она положила в чемоданчик одно или два... Нет серого пальто и серой шляпки... Ушла налегке... Где будет проводить эту ночь, первую ночь вне дома. без мужа?. Муж... я был скверным мужем... если говорить правду, я был подлецом... А какие высокие истины проповедывал на страницах своего ро-

мана!.. Читатели в письмах утверждали: «Такую гениальную книгу мог написать только безукоризненно честный, кристально-чистый человек»... О, святая читательская наивность! Кто узнает из вас, что жена сбежала от меня в разгар семейного празднества, сбежала потому, что не могла больше терпеть моего неисправимого двурушничества?..

Он вернулся в зал, отодвинул стол от дивана, а когда стал пододвигать диван к стене, увидел на полу Библию, о которой ни разу не вспомнил с того момента, как получил ее по почте, в подарок от писателя Кострова. Тогда же он с досадой засунул ее под диван, как неумолимого обличителя своей порочной жизни. На книге была надпись:

«Пусть эта книга священная,
Спутницей Вам неизменною
Будет везде и всегда»...

Она долго пролежала под диваном — забытая, заброшенная, запыленная. Он раскрыл Библию наугад. В глаза бросился стих: «Се, оставляется вам дом ваш пуст».

Как ножом по сердцу полоснули эти слова.

— Почему именно это открылось мне? Господи, может быть этой бедою Ты хочешь вразумить меня? Помоги мне удалить из души многолетнюю нечисть, сделай меня новым человеком, хорошим не только в книгах, но и в жизни...

Слезы потекли по щекам — первые слезы за годы суетной человеческой славы.

— Читатели мои, знаете ли вы, что я горько плачу?.. Посочувствуйте мне... помолитесь за меня — известного, прославленного критикой, но такого слабого ничтожного, искалеченного морально... всеми покинутого... одинокого...

1957 г.

РОКОВАЯ НАХОДКА

«Корень всех зол есть сребролюбие»
1 Тим. 6:10.

Иван приехал в Америку в пятнадцатилетнем возрасте. Дома, в Белоруссии, остались отец с матерью, братья и сестры.

— Как подработаешь на починку избы, не задерживайся в чужой земле, — сказала на прощанье плачущая мать. Отец был другого мнения:

— Коль работа попадется прибыльная, не спеши домой... Тогда мы сможем построить новый дом, а не штопать старую развалюшку.

Покидать родное село было грустно. Накануне выезда сбегал в лес — попрощаться с любимыми полянами, прозрачными озерами, пустыми грачиными гнездами. Был конец сентября. Тихо падали золотые и багряные листья с берез и осинок. Ивану казалось, что они плачут, расставаясь с ним. Он снял ветхий черный картуз с засаленным козырьком и, взглянув на кротко синеющее чистое небо, тяжело вздохнул:

— Эх, жизнь!..

Тяжелее всего было расставаться с родной природой. Забудет ли он костры в ночном, печеную картошку, разговоры со сверстниками о далеких странах, весенний аромат трав и цветов, неумолчное кваканье лягушек, многоголосые птичьи хоры?.. Если б не бедность, никогда бы он не покинул этой красоты.

Об Америке он слышал много необычного, увлекательно-страшного, волнующе-влекущего. Там было немало земляков из соседних деревень. Они присылали деньги своим родным и в письмах всем внушали, что «человек с головой» в Америке не пропадет, только надо поменьше лоботрясничать и беречь заработанное.

— С головой я иль без головы? — спрашивал у самого себя Иван. Учитель в сельской школе всегда

хвалил его за старательность, исполнительность, аккуратность. Всё это подтверждало, что он не без головы. А насчет бережливости родители могут не беспокоиться: каждую копейку будет опускать в копилку. Он знал, что копейки в Америке называются сентами, а рубли — долларами и что на доллар можно купить вдвое больше, чем на рубль. Чужому языку он собирался научиться на месте.

В пути он страдал от морской болезни, когда всё было не мило: будущие сенты, доллары и все сбережения для постройки нового дома на родине... Обнажающийся, багряно-золотистый лес, куда он успел сбегать перед отъездом, казался приснившейся, неповторимой сказкой... Возле него — справа и слева стонали, мучились, взывали о помощи переселенцы в Новый Свет, едущие по самому дешевому тарифу. В помещении было полутемно, тесно и душно. «Мама, — плакал Иван, — почему ты не отговорила меня от Америки?»...

Но нет ничего бесконечного на этом свете, кончились и дорожные мучения. В Нью Йорке его встретили переселившиеся в Америку два и три года назад. Большие серые глаза мальчика были полны страха, светлые волосы падали на потный от удивления лоб прямыми прядями. Всё, что он видел перед собою и что долетало до его слуха, казалось не настоящим... Разве бывают на свете такие высокие дома?.. Разве могут скрежещущие и шипящие поезда ходить под землею и на подстановках прямо на улице?.. А сколько везде народу! Автомобили бегут один за другим, как большие козявки... От всего голова кажется очень тяжелой, она как-будто раскачивается наподобие маятника тех часов, которые он видел в доме сельского лавочника... Земляки, глядя на него, смеются, хлопают его по спине с ободряющими словами:

— Ничего, Иванко, всё обойдется по-хорошему!.. Приглядишься, принюхаешься, приобыкнешь, поступишь на работу, заработаешь денег, а там, глядишь, женишься на богатой «мериканке» и заживешь припеваючи, как кум королю...

Слова эти Иван воспринимает, как насмешку, как что-то чужое, далекое, непонятное.

* * *

Он поселился в общежитии для чернорабочих на окраине, где строились большие кирпичные дома. Вместо кроватей в большом мрачном помещении, похожем на сарай, стояли деревянные топчаны. Вместе с русскими тут было немало таких, которые говорили на каких-то непонятных языках. В праздники устраивались попойки, по вечерам в будни дулись в карты. Почти все курили. Воздух был пропитан зловонием. Жизнь после деревенского приволья казалась адом.

— Вот она какая Америка, — ныло сердце у Ивана, — если б я знал об этом, ни за что бы не поехал сюда.

Земляки посоветовали — при найме на работу прибавить два года. Тот, кто нанимал рабочих, говорил по-польски и даже немного по-русски. Лицо его было неприязненно испитое, как будто он только что выписался из больницы. На вопрос: «Сколько лет?» Иван сказал: «Семнадцать». Приказчик злобно хмыкнул, но ничего не возразил.

Работа Ивана состояла в подтаскивании кирпичей к строящимся домам. Ивану выдали старые жесткие рукавицы и указали на напарника — коренастого бородатого мужика лет пятидесяти. Он был из России, в Америку приехал недавно. От него пахло водочным перегаром. Он ругался и часто сплевывал что-то желто-омерзительное. Иван узнал, что на родине у него осталась большая семья, которая ждет от него денег.

— Они думают, что деньги тут валяются на тротуарах... Пусть приедут и посмотрят...

Накладывать кирпичи в рукавицах было неловко. Иван бросил их на кирпичные осколки, валявшиеся возле штабелей и стал накладывать голыми руками. Его напарник был сильный и накладывал, не думая о другом. Когда понесли носилки с ношей в первый раз, Иван не выдержал: ладони его разжались, носилки упали, кирпичи рассыпались... Другие подносчики сочувственно покачали головами, напарник нехорошо выругался, Иван смутился, покраснел и еле удержался от слез. В каждую тяжелую минуту жизни он мысленно улетал на родину и видел золотой дождь листопада, пустые грачиные гнезда, голубое, незакопченое русское небо.

После первой неудачной подноски кирпичей стали накладывать меньше, но на голых руках скоро появились ссадины.

— Пропаду я с тобою, — сердился напарник, — и чего тебя приволокло в Америку? Другое дело я — человек семейный, заела нужда... А ты? Что у тебя — семеро по лавкам?..

— У нас изба скособочилась, — оправдывался Иван.

— Изба?.. А тут сам загодя скособочишься...

* * *

Первое письмо Ивана на родину было очень печальным. Когда он его писал, слезы падали на листок бумаги. Это увидели земляки.

— Заскучал Иванко?.. Это по первости, а немного погодя, приобыкнешь... Ну-ка, почитай, что настрочил...

Иван протянул им листок:

— Читайте сами.

Чувствовал, что если начнет читать письмо вслух, разрыдается и вызовет насмешки окружающих.

— Не посылай... Сейчас же изорви, — посоветовали земляки, — чего ты добьешься этим письмом

— материнской хвори и отцовской досады? А какая тебе от этого польза? Слыхал поговорку: «Терпи, казак, атаманом будешь»... Запомни ее и тверди каждую минуту. Все мы начинали в Америке со слез, но жизнь обтесала нас и теперь из наших глаз слезу дубинкой не выколотишь... Вот тебе совет: в свободную минуту не сиди дома, а больше ходи по улицам, приглядывайся, прислушивайся... Хотя твои уши всё равно ничего не услышат... Запишись в вечернюю школу. Парнишка ты смышленый и всю американскую премудрость обмозгуешь за какие-нибудь полгода. Дружков не заводи, потому что от них только убыток. Сейчас ты не куришь и не пьешь, а бессовестные гаврики научат в два счета всем этим пакостям.

Печальное письмо Иван не изорвал, а спрятал на память. В первое же воскресенье, после завтрака, он сел в автобус и поехал в «город». Так земляки называли центр Нью Иорка. Чтобы не заблудиться, он вышел из автобуса на конечной остановке. «Тут же сяду, когда соберусь обратно»... Далеко уходить боялся, стараясь запомнить каждый поворот и большие здания, бросающиеся в глаза. Остановился возле дома с вывеской: «Бар». Когда дверь в этот дом открывалась, оттуда доносилась грамофонная музыка на фоне смутного, неумолкающего гуденья. Стал присматриваться к людям, которые шли сюда. Это были мужчины — прилично одетые, но с лицами, которые вызывали удивление: никто не улыбался, как-будто каждого заставляли сюда идти против воли. Но шаги их были торопливыми.

— Значит, идут по своей охоте, — подумал Иван.

Выходившие из бара, по два и по три человека, покачивались, говорили громко, смеялись, а иногда переругивались или тянули друг друга за рукав.

— Пьяные, — решил Иван. — Зачем приехали в Америку? Чтоб пропивать все заработки?.. А может-

быть у них очень много денег?.. Всё равно жалко отдавать их за горькое питье...

Иван пошел краем тротуара дальше. Возле каменного столбика на углу скопились опавшие красно-бурые листья клена. Среди них что-то зеленело, не похожее на лист. Иван наклонился. Зеленая бумажка оказалась долларом. От радости, удивления и страха захватило дух. Настоящий доллар! Не порванный! Только немного испачканный и смятый. Кто его уронил? Может-быть кто-нибудь из пьяных?.. Владельца не найти, да и нужно ли? «Я нашел, значит, мой!»... Как легко досталось ему то, за что на стройке он должен страдать четыре часа! Сказать ли о находке жильцам общежития? Похвалиться было бы приятно, но, пожалуй, все потребуют, чтоб он потратил этот доллар, как незаработанный, на угощение?.. Лучше промолчать!.. Если б такие находки попадались чаще, можно было бы бросить тяжелую работу!.. Надо пристальнее глядеть вниз!

* * *

Находка доллара оказалась роковой для Ивана. Вся его жизнь с этой минуты потекла по руслу жадных поисков утерянных кем-то сокровищ. Теперь он никогда не глядел вверх — на верхние этажи домов, на деревья, облака, звезды... Всё, что было выше его роста, исчезло для него. Клады, пропажи, находки — внизу! Бескрылые — они не могут, как птицы, примоститься на ветке, обосноваться на кровле дома, взлететь выше облаков. Они лежат на улицах и тротуарах, на дорогах и тропинках, по канавам, дворам, площадям, скверам, паркам, бульварам и толкучим рынкам. Везде, где проходят люди — в одиночку, парами и компаниями, где бродят босяки, или играют под наблюдением няньки дети, возможны ценные находки! Только нужно быть по орлиному зорким, не спуская глаз с земли!

Теперь в каждую свободную минуту Ивану не сиделось на месте. Даже в вечерней школе английского языка он был рассеянным, думая о том, куда завтра направить стопы в поисках сокровищ?

Удачными ли были эти ежедневные похождения? Не всегда. Он находил монеты в один сент, в пять и несколько раз по четвертаку. Люди теряют чаще всего не деньги, а вещи: носовые платки, перчатки, сумки, очки, забывают на скамейках шляпу, тросточку, книгу, плащ-дождевик... Всё это, при желании, можно превратить в деньги.

Когда Иван приносил эти вещи в общежитие, никто не заподозривал его в воровстве: кто же будет красть поношенную мужскую шляпу или зонтик?

Если вещь продается за бесценок, можно всегда найти охотников приобрести ее. И такие любители хлама всегда находились. Почему не уплатить за поношенную шляпу гривенник, а почти за новый зонтик — четвертак? Иван не заламывал высоких цен за свои находки: ведь все они достались ему даром. А ценить время он еще не научился.

Однажды, когда он продавал мужские кожаные перчатки, покупатель дал ему совет — попробовать счастья не в поисках утерянного, а в использовании вещей, которые выбрасываются из домов, как ненужные. В определенные дни эти вещи подбираются специальными грузовыми автомобилями и сдаются в магазины, где ремонтируются и продаются, как новые.

— Неужели их может брать всякий желающий? — спросил Иван.

— Да, конечно! Раз вещь выброшена из дома, хозяевам безразлично, кто ее возьмет. Но если хочешь воспользоваться выброшенным, встань пораньше, пока не приехали грузовики. Больше всего таких вещей выбрасывается в Бруклине.

Иван расспросил, как туда проехать, в какие дни

грузовики приезжают за вещами, что чаще всего выбрасывается?

— И мебель, и одежда, и посуда, и обувь, — всё, что надоело богатым людям.

— А почему же они выбрасывают это, а не продают?

— Потому что для них дороже всего время. А чтоб выбросить вещь на тротуар, времени нужно немного.

В первый раз Иван ехал в Бруклин с большим волнением. Проснулся он в это утро еще до рассвета. Моросил дождь. В стареньком дождевике он добрался до места, о котором ему говорили. Действительно, на тротуарах были навалены целые горы всякой всячины. Тут были столы и стулья, шкафы, бельевые корзины, сапоги, ведра, вазы, пиджаки, галстуки, бюстгалтеры, старинные веера... У Ивана забилось радостно сердце: да ведь это целое богатство! Но вслед за первыми минутами восторга и удивления сердце защемила тревога: «А как же всё это взять, если у него нет ничего, кроме одного мешка?.. Прежде всего он позарился на носильные вещи — широкие засаленные пиджаки, дамские платья со множеством оборок, чехол для матраца, взял несколько пар мужской и женской обуви, понравилась ему настольная керосиновая лампа с розовым абажуром... Два портфеля — черный и коричневый — хотя были разорваны по швам, но это не беда, их можно починить, сердце подсказывало, что охотники на них найдутся... Мешок быстро был заполнен. Иван брал вещи без страха, что его арестуют, но повышенное сердцебиение не прекращалось. Ранние пешеходы глядели на него — то с улыбкой сожаления, то с сочувствием, понимая, что подросток хочет извлечь пользу из выброшенных на тротуар вещей. В общежитие он успел вернуться до начала работы на стройке. Кое-кто посмотрел на его раздувшийся мешок не без зависти.

Но где всё это хранить? Часть вещей он спрятал в деревянный сундучок, привезенный из России, остальное сунул под матрац и подушку. Работал он в этот день без всякого воодушевления, как из-под палки. Зачем работать, изнурять себя, если можно легко разбогатеть на подбирании выброшенного?

* * *

Он купил себе большой, окованный железными обручами сундук с внутренним замком. Приятель портной, живший неподалеку от общежития, согласился по дешевке привести в порядок три мужских костюма. Тщательно залатанные и выутюженные, они выглядели почти как новые. Их купили в общежитии. На этом деле Иван заработал четыре доллара — колоссальные деньги, за которые на стройке он должен был бы изнурять себя два дня. Теперь он серьезно подумывал об уходе с работы. Да, да, нет смысла таскать тяжелые кирпичи, когда сама судьба говорит: «Не зевай, бери то, что не нужно другим и богатей».

Он снял отдельную комнату в двух кварталах от общежития, которую можно было запирать на замок. Со стройки ушел. Вечернюю школу английского языка стал посещать охотнее, чем всегда: он понял, что со знанием языка он может ворочать в Америке большими делами.

На родине началась война с немцами. О возвращении в свое село теперь нечего было и думать. Переписка с родителями прекратилась. Ивану пошел восемнадцатый год. Его зоркость ко всему, что находится на земле, усиливалась с каждым днем. Неба для него теперь не существовало. Когда дождевые потоки бежали вдоль тротуаров, он не спускал с них глаз: вода может принести ему какую-нибудь ценную вещь. В один из ливней он поймал почти размокшую пятидолларовую бумажку. Высушенная она была обменена в банке на совершенно новую.

* * *

У Ивана была привлекательная внешность: высокий рост, правильные черты лица. Он был хорошо сложен, широк в плечах. Серые глаза, цвета осенних туч, под густыми темными бровями, свидетельствовали о прирожденном уме. Мягкие светлые волосы он зачесывал справа налево, чтобы они не рассыпались, смазывал их дешевой, сильно пахнущей помадой. Когда Иван жил в деревне, он часто улыбался, в его облике была поэтическая мечтательность. Теперь улыбка никогда не освещала его лица и в глазах всегда была пронзительная целеустремленность. Но их устремление не простиралось дальше той земли, по которой он ходил с утра до вечера в поисках ценностей.

Девушки, привлеченные его внешностью, жаждали познакомиться с ним, но после первой же прогулки разочаровывались в молодом человеке: ни о чем не говоря со своей спутницей, он так упорно глядел вниз, что казался ненормальным. Иногда, завидев вдали что-то блестящее, он так убыстрял шаги к манящей цели, что совершенно забывал о девушке. Обиженная она уходила, не дожидаясь его возвращения.

Коммерческое дело Ивана быстро разросталось. Он переселился в квартиру из двух комнат и кухни, купил себе дешевенький старый автомобиль. В банке у него лежало уже несколько сот долларов. Но постоянный наклон вниз изменил его фигуру: он стал сутулиться, спина постепенно становилась всё более выпуклой.

По окончании войны он связался с родиной и узнал, что мать умерла, а отец убит. Братья и сестры выросли, в материальном отношении жили плохо, но помочь им у Ивана не было никакого желания: ведь ему никто никогда не помогал, он сам вышел в люди. Пусть не ротозейничают, не глазеют по верхам, не

считают звезды, а будут ближе к земле, которая может обогатить всякого со смекалкой, терпением и настойчивостью.

Когда Ивану исполнилось 24 года, он купил дом с четырьмя квартирами. На задаток деньги нашлись, а ежемесячные взносы за дом оплачивались теми деньгами, которые он получал с квартирантов. В подвальном помещении была открыта мастерская по ремонту старых вещей. У Ивана были теперь собственные рабочие — спившиеся портные, сапожники, столяры. Платил он им гроши и не тогда, когда они хотели, а лишь после приведения в исправность подобранных им предметов домашнего обихода. Через два года после покупки дома он решил его продать и купить в два раза больший. При новом доме было помещение для магазина подержанных вещей. Дом не только покрывал все расходы по ежемесячным выплатам, но и приносил доход.

К двадцати семи годам у Ивана стал расти живот и выпадать волосы на затылке. Ходил он теперь меньше, в пище себе не отказывал. Иногда возникали мысли о женитьбе, но не было времени для того, чтобы облюбовать девушку, узнать ее, пойти с нею в кино или поехать за город... Да кроме того нужно было бы тратиться на подарки, а это было для него всего больнее. Ненасытное скопидомство превращало Ивана в богатого старого холостяка, поглощенного только одним: наживой! Давало ли это какую-нибудь радость? В его жизни, пожалуй, было больше беспокойства, но сознание, что он округляет свой капитал, тешило гордость. Многие из его земляков свихнулись, сбились с пути, жили очень и очень несладко. Он же был ни от кого независимым, сытым, здоровым, богатым, не курящим и не пьющим.

Когда началась вторая мировая война, Ивану стукнуло 50 лет. К этому времени он совершенно облысел, стал грузным, с одутловатым лицом, но зато имел «апартмент-хауз», на 20 квартир. На текущем

счету у него лежало около ста тысяч долларов. Капитал был приобретен за счет того утерянного, что не поддается оценке. Что он утратил? Любовь к созерцанию, к природе, к Божией красоте. Когда-то жалевший людей, сочувствовавший всем несчастным — он стал смотреть на всех обойденных удачами, как на уродов, забулдыг, попрошаек, рвачей, паразитов, зарящихся на чужие капиталы. Что осталось от его внешней привлекательности? Он превратился в лысого, противного на вид, толстяка... Возможность семейного счастья была безвозвратно потеряна: в эти годы жениться мешала беспредельная жадность.

— Я нажил капитал потом и кровью, а жена всё это может пустить на ветер...

У него были деньги. Они хранились в банке. Но чем отличались эти тысячи долларов от простых камней, зарытых в земле?

Когда-то найденная серо-зеленая бумажка, как видно, была подброшена дьяволом: все несчастья начались с нее. Обратиться к Богу, за неимением времени, Иван не догадался.

Что теперь ожидало его? Кому достанется всё его богатство? Городу? Стоило ли ради этого покидать родную деревню, где в сентябре и октябре листья кленов, берез и осин сыпались золотым дождем на милую, родную, ласковую землю?

1959 г.

ВИДЕНИЕ

Друг рассказывал:

— Перед операцией, когда решался вопрос: «Жизнь или смерть?» мне было такое видение.

Кто-то огромный, мрачный, пышащий жаром, остановился у моего изголовья. Я не мог его видеть, но чувствовал его неурочное присутствие. Он явился сюда, предполагая поживу, как слетаются хищные птицы к упавшему коню, мгновения жизни которого сочтены. Он поднял вверх сильные руки, чтоб через несколько мгновений протянуть их над моей головою. Тень упала на мое лицо... Она удлинялась и ширилась. И по мере того, как она разрасталась, всё больше затруднялось мое дыхание, как будто черный гость выкачивал насосом последние остатки воздуха из помещения, где я находился.

Но вот серая стена, на которую был устремлен мой потухающий взор, отделилась от потолка и в узкую щель я увидел полоску голубого, необычайно яркого, неба. Надежда вспыхнула искоркой в моей груди, чистым воздухом повеяло от голубой полосы. Стая белоснежных птиц влетела через отверстие между стеной и потолком и закружившись над моим ложем, стала бить крыльями по рукам черного существа. В птичьих криках мне чудились внятно слова: «Прочь отсюда! Тебе нечего здесь делать!»...

Незванный гость опустил руки и удалился так же бесшумно, как и появился. Тревожный крик птиц сменился радостным пеньем. Убедившись в моей безопасности, они улетели в ту сторону, где голубела полоса неба.

И тогда снова, спустя всего лишь несколько мгновений, возле моей постели очутился неведомый посетитель. Что-то горячее и удушающее выходило из него, снова надо мною вытянулись его руки, похожие на перепончатые крылья огромной летучей мыши.

— «Он убьет меня, воспользовавшись отсутствием белых птиц», — подумал я. Но в этот момент снова влетели мои пернатые друзья. Теперь их было вдвое больше, чем в первый раз. В их крике я слышал возмущение против стоявшего у изголовья: «Как ты посмел снова явиться сюда? Немедленно скройся! Оставь в покое эту живую душу! Она предназначена

Богом для жизни и радости, а не для твоего черного царства!»...

Не протестуя, не возражая, не споря, сила мрака уступила более могущественной силе света. Опять мне стало легко. «Не улетайте», — хотелось крикнуть птицам, но голос не повиновался мне. Стена опустилась ниже. Голубая полоса света стала шире. И туда, в свою обитель, устремились мои белые защитницы.

«Неужели он снова придет? Как он настойчив в своих губительных замыслах, — подумал я. Вслед за этой мыслью в третий раз явился он и сразу простер свою тень надо мною — с головы до ног. Казалось, что жизнь моя уже угасла безвозвратно... Теперь птицы едва ли одержат победу над роковым существом...

Но вот они летят, летят... О, как их много! Казалось, что белая, звенящая голосами, туча появилась в унылой палате.

— Не позволим! Не отдадим! — кричали они.

Черная тень отступила, выжидая.

Птицы справа и слева, подцепив меня своими мощными крыльями, понесли прочь из этой обители на лоно жизни, красоты и свободы.

1960 г.

ДОМИКИ С ЗОЛОТЫМИ ОКНАМИ

Две противуположных высоких горы разделяла широкая лесистая долина. На каждой вершине было по уютному домику. В домике на западе жил пастух Джон с женою и маленькой дочкой Марией. В домике на востоке — пастух Майк с женою и маленьким сыном Петром.

Когда всходило солнце, его лучи освещали окна

западного домика. Стекла в это время ярко блестели и казались золотыми. Сын пастуха Петр любовался блеском и говорил:

— Как бы мне хотелось побывать в домике с золотыми окнами! Мне кажется, что там живут счастливые люди.

Когда солнце заходило, золотились окна восточного домика. Дочь пастуха Мария мечтательно произносила:

— Опять эти окна зажглись ярким золотом! Кто живет в этом волшебном домике? Неужели не исполнится мое желание — полюбоваться им вблизи?

Мария и Петр никогда не видели друг друга, разделенные широкой зеленой долиной. Каждый жил мечтою, каждому казалось, что счастье возможно только на противуположной стороне. Но вот они выросли. Марии нужно было поехать в город за нарядами. Дорога пролегала как раз неподалеку от уютного домика.

В тот же день Петру нужно было, как совершеннолетнему, явиться на сборный воинский пункт, находившийся неподалеку от западной вершины, где всегда по утрам так сказочно сверкали золотые окна.

Мария приблизилась к домику, который в продолжение многих лет заполнял всё ее воображение.

— А где же золотые окна?

Жена пастуха Майка сказала:

— Домик с золотыми окнами на противуположной вершине.

— Вы ошибаетесь: я как раз из того домика.

— Разве? А мой Петр сегодня решил непременно побывать в том домике.

Когда разочарованная Мария удалялась от домика пастуха Майка, Петр как раз приближался к домику пастуха Джона.

— Вот домик, волновавший меня почти с первых дней моей жизни... А где же золотые окна?

— Золотые окна в домике на противуположной горе, — сказала жена пастуха Джона.

— Вы ошибаетесь: я как раз из того домика.

— Разве? А моя Мария сегодня решила непременно побывать в вашем домике.

Одновременное разочарование девушки и юноши было обескрыливающим, опустошающим. И она и он говорили себе: «Зачем мы приблизились к тому, что красиво только издали?»

Вечером, возвращаясь домой, они встретились на зеленой поляне, как раз посреди долины.

— Простите, вы не из восточного домика? — спросила девушка.

— Да. А вы вероятно из западного? — в свою очередь поинтересовался он.

— Вы, конечно, видели наш домик, если идете оттуда?

— Видел... А вы видели наш?..

— Видела, — сказала она со вздохом.

— Я догадываюсь о причинах вашего вздоха.

— Так же, как и я о грусти в ваших глазах.

— Вы не нашли вблизи того, что грезилось вам издали?..

— Вероятно так же, как и вы?

— Но я совсем неожиданно нашел то, что дороже оконного золота: я встретил вас.

Ее лицо заалелось румянцем более ярким и манящим, чем солнечные отблески на окнах в часы восхода и заката солнца.

— Время позднее. Разрешите вас проводить.

— А как же вы потом пойдете домой ночью?

— У меня бесстрашное сердце и зоркие глаза.

— Если так, то...

Она не договорила фразы, но всё было ясно без слов.

Они пошли рядом. Они говорили о золотых окнах, которые оказались не золотыми. Они искренно смеялись. Но в этом смехе уже не было ни одной ноты разочарования. Это была радость взаимной находки золота, имя которому — любовь.

1960 г.

СТАВКА НА БУДУЩЕЕ

«О горнем помышляйте, а не о земном».
Колос. 3:2.

Как только он очутился по эту сторону фронта, одна мысль завладела им: «Ненавистная власть рано или поздно будет свергнута, он вернется с семьей на родину, но не бедным, не жалким, не беспомощным, а с большим капиталом и сразу построит кожевенную фабрику, купит большой земельный участок, разведет фруктовый сад, организует куриную ферму, откроет механическую прачечную... Всё можно будет делать в свободной стране, при деньгах. Значит, всё внимание сейчас нужно сосредоточить на раздобывании денег — какими-бы то ни было средствами и способами»... В свои планы он посвятил жену. Мечты мужа согрели ее сердце.

— Павлуша, неужели это возможно — после голодовок и колхозных трудодней?

— Всё возможно, Малаша, если поменьше будем спать и побольше шевелить мозгами и руками.

Двух сыновей и двух дочерей решили не посвящать в свои планы: еще малы, ничего не поймут, разболтают всему свету.

Сразу же, как только село было занято немцами, он постарался войти в доверие командования. Его назначили старостой. Приказы населению о военных поставках передавались через него. При содействии

немцев он получил в свое распоряжение хорошую лошадь и раздобыл легкий экипаж. Ближайший город был в 30 километрах. Он часто ездил туда то с попутчиками на военных грузовиках, то на собственной лошади, отдыхая в лугах и на лесных полянах.

— Всё, как прежде, — думал он, — трава, деревья, небо, свой конь, своя пролетка.

Он хвалил за трудолюбие пчел, собиравших мед для его пасеки, его радовали звуки, доносившиеся из села: петушиное кукареканье, собачий лай, детский крик, девичья песня. Отдыхая в лесу под тенистым дубом, он думал о собственных дубравах. На его полянах будут пчельники, на речушках — мельницы, на озерах и прудах он разведет гусей и уток... Сколько нужно ждать? Если полный разгром большевизма произойдет через год, то года через три он уже будет кум королю!..

В городе он спешил на базар, где нельзя было достать только «птичьего молока»...

— И откуда всё это взялось? — удивлялся он, роняя от умиления слезы. Плакал он часто и по всякому поводу: привезет детям гостинцев с базара — плачет; прислушается к пению жаворонка — плачет; услышит шум поезда — плачет; сосчитает скопленные деньги — проливает слезы, как ребенок. Не плакал он только тогда, когда плакали другие: на похоронах, на пожарах, при наводнениях, градовых тучах. Его слезы всегда вызывались довольством, счастьем, созерцанием красоты и благолепия, когда появляется желание жить на этой земле как можно дольше.

Зная, что с одним русским языком далеко не продвинешься, он старался запомнить как можно больше немецких слов. Если он ехал в грузовике с немецким солдатом, то каждую минуту спрашивал, как называется то или иное, записывая в тетрадку новые слова. Немцы полюбили его за деловитость, исполнительность, расторопность.

— Вы не похожи на русского, — говорили ему офицеры, — русские ленивцы, а вы, как часы, как сердце: работаете, не уставая, без остановок.

Как-то он взял на базар жену. Попав в галантерейный ряд, она ахнула от удивления:

— Да ведь это может нас озолотить!

Много всякой мелочи накупили Павел и Маланья для продажи соседкам. Первый опыт оказался удачным: товар был распродан в несколько минут.

— А почему бы нам не открыть лавку, какие в старину были в каждом селе?

— Сметливая ты у меня, Малаша, а вот детки, кажется, не в нас...

— Как-нибудь приучим, приохотим — ласками, тихими словами, гостинцами.

Поговорили с немецким начальством.

— Другому бы не позволили, а вам, господин Курбатов разрешаем охотно.

Не одной галантереей уставили полки своего магазина новые купцы. Всё можно было достать у них, как до революции, не всё, конечно, открыто и для всех, но если Курбатовы знали, что человек надежный, отказу не было.

Через три месяца к магазину была сделана пристройка, а над дверью появилась белая вывеска с голубыми буквами: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ПАВЛА КУРБАТОВА».

Дружба с немцами крепла. На подарки и Павел и Маланья не скупились. Дети не были вывезены в Германию на работу. Это порождало недоброжелательные толки соседей:

— Всех купил... С самим Гитлером в переписке...

На русские газеты Курбатов набрасывался с жадностью: в каждой строчке он хотел бы видеть описание русских поражений, провалов, несчастий. Раз ставка на немцев, то пусть поскорее они дойдут до Урала, а еще лучше — до Байкальского озера или даже до Тихого океана.

Капитуляция немцев в Сталинграде больно ударила по сердцу и планам Курбатова. Он верил Гитлеру, который сказал: «Войну выиграет тот, в чьих руках будет Сталинград». О катастрофе германской армии сначала не было никаких сообщений в газетах. Ему сказал об этом по секрету молодой офицер, говоривший по-русски и часто заходивший к Курбатовым на огонек.

— Что же делать, Эрнест?

— Свертывать торговлю и подаваться на запад.

Была объявлена распродажа под предлогом, что хозяин магазина получил назначение на Украину, под Умань.

Новое место показалось Курбатовым земным раем. Старшие сын и дочь поступили на сахарный завод. На широком собственном дворе появились гуси, куры, утки, индейки, корова. Вскоре был открыт магазин, еще более просторный, чем первый. Чтоб расположить к себе население, Павел стал перенимать украинскую речь. Покупатели относились к нему с уважением, более зажиточные приглашали к себе в гости, расспрашивали о прошлой жизни, говорили о войне, победах и поражениях обеих сторон. Крепкой уверенности за благополучное будущее не было ни у кого. Газету брали в руки с тревогой. Всякое отступление немцев «для выравнивания фронта» воспринимали с тоской и досадой.

Когда началось форсирование Днепра красной армией, Курбатовы объявили распродажу. Отступление в Германию пугало: на чужой земле будет уж не то... По пути на запад задерживались в разных местах на две-три недели и только в Лодзи прожили почти год. Это была уже немецкая территория. Открыть магазин Курбатовым не разрешили, но страсть к накоплению денег не остывала и здесь. Павел и Маланья стали перепродавать из-под полы отрезы сукна и другие ценные вещи. Хорошего покупателя найти было трудно, потому что продавцов появилось

очень много. И тогда Курбатовы решили делать самогон. Посоветовались с приятелем немцем.

— Дело — рискованное, но с умом всё возможно на этом свете. Не старайтесь о расширении клиентуры. Я найду вам покупателей среди офицеров. Продукция, конечно, должна быть высшего качества: без запаха, чистая, как слеза, с высокими градусами...

— Насчет этого не беспокойтесь.

Прежде чем приступить к делу, Павел и Маланья долго молились. Перед образами теплился тоненький, как шильце, огонек лампадки. Так как Павел произносил молитвы с жарким надрывом, струи воздуха изо рта колебали острый язычок пламени. От этого темные лики икон казались живыми, скорбно-удивленными.

Первую бутылку самогона подарили приятелю немцу.

— Отличная, лучше заводской, — похвалил он, — гарантирую вам успех и безопасность.

Так началась полоса материальной удачи, затмившая все прежние доходы двух универсальных магазинов. Работали почти круглые сутки. Дети помогали родителям. Пятая часть приготовленного самогона шла на подарки, которые ограждали от всех неприятностей. Немецкими марками наполнялась шкатулка за шкатулкой. Однажды, пересчитав деньги, испугались:

— Многовато... А на фронте беда за бедой... беречь бумажки — рискованно...

Стали покупать антикварные вещи, ковры, валюту. За большие деньги доставали даже американские доллары.

Из Лодзи пришлось бежать зимою на собственной лошади в сторону Познани. Оттуда повернули на Зальцбург, куда и прибыли в марте 1945 года. Там уже было много русских, прибежавших из Вены. Лагерь для беженцев находился неподалеку от вокзала. Коммерцию пришлось на время приостановить. Днем

и ночью город бомбили американские аэропланы. Население бежало в штольни под высокими горами в центре города. Прятались там и Курбатовы. В бомбоубежищах по-русски не говорили, чтоб не возбуждать неприязни австрийцев. Убегая из барака, захватывали с собой самое ценное, то, ради чего жили и работали все последние годы.

Перед приходом американцев, когда город остался без всякой власти, началось расхищение военных складов. Курбатовы приняли в этом участие всей семьей: тащили всё, что попадалось на глаза: муку, сахар, консервы, одежду, обувь, простыни, красное вино, части каких-то механизмов. Комната в бараке была завалена ценными товарами. Глаза родителей и детей не могли скрыть радости, к которой была примешана тревога: как бы не наябедничали завистники. Нужно было всё так рассовать под кроватями и в чемоданах, чтоб посторонний глаз не мог заметить ничего казенного.

Американцы пришли солнечным майским утром за два дня до православной Пасхи. Слава Богу: война и страхи — позади. А что впереди? Свобода действий, свобода торговли, свобода обогащения — ради будущего на родине. Все переезды последних лет с одного места на другое — только пересадки на пути к главной цели.

Вскоре на окраинах города открылись лагери для беженцев — русских и украинцев. Курбатовы переселились в самый большой русский лагерь. Оба сына поступили работать на кухню в воинскую часть. После работы приносили домой в мешках, в ведрах, в бутылках, в консервных банках всевозможные остатки: какао, топленый жир от бекона, блинное тесто, жареный картофель и мясные объедки, собранные с тарелок. Всё это шло на продажу изголодавшимся жителям лагеря, превращаясь сначала в оккупационные деньги, а позже — в доллары.

Старшая дочь поступила в лагерную канцелярию.

В нее влюбился молодой американский офицер. Родители с радостью дали согласие на брак.

— Малаша, Господь на нашей стороне, видишь, как Он всё устраивает для нас, — плакал от счастья отец.

Зять был сыном богатого торговца из Лос Анжелоса.

— Открывать ли мне магазин в лагере? — спросил у него тесть.

— Конечно, и чем скорее, тем лучше.

Благодаря родственным связям небольшая лагерная лавка Курбатовых не уступала ассортиментом товаров шикарным магазинам в центре города. От родителей зятя стали получать ценные посылки из Америки. Всё шло, как по маслу. Перед Павлом Михайловичем Курбатовым заискивали все обитатели лагеря, прибегая к его протекции в трудных случаях, когда требовалось вмешательство американских властей.

Через два года были получены аффидейвиты для всей семьи. Летом 1947 года Курбатовы готовились к отъезду в Америку на зависть всего лагеря. Зять спросил, есть ли у тестя деньги на билеты до Соединенных Штатов?

— Какие ж у нас деньги? — прибеднился Павел Михайлович, — от лагерной лавченки не разбогатеешь.

— Половину я вам подарю, а половину дам взаймы... Расплатитесь, когда окрепнете в Америке.

— Премного вам благодарен, Артур.

Отъезд состоялся в половине июля. Жителей лагеря удивило количество курбатовских чемоданов.

— Пишите, как устроитесь... Вспомните о тех, кто не имеет богатых американских родственников, — просили провожающие, не скрывая зависти и недоброжелательства.

На пароходе вся семья работала: отец и мать в кухне, сыновья, как электрики, младшая дочь в офисе. Зять и старшая дочь остались в Зальцбурге.

Аккуратность, деловитость, неутомимость и приветливость Курбатовых расположили к ним всю пароходную администрацию. Кроме жалованья они получили много подарков и письменную благодарность.

Океан в эту пору был спокойным, от морской болезни не страдал ни один пассажир. В Нью Иорк пароход прибыл теплым солнечным утром. На пристани встретил отец зятя, прилетевший из Лос Анжелоса. Таможенный осмотр прошел благополучно. Несколько тысяч долларов, привезенных Курбатовыми в Соединенные Штаты, чиновникам таможни не удалось обнаружить: деньги были спрятаны в обуви — между стельками и подметками.

Сыновья и дочь прекрасно говорили по-английски, отец и мать знали самые необходимые слова и фразы. Родственнику приезжие понравились. Ехать в Калифорнию решили поездом. Отправив вещи на вокзал, мистер Картер угостил Курбатовых обедом, а после этого решил показать им «Эмпайер билдинг». Когда поднялись на 102-ой этаж и перед глазами развернулась панорама нескольких штатов, Павел Михайлович прослезился.

— В чем дело? — удивился американец.

— Файн, вери файн, мистер Картер, — дрожащим голосом ответил Курбатов, — ай эм тумач хеппи... Нау ай эм — царь!..

— Кинг, — в смущении поправила отца дочь.

— Ай вос тортин ир — колхозник... Нау ай эм вольная птица... Стою на башне, которая упирается в небо... Олл вери гуд, мистер Картер.

Добродушный, улыбающийся родственник похлопал Курбатова по спине. Бывший колхозник не мог сдержать безмерного счастья и от избытка чувств крепко пожал руку американцу.

Наблюдавшая за Курбатовым публика стала расспрашивать, кто они и откуда. Двое щелкнули фото-аппаратами.

— Малаша, ущипни меня, — попросил Павел Михайлович.

— Ну, ущипнула... больно?

— Да... стало-быть, это не сон...

В комфортабельном поезде Курбатов жадно смотрел в окна, не переставая плакать. Удивленным пассажирам и здесь пришлось объяснять, что плачет он не от горя, а от великого счастья. Весь вагон заинтересовался русскими людьми из Советского Союза. Расспросам не было конца. Восторженные восклицания Павла Михайловича на ломаном английском языке многих смешили и умиляли.

В Лос Анжелосе остановились в роскошном доме родственников.

— Не ослепни от слез, — забеспокоилась Маланья, — я уж не помню, когда видела твои глаза сухими.

— А как же их удержишь?.. Сами текут... В раю мы теперь...

— В раю не плачут, а радуются.

— Моя радость, Малаша, всегда мокрая.

Родственник помог купить дом за 15 тысяч, дав три тысячи взаймы на «даун». Сыновья и дочь быстро нашли работу. Хорошенькую Лизу взяли продавщицей в универсальный магазин на Бродвее, старший Борис поступил электро-монтером на завод, младший Сергей — кассиром в банк. Без работы были только отец и мать.

— Это никуда не годится, Малаша, лодырей Бог не любит, бездельем капиталов не скопишь, — страдал Павел Михайлович.

Жена посоветовала купить второй дом с пятью или шестью квартирами для сдачи в наем.

— А завистники не удивятся: «Откуда у них такие сокровища?.. Не успели приехать — и уже два дома»...

— Скажем: американский родственник помог.

В новом доме сдачей квартир ведал младший сын.

Чтобы экономить время купил автомобиль. Через два месяца автомобилем обзавелся и старший.

В одну из осенних суббот семья решила прокатиться на север, в сторону виноградных, хлопковых и алфалфовых ферм. Неподалеку от армянского города Фресно Павел Михайлович увидел вывеску: «For Sale». Он знал это слово.

— Продается ферма!.. Где же навести справки?

— Вероятно в том домике, неподалеку от дороги, — ответил Борис.

Подъехали к домику. Залаяла черная собака.

— Как в России, в старину, — умилился Курбатов.

Вышел средних лет хозяин с бородой, похожий на молоканина.

— Говорите по-русски?

— А почему ж не говорить, коль русский сызмалу?

— Это вы продаете ферму?

— Ес.

— Сколько акров?

— Двадцать пять.

— Что сеете?

— Вату.

Ферма была куплена.

— Вот где золотое дно, — думал Павел Михайлович.

Дом на ферме был одноэтажный из четырех комнат со всеми удобствами. На чердак вела узкая, крутая деревянная лестница.

Бывший владелец фермы сразу выехал из дому.

— Хорошо бы пустить жильцов, зачем квартире пустовать без толку? — поделился своими мыслями с семьею новый хозяин.

— А кому ж сдашь дом в этой степи? Да и нужно ли?.. В выходные дни будем приезжать на отдых сами, — сказал старший сын.

— Самим можно прекрасно отдыхать на чердаке... Натаскаем туда сена и вспомним родную старину: гумно, солому, стога на покосе...

— Да ведь на чердаке можно только лежать и сидеть.

— А кто ж отдыхает, стоя? Приедешь отдыхать, вались на сено и лежи, сколько влезет.

В окне домика была вывешена картонка со словами: «For rent». Квартиранты нашлись скоро: муж с женой и тремя болезненными детьми, нуждающимися в солнце и чистом воздухе.

На чердак хозяин натаскал сена и застелил его брезентом. Когда прилег, чтоб узнать, мягко ли, сразу задремал. Сон приснился странный, нехороший: какой-то великан, похожий на негра, надел на него золотой хомут и сказал: «Так как ты теперь не человек, а моя тягловая сила, я запрягу тебя в тарантас... Мчи меня по дорогам и кричи во всю глотку: «Ай эм хеппи»... Проснувшись, вздрогнул:

— Что за чепуха?..

Вскоре и на соседней ферме появилось объявление: «Sale».

— Купить или повременить? Счастье само лезет в руки, чтоб через несколько лет, на родной земле, во всех газетах, журналах и прейскурантах крупными буквами было напечатано: «Торговая фирма: «Павел Курбатов с сыновьями» предлагает следующие товары»... Когда-то в России на всю страну гремел московский магазин: «Мюр и Мерилиз». Курбатовы не уступят французам, потому что кое-чему научились в Европе и в Америке...

Одного не предусмотрел Павел Михайлович, покупая две фермы: для обработки земли нужна наемная рабочая сила, а труд в Америке оплачивается не дешево. Но платить Курбатов не привык. Может-быть помогут сыновья и дочь? Когда отец сказал детям, чтобы по субботам и воскресеньям они помогали ему и матери, молодежь замахала руками:

— Нам твои будущие богатства не нужны!.. Хватит того, что имеем... Мы приехали в Америку не для рабства, а для свободной жизни!..

— Зачем же я тогда покупал две фермы?.. Вы меня режете без ножа...

— Безработных, к твоему счастью, не мало и в Америке. Найми, если решил стать миллионером...

— Легко сказать «найми», а чем платить?

— Хватило денег на покупку ферм, хватит и на уплату рабочим!..

— Не говорите глупостей, вы решили меня разорить, но по вашему не будет!

Настал сезон прополки хлопка. К несчастью, как раз в это время заболела жена. На ферме она оставаться не могла. Пришлось отвезти ее в город. Не разгибая спины, Павел Михайлович работал теперь один с утра до вечера. Обедать было некогда. Ел во время работы бутерброды с колбасой, яблоки с хлебом.

— Вкусно, как в старину на родине.

Наступили светлые ночи. Круглая луна с безоблачного, темно-синего, искристого неба заливала ярким блеском виноградные, хлопковые и алфалфовые плантации Калифорнийской долины. Там и сям белели одинокие домики на фермах. По дорогам изредка пробегали легковые и грузовые машины.

— Чем ночь хуже дня? — подумал Курбатов, — видно каждую былинку, а работать ночью даже лучше: прохладнее!

Он вспомнил, как бывало, в России, до колхозной каторги, в августовские дни, с утра до вечера на гумне шла молотьба, а с ночи до утра веяли намолоченное за день. Усталости не чувствовалось, потому что всё на гумне было свое и работали не из-под палки, а подзадориваемые желанием — закончить скорее молотьбу, ссыпать провеянное зерно в амбар и ездить по базарам и ярмаркам, облюбовывая и покупая всё,

что нужно по хозяйству и по дому. Колхозы вынули душу из крестьянина и превратили ее в скрипучий механизм. А вот теперь, в Америке, в теплой Калифорнии, в груди снова бьется свободное сердце... Своя ноша не тянет, свое добро не утомляет.

Час за часом работал Павел Михайлович, благодаря Бога за силы, за землю, за новое отечество, за светлую луну... Рубашка промокла от пота. Ночная калифорнийская свежесть, как из ледяного погреба, охватила тело. Вздрогнул.

— Который теперь час?

По созвездиям и особенно по снизившемуся к горизонту «Южному Кресту» определил, что уже четвертый. Скоро будет светать. Не плохо передохнуть: годы не молодые, не то, что было когда-то. Не умываясь и не переодеваясь, запыленный, в мокрой от пота рубашке, поднялся по крутой скрипучей лестнице на чердак. Моментальная слабость, как налетевший вихрь, отняла силы: хотел разуться и не смог. Дрожа и стуча зубами, повалился на холодный брезент. Попробовал пошарить в темноте, чтоб найти какое-нибудь одеяло, но ничего не нашел.

— А ведь я, кажется, заболел?.. Еще не хватало этого... Всегда был, как кремень, а тут — сдал... Куда это годится?..

Долго раздумывать не пришлось: откуда-то налетело горячее забытье. Во сне стонал. Утром на чердак сквозь щели проникли тонкие золотые нити выглянувшего из-за горизонта солнца. Лучи шаловливо щекотали глаза спящего, пока не разбудили.

— Пить, — тихо простонал он, но его просьбы никто не услышал.

Тело казалось подпиленным деревом, пальцы рук — мертвыми листьями на засохших ветвях. В продолжение всего дня сознание то угасало, то возвращалось. Первым желанием в такие мгновения было:

— Пить!..

Работа на ферме остановилась: хозяин заболел крупозным воспалением легких. Еще никогда он не чувствовал себя таким одиноким, заброшенным, беспризорным и никому ненужным, как теперь... Неужели все забыли о нем? Пить... пить... За глоток воды согласен отдать половину будущего счастья... Но никто нейдет, а подняться нет сил... Как было хорошо еще вчера — днем при горячем солнце, ночью при холодной луне... Можно было двигаться, ходить, махать руками, поворачивать направо и налево голову и пить, сколько хочешь... А теперь губы пересохли, язык, как щепка...

Прошел день. На чердаке темнеет. Если никто не придет, будет конец.

— Господи, пошли какого-нибудь человека... Ты — милостивый... Ты не помнишь зла... не забирай душу из тела...

Заскрипела лестница.

— Хозяин! Где ты?..

Вошел бородатый молоканин, тот, у кого купили ферму.

— За деньжонками приехал, уважаемый.

— Воды, — чуть слышно прошептал Курбатов.

Вошедший приложил руку к голове больного.

— Ишь ты... А дело-то серьезное...

— Отвези домой... спаси... там всё получишь...

До Лос Анжелоса ехали пять часов. Павел Михайлович лежал на заднем сиденье. Приходя на короткое время в сознание, просил пить. В последний раз, уже неподалеку от дома, утолив жажду, спросил:

— Останусь на этом свете, браток, или — каюк?..

— Бог смилуется, так останешься, а коль дюже прогневил Его, не выкарабкаешься.

— Чем я мог Его прогневить?

— Тем, что своим умом жизнь планировал, у Него не спрашивал... Ну, вот Он терпел, терпел, глядел, глядел да и стукнул.

— А можно поправиться, коль ошибся?

— Кто к земному прилепился, тому трудно взлететь к небесному: грехи тянут к низу, как гири, кирпичи, жернова...

— Не замечаю я за собою грехов, любезный...

— Стало-быть надо к концу приготовиться. Нет святых на земле, а ты говоришь: «не замечаю»... Да я, коль захотел бы, тысячу грехов нашел у тебя, и у себя, и у всякой двуногой твари, конечно... Скупой ты, жадный, сребролюбец... Весь свет хочешь заграбастать, а для чего? Солнышка и месяца не примечаешь, одно у тебя на уме: «побольше, побольше, побольше»... А слыхал, как один мужик бежал, чтоб до заката солнышка побольше круг обежать? «Всё, что обежишь, твое», — сказали ему. Ну, он и надрывался бедняга изо всех сил. А что получилось?

— Знаю, об этом Лев Толстой рассказ написал: «Сколько человеку земли нужно?»

— А теперь надо бы другой рассказ написать: «Сколько русскому человеку нужно денег в Америке?»

— Сколько ж по твоему?

— Долларов пятьсот.

— Почему так мало?

— На похороны хватит, а больше — зачем же?

— Для хорошего дела, браток, для необхватного разворота... Для России...

Павел Михайлович говорил с трудом, но будущее, которым он жил каждое мгновение в свободном мире, давало ему силу даже в тяжкой болезни.

— Господи, оживи! Коль мои планы не по душе Тебе, подправь их: кое-что зачеркни, кое-что вставь от Себя... На всё буду согласен... Только в землю не гони, не превращай в прах... По ночам теперь работать не буду... Найму сезонников... Ведь не жил я еще... Только готовился жить...

— Вижу, что за ум взялся и грехи свои увидал, — весело сказал молоканин, — а коль так, Бог помилует: для Него самое главное, чтоб человек на скверну свою прозрел и прощения попросил. Теперь могу сказать смело: о с т а н е ш ь с я! А вот и приехали! Эй, хозяйка, принимай больного супруга!

1956 г.

ЖАДНОСТЬ

«Лучше! Больше! Мне этого мало,
Чтоб окрепло мое поколенье!»
Ненасытное сердце желало
Захватить города и селенья.

Половодьем безумье мутнело,
Придавая желаниям властность.
Он хватался за каждое дело,
Он отверг роковую опасность.

Завладело душой святотатство,
Когда чувства и помыслы лживы.
Ему чудилось только богатство:
«Каждый способ хорош для наживы!»

Страсти стали его заправилы:
«Лучше, больше! И море и сушу!»
Пока дьявол на острые вилы
Не поддел его жадную душу.

1961 г.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЛИРИКА

СОЛОВЬИ И КУКУШКИ

Трава, как шелк, не надобно подушки,
Лежи, вникая сердцем в голоса.
И соловьи и грустные кукушки
Вложили душу в русские леса.

О детства незабвенная страница!
Соцветья майской утренней зари!
О соловей, ты птичка, а не птица,
И всё ж прославлен больше, чем цари

Звени, кукушка! Сердце замирая,
И плачет и кукует в лад тебе.
Забыть ли нам леса родного края
В дни старости, в скитальческой судьбе?

Здесь нет ни соловьев и ни кукушек,
Небезопасно на траве прилечь,
И потому тоскуют наши души,
И о России мы заводим речь.

1958 г.

СУДЬБА СМОКОВНИЦЫ

Смоковница росла и зеленела.
В ветвях ее пернатых песнь звенела.

Год и другой, и третий — нет плода.
Но разве это дереву беда?

Коль нет плодов, не тронет ни единый
Из тех, чей нрав страшнее, чем звериный.

Безвреден равнодушия заряд.
— Она пуста! — все люди говорят.

Но дереву вдруг очень стыдно стало:
— Я людям смокв доселе не давало,

Переменюсь я этою весной,
Пусть в мире не смеются надо мной.

Был урожай за все года былые.
Но поступили дерзко люди злые.

За то, что был обилен сочный плод, —
Красавица отныне, как урод.

Поломаны все ветви справа, слева,
Не слышно больше птичьего напева.

И тени нет и вида больше нет, —
Вот на добро, любовь — людской ответ.

1959 г.

ЛИСТОПАД

Врачевать природой раны
В это утро я решил.
Будто золотом, поляны
Листопад запорошил.

Высь прозрачна. Небо сине.
Безмятежность. Тишина.
Дум тяжелых нет в помине.
Цель далекая видна.

Не нужны бутылки, кружки,
Коль ручей звенит с горы.
Не боясь меня, зверушки
Выбегают из норы.

Красотой, осенним светом —
Разве сердцу повредишь?
В дружбе искренней с поэтом —
Белка, кролик, утка, мышь.

Вот вошел, как в дом, в аллею.
Аромат струит трава,
И о том я лишь жалею,
Что бедны мои слова.

Вас томят, пугают раны
И в сердцах царит разлад?
Приходите на поляны! —
Приглашает листопад.

1958 г.

СКРОМНОСТЬ

Комочек снега на вершине горной
Всегда лежал, как маленький дозорный.

Под ним кругом в сверкании снега.
Но скромность крошке очень дорога́.

— Мне оставаться стыдно на вершине
Средь этой белой снеговой пустыни.

Займу я место скромное внизу
И вот сейчас туда я поползу.

Недосягаемым смущенный лоном,
Он покатился по пологим склонам.

Но что случилось? Что произошло?
Катясь, он рос завистникам на зло.

Покинув неприступную вершину,
Он превратился в мощную лавину.

Когда ж скатиться подошла пора,
Он, крошка, стал, как грозная гора.

Вот вам пример не спеси, а смиренья.
О Господи, пошли и нам прозренье.

Дай нам понять, что славен только тот,
Кто за собой заслуг не признает.

Кто скромностью обрел себе приличье,
Терпя, дождется в оный день величья.

1959 г.

СТЕНАНИЕ ГРЕШНИКА

Же́не Смирнову.

Грехов бесчисленное множество.
Как эту тяжесть превозмочь?
Сознанье своего ничтожества
Гнетет меня и день и ночь.

Хромаю, спотыкаюсь, падаю,
Кровоточит душа моя,
А за высокою оградою
Иные, дивные края.

Мучительной истерзан пыткою,
Живу я в царстве темноты,
А за ажурною калиткою —
Восторги, ангелы, цветы.

Поддавшись суетному, ложному,
Я жил от Господа вдали.
Как мне войти туда ничтожному —
В лохмотьях, в язвах и в пыли?

— Покайся! — нежный голос слышится.
— Прости! — в ответ ему кричу.
И сад в цветении колышется
Навстречу первому лучу.

— «Иди сюда!»... На приглашение
Иду без страха, как домой.
Какое дивное свершение,
Как милостив Ты, Боже мой!

1958 г.

ПОРТРЕТ

С детских лет любовь вошла в привычку.
Расцвела, как роза, доброта:
Подбирала раненую птичку
И кормила жалкого кота.

Выросла, а детское осталось —
К мужу, сыновьям и дочерям.
Чужды ей обидчивость, усталость,
Дом ее, как госпиталь и храм.

Вызывает это удивленье
И слезу, подобную росе.
Но в ответ — застенчивость, смиренье:
— Что вы... я — такая ж, как и все.

1958 г.

ВОПЛЬ О ВДОХНОВЕНИИ

Без вдохновенья бытие моё —
Страшнее смерти, голода и пыток.
Над трупом духа кружит вороньё,
Иссяк дающий радости напиток.

И я тогда ненужен никому —
Ни близким людям, ни себе, ни Богу.
Залатанную нацепив суму,
Я выхожу, как нищий на дорогу.

И стон и вопль терзают грудь мою:
— О Господи, верни мне вдохновенье!
Я жив тогда, когда Тебе пою,
Когда с Тобою каждое мгновенье!

1958 г.

СТРОКИ УНЫВАЮЩЕГО

Какой предельно-грустный взгляд,
Как грудь вздымается, стеная.
К кому, зачем пойду назад?
А впереди — стена сплошная.

Над всем господствует печаль,
И нет конца ей и предела.
Ноябрь, декабрь, январь, февраль,
Придя, вломились в двери смело.

Поблекла молодости цель:
Томление духовной жаждой.
Вернутся ль в сердце — март, апрель
И расцветут ли веткой каждой?

Я потерял надежды руль,
Гонимый бурными волнами.
Где май? За ним — июнь, июль
И август с сочными плодами?

И в сентябре, и в октябре
Я жду чего-то изнывая.
Проснуться грустно на заре,
Свое сиротство сознавая.

Земля тверда и горяча.
Полить? Но где добуду лейку?
Жизнь догорает, как свеча —
Дешевенькая, за копейку.

1958 г.

ГОГОЛЕВСКИЕ ГЕРОИ

Иван Никифорыч, Иван Иваныч —
Бессмертной ссоры скверный образец, —
И потому в молитвах утром, нá ночь —
Прошу о просветлении сердец.

Друзьями быть всю жизнь и вдруг споткнуться
Из-за словечка глупого «Гусак»..
Как важно в миг опасный оглянуться,
Чтоб не попасть в канаву и... впросак...

Как трудно быть ликующим поэтом,
Когда кругом — неправда, злоба, плач,
Как мало связей в скорбном мире этом,
И рвущий дружбу — то же, что палач!

Ужели мир в согласье жить не может?
Ужель всему виною наша речь?
Спаситель — Врач и только Он поможет
Любовь и дружбу нежную сберечь.

1957 г.

УДИВИТЕЛЬНО

Всё в этом мире удивительно.
Всё наполняет жизнь мою.
Давать легко, просить мучительно.
Я понял это и даю.

Прозревшей совести веления —
Ручательство от неудач.
Будь в сердце каждое мгновение
Господь — Советник, Друг и Врач.

1958 г.

ДАРЫ

Мы рождены не для игры,
А для того, чтоб сделать много.
У каждого свои дары —
Не от родителей, от Бога.

Бездарных в этом мире нет,
Как нет безухих и безглазых.
Простейший дар — душевный свет.
Тепло — в речах, словах и фразах.

Со светом и теплом любой
Утешить ближнего сумеет.
Дар солнца в выси голубой
В том, что оно всех щедро греет.

А разве трудно нам пригреть
Хотя б кого-нибудь на свете?
Давайте пламенем гореть,
Чтоб быть у Бога на примете.

1958 г.

ПЛОДЫ ДЛЯ ГОЛОДНЫХ

Границы нет земных услад.
Звучанье смысла в каждом слоге.
Где был пустырь — фруктовый сад:
Влекут румяные итоги.

Поэты, рыцари беды!
Бессмыслицею жить не будем,
Взамен крапивы, лебеды —
Дадим плоды голодным людям!

1958 г.

БЛАГОДАРЕНЬЕ

Нам радость — всех земных богатств милее,
Нам гордость и кичливость — не подстать.
Зачем весной, в сиреневой аллее,
О зимних бурях сердцу вспоминать?

Благодаренье искреннее Богу —
За мрак ночной, за утренний рассвет,
За тропочку и торную дорогу,
За слово «да», как и за слово «нет».

1958 г.

МОЕ ЖЕЛАНИЕ

По земным дорогам ходят попрошайки —
Добрые и злые, друг и лиходей.
Я хочу признаться Богу без утайки:
— Подари мне мудрость — радовать людей.

Мне от них ненужно щедрости, вниманья:
Ласка и сердечность — редкие цветы...
Когда в мире — холод, волчье завыванье —,
Всех согреть хочу я солнцем доброты.

1958 г.

ДРУГУ

Когда тебя обидят чем-то люди
И потеряешь к шумной жизни вкус,
Припомни, как о небывалом чуде,
О россыпях ночных небесных бус.

Пойди к ручью, поющему немолчно,
Вдохни цветов прибрежных аромат,
И клевета толпы, не в меру желчной,
Развеется, как листья в листопад.

Пусть козни, зависть, выдумки, коварство
Тебе на сердце падают свинцом,
Знай: много в мире дивного лекарства
Больной душе прописано Творцом.

1951 г.

ВЕРОЯТНО

Вероятно я скоро умру —
Незаметно, как дым на ветру.

Одинокую жизнь доживая,
Испарюсь, как вода дождевая.

Много будет у гроба речей.
Скажут: «Высох прозрачный ручей,

Облетели поэзии листья —
И в гробу образец бескорыстья».

1958 г.

С ТОБОЮ

Как с отцом родным, с Тобою,
Где б я ни был, в странах разных.
Друг мой — небо голубое,
Поле — в россыпях алмазных.

Под луной скрипят полозья,
Свет всё ярче, переливней...
А в июле, в зной, в предгрозье —
Сладко ждать могучих ливней.

Капли шлепнулись впервые —
И зарылись в плюше пыли.
Вот раскаты грозовые
Мир покорный огласили.

В долгожданном шуме, гуле —
Дирижерская замашка.
В теплом море утонули —
Клевер, лютик и ромашка.

С криком высыпали дети.
Жизнь, открытья — их сноровка.
В каждой найденной монете —
Неземная гравировка.

1958 г.

ПРИЗНАНИЕ СОГРЕШИВШЕГО

— Ты исцелен теперь, иди и не греши.
А я грешу, я слаб, я только человек.
Чтоб на смерть зло сразить, нет силы у души,
Нет мощи переплыть разливы мутных рек.

О, как ничтожен я, как немощен и мал,
Могу ль я ждать, чтоб мне был от людей почет?
Безгрешность, чистота — всегдашний идеал,
Как дальний огонек, всегда меня влечет.

В смятении молю: — Рассудок укрепи,
Не брось меня во тьму, где скрежет, вопль и плач,
Погаснуть не хочу я искоркой в степи,
Замерзнуть страшно мне от черных неудач.

— Ты поскользнулся, встань, Я добр, а не жесток,
Я — Врач телесных ран и потрясенных душ,
Окрепнет, расцветет беспомощный росток,
И благодатный дождь прогонит злую сушь.

Мне хочется, чтоб ты в духовности возрос,
Тогда с души спадет, как пепел, шелуха...
Так говорит мне Он, защитник мой Христос,
Пришедший мир спасти от лютого греха.

1958 г.

ТАКИХ ВСЕ МЕНЬШЕ...

Читал сердца он, как по нотам,
Все измышленья отметая.
Его считали идиотом,
Но в нем была душа святая.

Он к Богу шел сквозь тьму и чащи,
Далекой звездочкой влекомый,
Он отказать не мог просящим, —
Душе родной и незнакомой.

Для большинства он был игрушкой:
Любовь не ценится большая,
Делился горем он с подушкой,
Ее слезами орошая.

Он видел сердцем разделенье
На мир безгрешный и порочный,
За распинателей моленья
Он возносил в тиши полночной.

Он не присутствовал на пире,
Где уваженье лишь богатым.
Таких людей всё меньше в мире,
Где брат всегда воюет с братом.

1958 г.

ИСПОВЕДЬ НЕПРИЗНАННОГО

Дмитрию Сутковому

Непризнанный, отвергнутый, презренный —
Я проходил земной стезею тленной.

Где злобы человеческой пределы?
Со всех сторон в меня летели стрелы.

Змеиные высовывались жала,
От зависти мне гибель угрожала.

О, как порой в пути мне было тяжко.
Сползала с плеч последняя рубашка.

Сочились кровью раны и мозоли —
Как удержаться от тоски и боли?

Но я держался, веря в Божью милость.
Душа моя без устали молилась.

Я радовался утру и закату,
Я к зверю смело подходил, как к брату.

Утешенный росою и цветами,
Я жил всегда, как юноша, мечтами.

И эта вера силу мне давала —
Идти вперед, к вершинам идеала.

Мир не сломил моих желаний, воли,
Не навязал своей позорной роли.

Я уцелел в бореньях с сатаною.
Господь в земном пути прошел со мною.

1959 г.

ЗАБЫТЫЙ

Куда убежать от печали?
Друзья навсегда замолчали.

А может быть вздохи излишни,
Когда распускаются вишни?

Не пишут, забыли, ну что же?
Им время и деньги — дороже.

Порывы душевные ныне,
Как голос призывный в пустыне.

Для сердца спасение в чуде:
Откликнутся звери, не люди.

А люди погрязли в заботе
О доме, машинах и плоти.

На завтрак, обед и на ужин
Салат стихотворный не нужен.

Не время, не место поэтам —
Грустить ли и плакать об этом?

1958 г.

СТАРОСТЬ И БЕССМЕРТИЕ

Мелькает молодость зарницей,
Твердя надменно: «Не уйду!»
Ветшает дом под черепицей.
Редеют яблони в саду.

Столетия — одна картина.
Кто остановит палача?
Стареет примо-балерина.
Дрожит смычок у скрипача.

Пусть юноши идут на смену,
И растопляет лед весна,
Мы все спешим навстречу тлену,
Готовя к севу семена.

Как сбросить старости вериги?
Как помешать косить косе?
Мудрец сказал: «Бессмертны книги,
Но, к счастью нашему, не всё».

Истлеет всё, что ныне ново,
Увы, не избежит конца.
Не знает смерти только слово,
К любви зовущее сердца».

1957 г.

ЖАЛОБЫ СТАРУХИ

Всё серое — и небо и земля,
И дождь не прекращается сквозь сита.
Со стариком невзгоду разделя,
Сижу я у разбитого корыта.

Мне золотая рыбка всё дала —
Здоровье, деньги, царские палаты,
Но были недостойными дела, —
И вот за всё настал момент расплаты.

Пустынно море, скучен материк,
На отмели лежат остатки краба...
Зачем меня послушался старик?
Сказал бы сразу: «Не беснуйся, баба».

Шипящих волн неисчислима рать.
Давненько солнца доброго не видно.
Теперь бельишко не в чем постирать,
И старику глядеть в глаза мне стыдно.

В один момент всё сгинуло дотла.
Всегда нежданны с глупыми расправы.
Я в сказки и в пословицы вошла,
Но лучше б мне прожить без этой славы.

1958 г.

НЕПРОЧИТАННЫЕ КНИГИ

Стоят и очереди ждут,
Полны смиренья и молчанья,
Когда пошлют их брать редут
Неправды, зла и одичанья.

Когда откроют арсенал
Идей и чувств преображенных,
Чтоб бить пороки наповал,
В бездонный ров валя сраженных.

Зачем купили их? К чему
На полки выставили чинно?
Они не служат никому —
Вот книжной горести причина!

1958 г.

ВРЕМЯ

Время отвеет хорошие зерна от тощих.
Выростит ландыши в русских березовых рощах.

Времени чужды — пристрастие, фальшь, нераденье.
Время оставит бессмертные произведенья.

Только у времени крепко-сплетенные вожжи.
Ныне ты плачешь, смеяться ты будешь попозже.

Время — надежнее вооруженного стража.
Есть для основы крученая скорбями пряжа.

Будет материя мудрости легкой и прочной.
Брат, не грусти, что явился ты в час неурочный.

Дух непризнания истины — недолговечен.
Будешь ты временем благословенно отмечен.

1957 г.

ПИСЬМО ОДИНОКОГО ХОЛОСТЯКА

Пишу письмо и думаю о том,
Что без тебя мне было б очень грустно.
Я не желаю жить слепым кротом,
Не замолкай — ни письменно, ни устно.

Заглядывай в мою каморку-клеть,
Чтоб сделать что-то женскою рукою:
Цветы полить, со стенок пыль стереть,
Иль поделиться грустью и тоскою.

Судьба столкнула многих с высоты,
С вершин блестящих молодости чудной.
Я одинок и одинока ты,
Понять друг друга нам совсем не трудно.

Воспоминаньем мы с тобой живем:
«Тогда-то... где-то... совершилось то-то»...
Нет родины, родной покинут дом,
Почти полвека ждем переворота.

Уходят дни, увы, стареем мы,
И многого понять уже не можем...
Я жил в Посаде, возле Костромы, —
Что нашей Волги лучше и дороже?...

Ты в Киеве училась. Над Днепром
В садах весной от трели соловьиной
Пылало сердце девичье костром,
Иль всё сметало бурною лавиной.

Теперь я сторож по ночам, а ты —
В чужих домах дешевая сиделка.
Развеяны нарядные мечты,
Завидуем мы зайчикам и белкам...

И всё ж страдать не будем: в мире есть
Голодные, раздетые, больные...
Трагедий человечества не счесть,
А мы с Христом прошли пути земные...

1958 г.

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Неужель я уже не малыш?
На меня ты с портрета глядишь.

Слышу песню лугов и полей.
Сколько света в улыбке твоей.

Ты баюкала в детстве меня,
А в войну берегла от огня —

Верой в Бога, молитвой святой
И душевной своей красотой.

Породила ты в сердце моем
Доброты и любви водоем.

И, смирению сына уча,
Знала ты: не угаснет свеча.

Не угасла она — ни в нужде,
Ни в сраженьях, ни в лютой беде.

Сколько пролил я пота и слез,
Сколько мук и невзгод перенес!

Но в моменты слепой темноты
Появлялась видением ты,

И, как в детстве, твердила: «Сынок,
Волны зла не зальют островок.

Помнишь наши прогулки в степи?
Счастье будет, крепись и терпи.

Помнишь клены, березы в лесу?
Я тебя не оставлю, спасу»...

И от этих небесных речей
Был прозрачнее слезный ручей.

Ты жива для меня, твой портрет —
На печаль налагает запрет.

1958 г.

ПЕВИЦА АГРАФЕНА

Я спросил у отца: — Почему ты женился на маме?
Ты кудрявый красавец, она — неприглядна, мала...
— Потому что Господь наделил ее щедро дарами,
Она доброй певицей для целой округи была.

Ах, как пела она! Собирались и старый и малый,
Чтобы слушать ее, все тревоги земные забыв,
И смирялся гордец, просветлялся страдалец усталый,
Затихали кукушки и шелест налившихся нив.

Я не знаю, что в мире чувствительной песни дороже?
Но где бедность, всегда удивительно много детей.
Не до школы, когда нет шапченки, обувки, одежи,
А тебе повезло: ты — один изо всех грамотей.

Ты писателем стал, вот теперь обрисуй всё, как было,
Опиши поцветистей течение жизни простой,
Покажи, как в бессилье являлась небесная сила,
Как спасались мы все от корявой нужды красотой.

Мы любили луга и степное раздолье без края.
После долгой зимы, как друзья, прилетали скворцы.
Кто послушает их, не умрет, от тоски умирая,
От их песен веселых могли бы восстать мертвецы.

На большую семью даже хлеба порой не хватало.
«Мама, хочется есть»... — Аграфена, скорей запевай!
И под пенье ее детвора, как в раю засыпала,
Песня слаще была, чем базарный калач-каравай.

А зимою, бывало, сойдутся соседи, соседки.
Аграфена начнет, остальные подхватят напѐв.
И душа, словно птица, из бедной стесняющей клетки
Улетает на волю, забыв и обиду и гнев.

О хороших Господь не оставит вовек попеченья.
Можно жить в бедноте, не ропща, не грустя, не греша.
А что рост небольшой, не имеет для счастья значенья,
Лишь была бы большая, как синее небо, душа.

1957 г.

ИЩУЩЕМУ ДРУЖБЫ

Простую вещь, приняв, пойми:
Жизнь — непонятная загадка.
Жить ненавидимым людьми,
Но их любить — не очень сладко.

Как много фальши и прикрас
И в дружеском и в вражьем стане.
Мы так устроены, что нас —
Всё удручает, бьет и ранит.

Издревле мир лежит во зле,
Сознанье это сердцу больно.
— Да есть ли дружба на земле? —
Везде звучит вопрос невольно.

Кому охота нас любить
И выводить на свет из мрака?
Лишь лошадь может другом быть
И преданная нам собака.

В земном извилистом пути —
Природа нам сослужит службу.
С цветами можно завести
Неувядаемую дружбу.

О дружбе задает вопрос
За поколеньем поколенье.
Кто самый верный друг? — Христос!
Спеши к Нему без промедленья!

1958 г.

ЛЮБИМОЙ ВСЕМИ

Пусть Ваше сердце бьется ровно,
Как в юности, давным-давно.
Толстая Александра Львовна,
Нам с Вами в мире не темно.

Как много ласки и уюта
Там, где Ваш голос прозвучал.
Незабываема минута,
Когда нашли мы все причал.

Коль сердце бескорыстно-чисто,
Иссякнет ли добра запас?
Вы указали нам на пристань,
Вы были лоцманом для нас!

Как всем тепло, коль есть Толстая —
В Америке — России лик,
Необычайная, святая,
Неиссякаемый родник!

Его живительные воды
Нас воскресили для труда.
Вы нас ввели в Страну Свободы,
Был Ваш ответ на просьбы: «Да!»

Мы слова «нет» от Вас не знали.
Любимая! Чем Вас почтить?
Трудясь, живите без печали,
Пусть крепнет Вашей жизни нить.

Без солнца всё б давно застыло,
Но солнце есть — и всем тепло.
Вы — наша радость, наша сила,
Сразившая любовью зло!

1959 г.

АЛЕКСАНДРЕ ЛЬВОВНЕ ТОЛСТОЙ

Свидетельница дивных откровений,
Толстого Льва — помощница и дочь,
Вы жили в век расцвета и свершений —
Там, где теперь царит над правдой ночь.

Душа горит, слеза бежит невольно,
Но не сгорает сердца благодать.
В отчизну Вашингтона и Линкольна
Вас Бог привел, чтоб радость людям дать.

Как нам легко, когда Вы вместе с нами!
Пульсирует по-юношески кровь.
Вы — лучшего, передового знамя,
Всемирно-эмигрантская любовь.

Вы нашу неуемную стихию
Сумели от распада уберечь.
Вы создали в Америке Россию.
Где русские обычаи и речь.

Вы были нам в годины тяжких бедствий —
Целительницей скорбей и утрат.
Не счесть горячих, искренних приветствий,
Которые в честь Вас везде звучат.

Примите это скромное посланье,
Достойная восторженных поэм!
О, пусть Творец хранит от увяданья
Таких, как Вы: жить легче с Вами всем!

1954 г.

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

Камень большой на вершине горы.
Как на ладони, иные миры.

Ветер его обвевает порою.
Камни другие лежат под горою.

Много их, станешь считать — не сочтешь.
Каждый, как видно, силён и хорош.

— Нижние камни, примите собрата.
Совесть пред вами моя виновата!

— Что же, мы примем, с вершины катись,
Если наскучила звездная высь!

Камень скатился поспешно, бездумно.
Эхо в долинах ответило шумно.

— Здравствуйте, братцы, отныне я ваш!
Только какой-то кругом ералаш...

Сверху не видел я этих картинок,
Был я там, словно нетронутый инок.

— Это цветочки, — ему говорят, —
Скоро ты будешь вкушать виноград...

Завтра... О, что это? Злое копыто
Бьет его мстительно, злобно, сердито.

Обдал грязищей лихой тарантас.
— Где я и что происходит у вас?

Разочарован я жизнью унылой!..
— Думал бы раньше, касатик наш милый.

— Как вы тут терпите этакий быт?
Здесь на бандите заядлый бандит!

Кверху хочу я, назад, на вершину!
— Где ж ты возьмешь для подъема машину?

. . . .

Камень расстался с вершиной могучей.
Камень слезой обливается жгучей.

Камень раскаялся, но ничего
Нет благотворного в жизни его!

1959 г.

ЖАЛОСТЬ

Из жалости связала я судьбу
С капризным и бездомным инвалидом.
Он без меня давно б лежал в гробу,
И всё же нет конца его обидам.

Со всеми он бандитами знаком.
«Приплюснутый» — его в притонах кличка.
Он бьет меня словами, кулаком,
Пинки — его любимая привычка.

Нет жалости в его кривых руках,
Шипит змеей душа его слепая.
Я в ранах, в шрамах, в вечных синяках,
В слезах избитым телом утопая.

Он сгинет тотчас без меня во тьму,
Хоть мне грозит в любой момент уродство.
Я, как собака, предана ему, —
Что это — глупость или благородство?

1958 г.

ПЕЧАЛЬНЫЙ МОНОЛОГ

(Одному из уцелевших — Федору Кубанскому)

Друзья мои, я несколько смущен,
Что вышел к вам с печальным моноло́гом.
Хотелось бы, чтоб был прослушан он,
Хотелось бы поведать вам о многом...

Вы видите, что у меня в руках?
Потрепанная книжка с адресами.
Они, увы, на разных языках —
Я не таюсь, я откровенен с вами.

Здесь записи давно ушедших лет,
Разрозненные стертым алфавитом,
Но большинства записанных уж нет,
И плачет сердце по друзьям убитым —

В сражениях, среди родных полей,
На Колыме скончавшимся от муки...
Мы думали в дни юности своей,
Что наша дружба будет без разлуки.

Кончая школу, взяли адреса
Мы друг у друга, чтоб писать почаще...
Родные степи, горы и леса
Казалися нам раем настоящим.

Нам думалось, что время потечет
В трудах полезных нашему народу,
Мечтали мы, чтоб нас пригрел почет,
Мы славили и доблесть и свободу.

Мы восставали бурно против тьмы,
Мы верили спасительному чуду.
Но жизнь пошла не так, как ждали мы,
И ураган развеял нас повсюду.

Вот первая страница... Первый друг
На букву «А» — Володичка Астахов.
В гражданскую он подался́ на юг —
Без колебаний и малейших страхов.

Он не жалел ни времени, ни сил,
Идя навстречу всем событьям грозным.
Когда поспешно Врангель уходил,
Остался друг в Крыму... в бреду тифозном...

Бескомпромиссен, сердцем чист и юн,
Он был отважным офицером белым.
Коварный чужестранец Бела Кун
Закончил дни Астахова расстрелом.

На букву «Б» — Борецкий Михаил,
Чудесный Миша, честный, благородный,
Со всеми нежен, бескорыстен, мил,
Питомец песен, музыки народной.

Он выступал на многих вечерах,
Казалось, каждый зал сметут восторги.
Война. Раненье. Лазарет — и прах
Борецкого нашел конец свой в морге.

Я не успею рассказать о всех,
А как хотелось вспомнить бы о каждом...
Друзья менять не захотели вех,
Приняв присягу верности однажды.

Они остались верными стране,
Которую Россией называли;
В семье и в школе, позже на войне
Они твердили лишь об идеале.

Немало их сгубил «Степной поход» —
Зимой в равнинах голых Ставрополья.
Теряется друзей любимых счет —
Участников московского подполья.

А Каппеля отважные войска —
Какое беззаветное горенье!
Не тронувши чужого волоска,
Они несли стране освобожденье.

Но не пришлось ни детям, ни отцам
Кричать «Ура» на триумфальном пире.
Постель из снега доблестным войскам
Была в просторах сумрачных Сибири.

Не счесть полян, предгорий и кустов,
Где выпит был напиток смертной чаши.
Весь мир в холмах могильных без крестов,
Везде, везде — мои друзья и ваши.

Кубань и Дон, Сибирь, Владивосток,
Кавказ и Крым, Галлиполи, Балканы...
Безмерен горя нашего поток
И до сих пор сочатся кровью раны.

Забыть ли нам предсмертную тоску
И ужасы казачьего Лиенца?
Бросалась мать с отчаянья в реку,
С собою увлекая и младенца...

Я только чудом уцелел в огне.
Друзья мои давнишние, как больно,
Как тягостно без вас на свете мне,
И слезы грусти катятся невольно.

Не напишу теперь я никогда
Вам ни строки, хоть книжка под рукою...
Сердцами правит лютая вражда,
Наполнен каждый новый день тоскою.

Но я, конечно, напишу о вас,
О вашей славе, доблести и чести.
Я знаю, верю: будет день и час,
Когда душой я буду с вами вместе.

1958 г.

ДОБРОТА

Леониду Петровичу Черникову

Восток украшен лентами зари.
Роса на лопухах и на траве.
В лукошке — соль, картошка, сухари.
Картуз на кучерявой голове.

Со мною мать, как спутница и друг.
Идем мы с нею ныне по грибы.
До леса — речка, озеро и луг.
За лесом — дым из заводской трубы.

Дверь запираем, ну а как же быть,
Коль нищие зайдут во двор без нас?
Могла ли мать о бедных позабыть?
Оставлен им достаточный запас.

Над дверью — полка, а на ней ломти —
Не два, не три, десятка полтора.
Не страшно на́ день из дому уйти,
Когда в сердцах — источники добра.

Обычай из глубокой старины —
Не доставлять захожему вреда.
Ему на полке — пышки и блины,
Не будет он голодным никогда.

Пусть заперт дом, он с полки блин берет,
Хозяев за любовь благодаря.
Где в мире есть еще такой народ?
Где любят так Небесного Царя?

Вот над лугами песня разлилась —
Мать любит петь, я подпеваю ей.
У нас с природой дружеская связь,
Мы — дети леса, речек и полей.

Нам весело средь ягод и грибов.
Сорока нас встречает трескотней.
Здесь нет господ, начальников, рабов,
Всё кажется нам близкою роднёй.

Набрав груздей, мы разожгли костер.
Печеная картошка горяча.
Вот шустрый заяц выбежал в дозор,
Кривые петли лапками строча.

Забудутся ль вода из родника
И сухари, размоченные в ней?
Святая материнская рука
На завитках моих густых кудрей?

Душистою прохладой напоён,
Уходит день, и нам идти пора.
«Наводит много дум вечерний звон».
В селе шумит задорно детвора.

Пришли. На полке только два ломтя.
— Ну, слава Богу: каждый получил.
И луч заката, окна золотя,
По родственному радостен и мил.

И думается сладко перед сном:
— Кто на земле счастливее меня.
Избушка наша кажется дворцом,
От всех невзгод земных обороня.

1958 г.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

От чувства некуда деваться,
Коль наше сердце не мертво́.
Мне было с хвостиком двенадцать,
А ей — одиннадцать всего.

Я был крестьянский замухрышка,
Она — купеческая дочь.
Бела, румяна без излишка,
Глаза и волосы, как ночь.

Резная, желтая ограда.
В саду — сирень, левкои, тишь.
— Чего тебе, парнишка надо?
Зачем ты здесь весь день стоишь?

— Цветочков хочется понюхать...
— Коль хочется, сюда зайди...
Какая музыка для слуха,
Какая радость впереди!..

Но всё ж сдавили сердце страхи,
Застрял корявый в горле ком:
Я в старой латаной рубахе,
Я не причесан, босиком.

От неземного счастья млея,
Иду за ней бесшумно вслед.
— Вон там — еловая аллея,
А здесь играем мы в крокет.

Зачем святой любви объятья?
Как сладкий сон, ее слова.
Влекут — сиреневое платье
И тюлевые кружева...

Идет мамаша в темно-сером.
Бежать?.. В моих глазах темно!
— В саду нет места кавалерам,
Понять должна бы ты давно...

Но бескорыстным адвокатом
Она летит вперед, спеша:
— Ты судишь, мама, по заплатам,
Но в нем хорошая душа!

— Создатель мой! Такие речи?!
Ну, время, нечего сказать...
Но вдруг — улыбка и на плечи
Кладет ей руки нежно мать.

— Я. Вера, только пошутила,
Да, сразу видно: славный он.
Жалеть детей крестьянских мило.
Ты чей? — Березов Родион...

Любовь какою мерить мерой?
Такой на свете меры нет.
Так началось знакомство с Верой
И наша дружба... на пять лет...

Я стал учиться, стал поэтом.
Нет горя, если письма есть.
Душа цвела зимой и летом,
Восторги можно ль перечесть?

И вдруг — прощание навеки:
Они уехали в Сибирь.
Нас разделили горы, реки,
И стала жизнь, как монастырь.

Река житейская теченьем
Смывает скорбь душевных ран.
Пришли другие увлеченья,
Жизнь забурлила, как вулкан.
. . . .

Душа грустит, перебирая
Все дни земного бытия:
— О, где мое блаженство рая?
Где первая любовь моя?

Звучит порой напев минорный,
Неудержим невольный стон:
— Где девушка с косою черной?
Где чистый отрок Родион?

1957 г.

ВОСПОМИНАНИЕ

Кто родился в глуши деревенской,
Разве может забыть о былом?
Нежной грустью гармоники венской
Был наполнен родительский дом.

Заглушались стенания вьюги
Песней матери, братьев, отца.
Подпевали с сестрою подруги,
Разрастался сугроб у крыльца.

Кот лежал вместе с нами на печке —
Удивительно скромен и мил.
Бил мороз по стенам без осечки,
Гулко сторож церковный звонил.

Жизнь была дружелюбьем согрета,
Были в бедности счастливы мы.
Брат рассказывал, будто бы, где-то,
Никогда не бывает зимы.

Будто там, как шары, апельсины,
И лимоны на воле растут.
А у нас только ветлы, осины,
Да заросший осокою пруд.

— Повидать бы диковины эти!
— Повидаешь! — пророчил отец.
О, как тесно и грустно на свете,
Когда счастью приходит конец.

Я покинул родимые дали.
Там, где я, ни зимы, ни родни.
И невольно, в тоске и печали,
Вспоминаются прежние дни:

Прялка матери, песни, метели,
Неземная души красота...
Неужель, неужель, неужели —
Не исполнится сердца мечта?..

Я пылинка, я листик, я крошка,
Я — такой же, как русские все.
Побродить бы по стежкам-дорожкам,
На отчизне, по теплой росе...

Посидеть бы под милой ветлою,
Погулять, помечтать у пруда...
Но от близких и дальних не скрою:
Все дороги закрыты туда.

1957 г.

ДРУГ

Да есть ли друзья на земле,
Коль мир пребывает во зле?

К кому можно в горе воззвать?
Кого можно другом назвать?

Того, кто сочувствует мне,
В беде не стоит в стороне,

Кто нежен, как любящий брат,
Кто светлым вниманьем богат.

Подобный небесным лучам —
Он к плачущим зорок очам.

Слезу он любовно отрет,
Добудет питательный плод.

Не зная усталости, друг
Своих не считает услуг.

За дружбу, вниманье и я
Откроюсь ему не тая,

Скажу, что и я для него
Не буду жалеть ничего.

Душой подражая лучу,
Я тем же ему отплачу.

Но где средь широких путей
Найду я надежных друзей?

Растет себялюбья сорняк.
В сердцах — не светила, а мрак.

Во взорах — вражды огоньки.
Фальшиво пожатье руки.

Враждою душа занята,
Срывается с уст клевета.

И сердце тоскует: «Ужель
Не будет достигнута цель?»

А голос звучит в тишине:
— «Усталый, приблизься ко Мне!

Где алчность, стяжанье и ложь,
Ты друга себе не найдешь.

Обитель просторна Моя,
Быть Другом могу только Я!»

Как сладок тот голос в тиши,
Он дивный бальзам для души.

Идет Говорящий ко мне,
Как будто плывет на волне.

Как снег, Его риза бела.
Трепещут лучи от чела.

— Кто? — зреет невольный вопрос.
А мысль осеняет: ХРИСТОС!

30 декабря 1960 г.

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ: «ОКНО В ЕВАНГЕЛИЕ»

Книга созданная сердцем

Каждая книга имеет свою историю. Есть книги, которые рождаются в голове автора. Источник других книг — сердце, тайники души. Этот замысел вынашивается, как мать вынашивает плод чрева, прежде чем он увидит свет. Книга Р. Березова «Окно в Евангелие» прошла именно такой путь. Она родилась в молитве, она создана сердцем. Выход в свет этой книги в эмигрантских условиях — несомненное чудо. Это надо признать, даже не открывая ее первой страницы. Кто бы мог издать такую богатейшую книгу на русском языке да еще написанную стихами? Это было немыслимо. Но с Богом все возможно.

Автор признавался сам, что от рождения первой главы и до последней 572-ой страницы книга создавалась милостью Божией. «Я не верю, что эта книга моя», — говорил он своим друзьям.

Христос — основная тема книги: «Окно в Евангелие». Он вдохновлял автора на колоссальный труд, Он давал ему время, здоровье и необходимую веру для осуществления плана. Книга повествует о главных событиях в жизни Христа. Но в ней есть и размышления автора. И они очень дороги своей искренностью. Каковы достоинства книги? Ее цельность, художественная яркость, правдивость. Книга именно открывает «окно в Евангелие», учит понимать его и любить.

Глава за главой, страница за страницей — притчи, поучения и евангельские события вкладываются в строго размеренный и отчеканенный стих.

Не будем удивляться, если в большой литературе эта книга не найдет своего места, а в критике не найдет положительного отклика. Автор не приноравливался ко вкусам читателя, а, как глашатай евангельской истины, писал о Том, Кого не любит глумящаяся толпа, но Кто возлюбил человека небесной любовью. В евангельской литературе эта книга займет по праву первое место.

Николай Водневский
(«Новая Заря», Сан Франциско, 1960 г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГИ РОДИОНА БЕРЕЗОВА,

изданные в СССР под именем Родиона Акульшина:

1. О ЧЕМ ШЕПЧЕТ ДЕРЕВНЯ — 1925 г.
2. РАЗВЯЗАННЫЕ СНОПЫ — 1926 г.
3. ПРОКЛЯТАЯ ДОЛЖНОСТЬ — 1927 г.
4. НАШЕ БУДУЩЕЕ — 1928 г.
5. СЛЕДЫ — 1929 г.
6. ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ — 1930 г.
7. ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ КОЛХОЗЕ — 1931 г.
8. ВЕСНА — 1937 г.

Детских книг в прозе и в стихах было издано больше 20.

Пьесы Родиона Акульшина, поставленные в Московских театрах:

ОКНО В ДЕРЕВНЮ, — в театре имени Мейерхольда в 1927 г.

ПАСТУХ ЕГОРКА, — в Областном театре Юного зрителя в 1931 г.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ, — в театре книги имени Халатова в 1933 г.

Книги, изданные в Соединенных Штатах:

1. НАРОДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ — 1950 г.
2. ДОЖДЬ И СЛЕЗЫ — 1951 г.
3. ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ — 1952 г.
4. РАДОСТЬ — 1953 г.
5. РУССКОЕ СЕРДЦЕ — 1954 г.
6. ПЕСНИ ДУШИ — 1955 г.
7. ЗОЛОТАЯ РАКЕТА — 1956 г.
8. ПРОРОК — 1957 г.
9. ЧТО БЫЛО — 1958 г.
10. ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ — 1959 г.
11. ОКНО В ЕВАНГЕЛИЕ — 1960 г.
12. ЧУДО — 1961 г.